

1920
60-е

З ЗЕВ ЗЕВ ЗЕВ
Записки ЗЕВ ЗЕВ ЗЕВ

Виктор Некрасов

Виктор Некрасов

Взгляд и нечто

Часть первая

В журналах можешь ты,

однако, отыскать

Его отрывок — Взгляд и Нечто.

Об чем бишь Нечто?

Обо всем.

***Репетилов из «Горя от
ума», д. 4, явл. 4.***

— Простите, пожалуйста, за нескромный вопрос, Виктор Платонович, но чем же вы думаете заниматься, когда окажетесь за границей?

Этот нескромный, допустим, но вполне естественный, хотя и коварный вопрос задал мне доктор исторических наук Евгений Валентинович (или Валентин Евгеньевич) Маланчук, секретарь ЦК Компартии Украины, в день второго, прощального собеседования моего с ним два года тому назад, в августе 1974 года.

Что я ему ответил и вообще о чем мы «собеседовали» в его громадном, знакомом мне по его предшественнику кабинете, я расскажу чуть позже, сейчас же начну с того, с чего я и собирался начать, а начал так, а не иначе, потому что считаю, что читателя надо сразу заинтересовать, сразу же брать за рога.

«Бац-бац! — раздалось два одновременных выстрела. Пасшаяся неподалеку корова получила одну из пуль в бок, что было для нее в чужом пиру похмелье...»; «Мы поднимаемся! — Нет, мы опускаемся! — Нет, поднимаемся!..» Это первые строки из «Путешествия на воздушном шаре» и «Таинственного острова» Жюль

Верна. Оба начала помню с детства, так они понравились мне своей стремительностью и хватанием меня за рога. Есть, правда, и другие начала, тоже прекрасные, спокойные, повествовательные, постепенно вводящие, например: «В конце лета 187* года в заштатном городке N произошло событие, всколыхнувшее весь город...»

Колеблясь между двумя манерами начал — жюль-верновской и чисто русской XIX века — и не зная, на какой из них остановиться (я придаю этому большое значение — из-за нудного начала я долго не мог одолеть «Сагу о Форсайтах»), я в конце концов предпочел первую манеру, но и тут стал в тупик. Было у меня два начала — то, с которого я начал, и то, с которого собираюсь начать сейчас, хотя получится так, что это уже не начало...

Из тупика вывело, как у всех нерешительных людей, нечто компромиссное — начать с обоих начал. Первое, как некая затравка, второе же просто как начало.

Так вот...

Мог ли я подумать?.. Могли ли мы с тобой представить себе?.. Кто бы мог сказать?..

Бог ты мой, сколько раз эти фразы в разных вариациях задавались самому себе, в одиночестве, или другу — москвичу (москвичке...), сидя где-нибудь в «Де маго» у Сен-Жермен де Прэ и глядя... На что глядя, это уже отдельный длинный разговор, его не избежать, пока же скажем — посасывая «orange» или «citron presse», сверхпрохладительный напиток, которому я отдаю предпочтение даже перед разнообразнейшими голландскими, эльзасскими и английскими пивами...

Прости, читатель, что начинаю не без некоторого кокетства и хвастовства — вот ты, не знаю, чем там

сейчас занимаешься, а я сижу в парижском кафе, что-то сосу, блаженствую, и мне больше всего хочется рассказать об этом блаженстве. И рассказать во всех деталях (например, что в «моем» кафе, у моего дома, тот же «orange presse» стоит 4 франка, на Сен-Жермен — 6 франков, а вечером у «Опера» — 9 франков), и я с трудом удерживаюсь, чтоб не сделать это сейчас же, но воздерживаюсь, зная, что все-таки до этого доберусь (знаю, знаю, и ты не сопротивляйся — это куда интереснее, чем «В Лувре, стоя у Джоконды, я думал...», хотя и это тоже будет...).

Так вот... Мог ли я подумать? Могли ли мы с тобой представить, сидя у тебя на кухне за круглым столом (каждый может отнести мое обращение на свой счет, детали не имеют значения, их часто для живости придумывают), так вот, сидя за круглым столом и в десятый раз разогревая чайник, могли ли мы подумать, что мечты вот так вот осуществляются. «Ах, побродить бы нам с тобой вместе по Елисейским полям...» Почему-то мечталось именно о Елисейских полях, как о чем-то самом шикарном и недоступном, а вышло так, что именно по этим-то полям мы с тобой ни разу и не бродили, но зато... Начали с того самого, знаменитого «Де маго», и я запечатлел даже на фотопленку твой первый визит туда, потом не менее знаменитый, хемингуэевский «Клозери де Лиля», потом, вернее до этого, студенческая забегаловка на рю Бонапарт, потом на берегу Сены на кэ Малакэ, потом где-то у Сен-Сюльпис и еще где-то, не помню уже где, и возле моего дома, где я по утрам обычно выпиваю чашечку своего кофе, листая «Фигаро» (леваки за это косо на меня смотрят, но там такие прелестные карикатуры), и чуть дальше, на маленькой живописной площади Сен-Жорж у памятника Гаварни (какой милый,

чудный памятник с персонажами из его книг — ну что за прелесть памятники с персонажами — Крылов в Летнем саду с мартышками и мишками, Дюма-пэр на пляс Мальзерб — там такой лихой д'Артаньян, и так хочется на его фоне сняться...), потом Муфтар, конечно же Муфтар, ты помнишь Муфтар?

— Да, я помню Муфтар, — скажешь ты, — и крохотный ресторанчик на углу рю де ля Монтань Сент-Женевьев, и вверху была церковь Сент-Этьен сюр Мои, и мы ели что-то очень вкусное, и запивали белым вином, и трепались, пока нам не намекнули, что уже третий час ночи и пора...

И все это ты сейчас рассказываешь своим и моим друзьям за тем самым круглым столом, и кажется это тебе теперь сном, и сама себе ты повторяешь: «Неужели это было?» — так же, как, сидя в том самом угловом ресторанчике, мы говорили в сотый, двухсотый раз: «А могли ли мы подумать?»

Господи, почему все это так нелепо? Почему?

Я невольно вспоминаю Гену Шпаликова,^[1] милого забулдыгу и пьяницу Генку Шпаликова (я к нему еще вернусь, он заслуживает того, чтобы о нем наконец-таки поговорили всерьез, а не только: «А, Генка! Мировой парень!») в последнюю нашу встречу, в Москве, за месяц или два до моего отъезда. Это был грустный вечер. Мы вышли из почтового отделения на Калининском проспекте у Арбатской площади (я звонил в Киев), и вдруг выяснилось, что нам, в семимильонной Москве, не

¹ Я невольно вспоминаю Гену Шпаликова... — Геннадий Шпаликов (1937–1974), поэт, сценарист, режиссер, друг Некрасова. Единственный поставленный им фильм — «Долгая счастливая жизнь». Некрасов посвятил ему несколько коротких эссе («Континент», 1977, «Знамя», 1990).

к кому пойти. Тот уехал, тот на даче, та больна, у тех, вероятно, гости, а тот забурел, а тот вообще стал дерьмом. И с горя, перелистав все записные книжки, мы двинули в гостиницу «Украина». Там, у стойки, на высоких стульях мы пили кофе и разговаривали в последний раз в жизни — через три или четыре месяца Генка повесился...

— Вика, возьми меня в Париж, — говорил он мне с такой бесконечной, беспробудной тоской, что, будь перед нами не кофе, а водка, он, наверное бы, расплакался. — Возьми меня в Париж... Не могу я больше... Не могу я видеть эти морды... ЦДЛ, ВТО, Дом журналиста, «Мосфильм», Студия Горького... В дрожь бросает, когда только подумаешь обо всем этом... Возьми меня в Париж... Мне здесь делать нечего... Не выдержу...

И не выдержал.

И говорил это один из самых талантливых людей, которых я знал в жизни. Возьми меня в Париж!.. Вопль, крик, шепот... И знал же, что никто никогда его туда не пустит. И не пытался даже... Вам? В Париж? А общественной работой вы когда-нибудь занимались? На политзанятия ходили? И вообще, кто не знает, кто такой Шпаликов? Хулиган и скандалист, пописывает какие-то сценарии и советскую власть ругает... В Париж ему, видите ли, надо, хорошо, что в Москве еще держат.

Нет, нельзя!

Почему?

Ну почему нельзя человеку поехать в Париж, когда ему этого хочется? Почему об этом говорится, как о чем-то несбыточном? Почему все Амстердамы, Брюгге и тот же Париж набиты летом до отказа мальчишками и

девчонками всех национальностей, а русских если иногда и увидишь, то сразу отличаешь по какой-то запуганности и сбитости в кучку? Почему? Почему даже для братской Болгарии нужно получать эти идиотские характеристики — «треугольник»,^[2] мол, считает тебя вполне достойным высоко нести знамя, ну и т. д. А потом жди сколько-то там месяцев. А если получишь отказ, почувствуй себя всю жизнь парией, неполноценным...

Почему?

А потому...

Естественно, правда, было бы задать другой вопрос — почему все же выпускают? И не только в туристские, на две недели, а даже на два-три месяца, по приглашению. Ведь при Сталине никто и помышлять об этом не смел. Ну, Эренбург, Борис Полевой, Давид Ойстрах, Корнейчук — от них хоть польза какая-нибудь, одни несут культуру и приносят деньги, другие просто умело врут. Конечно же, разумнее не выпускать — чего ты там не видел, любишь кататься, изучай архитектуру и музеи дома — Эрмитаж не хуже... Но вот, выпускают. И, как ни странно, есть в этом определенная логика, хотя она, как известно, отнюдь не главное достоинство нашей системы.

Герметичным системам этим нужна видимость, нужны фасады. Почему-то считается, и в это очень верят, что, глядя на эти без конца подкрашиваемые фасады, никто не догадается, какие за ними «вороньи слободки». Туризм — одна из деталей, одна из завитушек на его

² Стр.170...«треугольник», мол, считает... — в советское время любую характеристику на предприятии или в другой организации подписывали три человека: секретарь парткома, председатель профкома и представитель администрации. Эта компания и получила прозвище «треугольник».

фронто́не. Простите, у нас не хуже, чем у других. Прочитайте статью товарища такого-то, директора А/О «Интурист». Видали, сколько наших побывало за границей? Сколько-то там тысяч в ста с чем-то странах. А вы говорите...

И говорю... Я сам был туристом и знаю, что это такое. «Не рассредстачиваться, всем вместе. Нет, нельзя! Только втроем. И к одиннадцати чтоб были в гостинице. Один, два, три, четыре, шестнадцать... А где Васильев? Товарищ Петров, а где Васильев?» Один мой знакомый русский парижанин рассказывал, как он однажды подшутил над одним из таких руководителей. Увидев группу советских туристов в Лувре и сразу определив, кто их начальник, прошел мимо него и как бы невзначай кинул: «Не распускайте людей, компактнее, компактнее!» — «Есть компактнее», — автоматически ответил тот и тут же лихорадочно стал собирать людей.

И что же, несмотря на «компактность», на то, что денег в обрез, а хочется все купить и хочется конечно же ходить по магазинам, по всем этим Лафайетам, Бруммелям, Самаритэнам, Тати («Идите в Тати, там в три раза дешевле!»), а не по всяким там Луврам, — несмотря на все это, девяносто процентов возвращающихся из поездок говорят о безработице, забастовках, дорогих квартирах и отсутствии газировки на улицах. Что, впрочем, естественно — хочется еще раз поехать, а во-вторых и в главных, жить-то дома и перестраивать на новых началах жизнь никто из этих девяноста процентов не собирается... Приучились, привыкли, очередями и перебоями не удивишь...

И вот тут-то мы и подходим к самому трагичному, к самому главному.

И опять же я откладываю этот разговор на потом. Это все у меня пока затравки, нечто вроде оглавления — вот об этом поговорим, и об этом, и о том. И вообще не хочется начинать с трагического. Слишком много грустного и печального будет впереди. А лучше какую-нибудь идиллию.

* * *

Маленькая деревушка в Каталонии, в тридцати километрах от Таррагоны. Называется Сан-Виценте. Все ее домики, замкнутые, с двориками посередине, все ее улочки с кактусами и агавами, церковь и водонапорная башня — все это лепится и ползет по чему-то крутому, то ли холму, то ли горбу, то ли бугру (забавно, но истинный сталинградец, житель города, а не солдат, защищавший город, никогда не скажет «Мамаев курган», только «Мамаев бугор»), лепится, расползается и таким силуэтом рисуется на вечернем небе, когда едешь в соседний городок Вендрей, что сразу понимаешь — это Испания! (За эту фразу каталонец меня убьет. Какая Испания? Каталония! Это то же самое, что сказать, что я однажды и сделал, выступая перед канадскими украинцами, — у нас в России, в Киеве... Сказал и чуть язык не проглотил.)

И в этой самой деревушке (San-Vicente по-испански, Sant-Vicens по-каталонски, а если уж по всем правилам, то Sant-Vicens de Calders (poble), и есть у нее собственный герб — святой Винцент с какой-то ветвью в руках и опирающийся на нечто вроде жернова), так вот, в этой самой деревушке, сразу возле церкви, я и живу сейчас. В очень красивом доме. Собственно, снаружи никакой красоты нет — стены и все, но зато внутри...

Комнаты комнатами, только мебель в них старинная, испанская (каталонская?). Но зато террасы, лестнички, садик, дворик, и все увито чем-то цветущим, голубым, розовым, красненьким, и прямо под окном громадное фиговое дерево и опять же цветущие олеандры — розовый и белый. А за воротами, за каменной стенкой две агавы выпустили свои пятиметровые стволы, не похожие ни на что, даже описать их не могу. И все это на фоне каталонско-таррагонского пейзажа, сухого, желто-зеленого, с разбросанными по нему круглыми, точно маленькие взрывы, деревцами, с прекрасным названием карубье, а дальше, как декорация, как театральный задник, холмы, заросшие лесом, возможно, где-то дальше переходящие в Пиренеи. А слева море. Из моего окна его не видно, но если выйти из дома и начать спускаться вниз по-дьявольски крутой Кая дель Поза, то виден весь берег, и Сан-Сальвадор, и Камарруга, и автострада Барселона — Таррагона, шум с которой, кстати несколько мне не мешающий, доносится до моих окон и придает даже какой-то уют, как в свое время паровозные гудки.

И вот в этом самом доме, со всеми его террасами, каменными полами, тяжелыми комодами и фонариками над дверями, я живу один (хозяйева уехали в Париж, заболела дочка) в компании двух уродливейших, сопящих мопсов и беззвучной (а она считает меня беззвучным) дамой по имени Флорен, ухаживающей за мопсами.

У меня маленькая комната, беленькая, с деревянными балками по потолку, и половину ее занимает широченная кровать, задняя спинка которой в виде то ли портала, то ли фронтона с барочными завитушками просто привешена к стенке, и на ней

нарисована золотая, подвешенная на ленточке, загадочная монограмма. Кроме того, комод с сотней ящичков и ящичков, на нем три чугунных плоских утюга с ручками в виде лошадей. И еще плетеное кресло, которое я принес с террасы и в котором сижу сейчас и пишу эти строки, поглядывая на холмы и вьющуюся среди них белую, пыльную дорогу, по которой, не сомневаюсь, трясся когда-то на своем ослике и Санчо Панса вслед за Дон Кихотом... Где-то, очень далеко, надывается петух, а в соседнем дворе, там, где агавы, бестолково брешет идиотская собака, как у нас говорят, пустобрех, — особенно любящая это делать после 12 ночи.

Да, никогда я еще так не жил. Один в целом доме. В каталонской деревне, среди холмов и агав. Флорен с мопсами где-то внизу. Иногда только слышу их сап у меня под дверью.

Один из них черный, другой цвета сиамского кота, и, говорят, они педерасты. Но Бог с ними, они мне не мешают...

А внизу, если спуститься по Кая дель Поза, у дороги, в очень странном доме — как выяснилось, в прошлом это была оливкодавильня (слово я сам придумал) — живут две прекрасные дамы, заботам которых я и обязан тем, что живу среди холмов и агав.

С одной из этих дам семь лет назад мы вышли вместе из киевского ОВИРа, и на ней тогда лица не было. «Ну почему он на меня кричит? Что я ему сделала?» Она ничего ему не сделала, она просто хотела уехать к своему мужу во Францию. И уехала — в конце концов. И живет теперь в Париже, работает в больнице, она врач.

А другая — в свое время она окончила философское отделение Московского университета — приезжала на своем белом «триумфе» со своей подругой Николь из Парижа в Киев, и я водил их по старым киевским улицам, и садам, и паркам. Сейчас она по-прежнему живет в Париже и, когда ей хочется, пишет романы. Она писательница, хотя, как всякий нормальный человек, не любит, когда ее так называют. А может, и любит, Бог ее знает. Между прочим, кроме всего остального нас сближает и то, что оба мы не считаем себя профессионалами, пишем тогда, когда нам хочется...

И вот в компании этих двух дам, или скорее приятельниц, подруг, кормилиц, ангелов-хранителей, но будем их называть все-таки дамами, так красивее, я и живу.

В этой компании (одна — курчавая брюнетка и курносая, другая — длинноволосая шатенка и тоже вроде курносая, но не совсем, и у обеих очень живые, но по-разному, глаза) и еще четырех человек — годовалого сына первой, девятилетнего сына другой и четырнадцатилетнего третьей, мадам Алэн, помогающей в хозяйстве, мы сидим за обеденным столом и...

— Могли ли бы мы, Вика, с тобой подумать?..

Познакомились мы с Жанной (курчавой брюнеткой) пятнадцать лет тому назад в самолете Прага-Братислава. Она услышала русскую речь и бросилась ко мне. Жила и работала в Братиславе, муж — словак. А мама ее в Киеве, как выяснилось, живет в двух шагах от меня. Вот так и завязалось знакомство, перешедшее потом в дружбу. Встречались мы не так уж часто, но всегда радовались друг другу — и в Киеве, и в Москве, потом — в Париже (теперь у нее муж — француз), а сейчас, пока я

еще не надоел своим хозяйкам, и здесь, в Каталонии, на берегу Средиземного моря.

— Могли ли бы мы только с тобой подумать?

Мама родила ее и угодила в лагерь, а она — в детдом для детей врагов народа. И пробыла там с шести до четырнадцати лет. Маленькая, чернявая, не всеми любимая, так как единственная, кажется, среди всех была еврейкой. «И чем же вы там занимались, в своем детдоме для детей врагов народа?» — спрашиваю я. «Да все больше думали о еде. Где бы что-нибудь да стибрить. Ходили на базар, воровали там что могли... Потом маму выпустили, и она познакомилась со своей дочкой, уже почти взрослой...»

Мы сидим за столом на кухне — нас семеро, и у одного из семерых прорезались сразу три зуба, и он почему-то этому не радуется — и едим заказанную мной картошку, поджаренную так, как жарила мне когда-то мама, большими круглыми ломтями, сначала одну сторону, потом другую, сидим, хозяйки мои попивают белое вино, я — воду со льдом и...

— А могли ли мы, девочки, подумать? Очевидно, не могли. А вот произошло...

И я лежу на пляже и думаю. Переворачиваюсь с боку на бок, вернее, с живота на спину и думаю... О чем? Да все о том же...

Потом бросаюсь, нет, захожу в море — оно здесь мелкое, метров за двадцать только начинается глубина — и плыву себе. Точно так же, как когда-то в Ялте, в Коктебеле. Только там слева был Хамелеон, Хобатепэ, а справа — волошинский профиль Карадага, а здесь все ровное и слева — Камарруга, а справа — Таррагона (ах,

какие роскошные «р» — Тар-р-р-рагона, Камар-р-р-руга, а есть еще Тор-р-редембар-р-р-ра, она видна со своей веретенообразной колокольней — отсюда, вероятно, и гаудиевская Саграда Фамилия, — когда плывешь обратно к берегу). Море теплое, дно и берег песчаные, и, когда я после заплыва возвращаюсь обратно, ориентир у меня — агава со своим сосноподобным торчком. А вокруг нее, в песке, растут песчаные лилии — в песке лилии! — очень нежные, очень изящные и очень пахучие...

Я плыву себе по направлению к агаве, а на пляже резвятся трое мальчиков. У одного — папа француз, а мама русская, у другого — и папа, и мама французы, а третий — чистокровный испанец, тьфу! — каталонец, и зовут его, как и меня, Виктор, он очень толстый, веселый и почему-то всегда, когда встречается, целует меня в щеку. А может, в этом краю это так положено — целоваться при встрече, совсем как на Внуковском аэродроме Брежнев и Герек, Подгорный и Кадар... А другого из этих пацанов зовут Иван, но по-русски он знает только с полдесятка слов, и среди них одно, которое он очень хорошо выговаривает — подлец! Откуда он знает это слово? — я никогда не слышал, чтоб мама его так называла. Если уж очень хочет выругать его, то делает это по-французски.

Тоже сложность. Папа француз, мама русская, и очень русская, а пацану уже девять лет, и по-русски ни бум-бум...

Как же быть, думаю я, растет наполовину русский мальчик, и мама очень хочет, чтобы он был больше русским, чем французом, но сама-то она русская-прерусская, а пишет свои романы по-французски...

Вот о чем я думаю, лежа на пляже, где слева — Камарруга, а справа — Таррагона... И еще я думаю о том, что завтра мы с Нелей (матерью Ивана) поедem в эту самую Таррагону на корриду (в Тар-р-рагону на кор-р-риду) и увижу я наконец живых тореадоров, и мулету, и веронику, и черного бычка, которого ждет смерть...

И вот тут-то настало наконец время вернуться в просторный кабинет доктора исторических наук Валентина Евгеньевича (или Евгения Валентиновича) Маланчука, второго секретаря ЦК Коммунистической партии Украины.

В свое время, при Шелесте, в этом самом кабинете, очень большом, с чисто вымытыми окнами, двумя столами (одним — рабочим, с невыслимым количеством остро отточенных карандашей в стаканчике (можно подумать, что секретарь ЦК за своим рабочим столом в основном занимается писанием романов или мемуаров), другим — длинным, у окна, для совещания) и мягкими, располагающими к беседе креслами, сидел другой доктор, только не исторических, а химических наук, кажется даже академик, Федор Данилович Овчаренко. Обходительнейший и интеллигентнейший, умеющий вести дружественную, непринужденную и в то же время не лишнюю поучительности беседу, а когда надо, выступать с трибуны и в приятно-интеллигентных выражениях разъяснять писателям их очередные задачи, он после скольких-то там лет работы не удержался на своем посту и вместе с Шелестом — первым секретарем — вынужден был расстаться с громадным зданием на Банковой улице, с длинными, тихими, устланными коврами коридорами и вежливыми часовыми у входов.

Уход Шелеста объясняли (канадские украинцы особенно почему-то верят) его, мол, националистическими убеждениями и стремлениями к некоей самостоятельности. Не уверен, что в действительности было так (ну какие у секретаря ЦК могут быть устремления к самостоятельности, к какой?), но определенный, а может быть, назовем его элементарный, государственный ум у него, по-видимому, был. При нем, например, Иван Дзюба после своего на шумевшего на весь мир письма Шелесту («Интернационализм или русификация?») мог все же спокойно работать. Правда, на маленькой, не соответствующей его возможностям должности рядового редактора в Гослитиздате Украины, но все же работал. При появлении нового министра КГБ его тут же, по указанию Шелеста, с извинениями восстановили. Когда Шелеста убрали, Дзюбу тут же арестовали.

В 1964 году, сразу после того, как Хрущев оказался волонтаристом и субъективистом,^[3] Петр Ефимович Шелест соизволил провести со мной довольно длительную беседу.

На меня он произвел довольно приятное впечатление — внимательность при разговоре и умение слушать как-то не вязались у меня с образом первого секретаря и его круглой, плоской, как блин, с маленькими глазками, не очень-то выразительной физиономией. Перво-наперво он осведомился о здоровье Зинаиды Николаевны, моей матери (именно Зинаиды Николаевны!), о которой так много слышал хорошего,

³ Стр.177 В 1964 году, сразу после того как Хрущев оказался волонтаристом и субъективистом... — ярлыки, которые навесили Н.С. Хрущеву, когда после октябрьского пленума ЦК он был отправлен в отставку.

потом и меня малость похвалил — «у вас, говорят, были неприятности по партийной линии, и вы очень мужественно держались, теперь это не часто случается...» Потом разговор пошел о том о сем — о войне, о задачах литературы, о Солженицыне, о нынешней молодежи. Разговор был настолько непринужденным (учитывая все-таки стол с карандашами, разделяющий нас), что я позволил себе даже спросить, когда речь коснулась модной тогда темы «преемственности поколений»:

— Вот у вас есть дети, — сказал я, — которые, очевидно, многим интересуются. И задают вопросы. Вопросы, на которые не всегда легко ответить. О Сталине, Хрущеве, их ошибках.

Шелест ничуть не смутился, а я немного надеялся на это, и сказал:

— Я им ответил так же, как, вероятно, ответили б и вы. Сталин и Хрущев могли ошибаться, но Партия никогда не ошибается.

После этого я вопросы задавать перестал.

Вскоре беседа, смысл которой я никак не мог уловить, подошла к концу, и тут все стало ясно. Оказалось, что готовится какая-то конференция, встреча интеллигенции с руководителями партии, и вот желательно, чтоб я на ней выступил и рассказал о том, как Хрущев меня критиковал.

Вот, оказывается, для чего я был вызван. Потоптать поверженного Хрущева. Что ж, можно было кое-что и рассказать. Как нарывался, например, специально приехавший тогда для этого из Москвы Корнейчук, прерывал и требовал от меня:

— Вы не виляйте, а прямо скажите, как вы относитесь к критике Никиты Сергеевича!

Как прерывал меня в другом уже месте секретарь Ленинского райкома Линец, когда я назвал Хрущева без слова «товарищ». Чуть ли не кулаком по столу стукнул:

— Какой он вам Хрущев! Тоже Бога за бороду схватил. Никита Сергеевич он для вас, а не Хрущев!

И об этом мог рассказать. И о том, как прерывал меня другой секретарь, уже постарше, первый секретарь Компартии Украины, ныне здравствующий Николай Викторович Подгорный. Тот уж действительно в тупик меня поставил. Не могу не вспомнить.

Шла очередная встреча интеллигенции с руководством. В сессионном зале Верховного Совета УССР. В президиуме все правительство, во главе с Подгорным. В речи своей он, как говорится, подверг меня критике. Мне надо было отвечать. Олесь Гончар, тогда председатель Союза писателей, человек неплохой, зла никому не делавший, взял меня под руку и по-дружески посоветовал:

— Ну признайся, что тебе стоит. Все ж знают, что прав ты, а не они, не Хрущев. И себе облегчишь, и нам не надо будет тебя прорабатывать. Ты думаешь, нам это приятно?

Но признаваться мне было не в чем, хотелось только зачем-то объяснить, что когда писал я о сносе Михайловского златоверхого монастыря XI века, то писал потому, что... Тут Подгорный меня и прервал (они очень любят прерывать, чтоб сбить с толку, чтоб нить потерял):

— А откуда вы это знаете? Я не понял.

— Что знаю?

— Что собор сносили.

— Как откуда? Просто на наших глазах все это происходило.

И тут Подгорный сразил меня насмерть.

— Ну так что? — пожимая плечами, сказал он, и мне уж крыть было нечем.

Много о чем можно было рассказать. В частности, о выступлении Ивана Дзюбы на том собрании, где прерывал меня Корнейчук. Спокойно, не торопясь, оперируя только фактами и цитатами из газет, Дзюба по очереди разложил на обе лопатки всех, сидевших в президиуме. Просто напомнил, освежил, как говорится, в памяти, кто и как из членов президиума высказывался в свое время о товарище Сталине. Это было довольно любопытно. На Корнейчуке лица не было. Бил по графину карандашом, пытался лишить Дзюбу слова и, вконец растерявшись, не крикнул, а взвизгнул: «Что ж, милицию, что ли, звать?» Дзюба и бровью не повел. Разделавшись с последним из президиума, он под гром аплодисментов галерки (там сидели его поклонники, а их было немало, хлопавших заодно и мне) спокойно сошел с трибуны и вернулся в свой туберкулезный госпиталь, из которого сбежал специально на это городское собрание представителей киевской интеллигенции, посвященное тому, как эта самая интеллигенция собирается ответить на очередные решения очередного пленума ЦК...

Обо всем этом я, конечно, мог бы рассказать на новом, очередном, посвященном решениям другого

очередного, но оно по неведомым мне причинам не состоялось, и выступать мне нигде не пришлось.

Прошло десять лет. И вот я опять в здании ЦК. Сажу в приемной тов. Маланчука и, пока он занят какими-то другими важными делами, беседую с его помощником тов. Ищенко, как выяснилось, тоже, как и я, членом Союза писателей и автором ни больше ни меньше как шести романов. (Сейчас, в Париже, я увидел его портрет в журнале «Дружба народов», и мне стало даже приятно — он, Ищенко, в общем-то, в тот день был весьма обходителен.)

— Вы знаете, Валентин Евгеньевич (или Евгений Валентинович) в тридцать лет уже стал доктором, — поведал он детали биографии секретаря по агитации и пропаганде, пока тот заканчивал свои другие важные дела. — Весьма эрудированный человек, и не только в вопросах историк.

Откровенно говоря, познакомившись вскоре после положенного ожидания в приемной с приветливо, но в меру (вышел из-за стола, но далеко не пошел), встретившим меня секретарем, я особой эрудиции в нем не обнаружил, но какую-то хитрость, возможно даже и не очень скрываемую, уловил.

Небольшого роста, с совершенно не запоминающейся внешностью, он пригласил меня жестом к тому, второму столу у окна (определенная доверительность) и, сообщив, что ему поручено со мною побеседовать по поводу моего письма Брежневу,^[4] завел длительный, с подходами и тактическими обхватами

⁴ В письме Брежневу я просил разрешить мне выехать по таким-то и таким-то причинам за границу.

разговор о том о сем (следовательское прощупывание), проявляя временами ту самую эрудицию, о которой говорил тов. Ищенко, — где-то что-то, к слову, о якобинцах, где-то о жирондистах. Потом — удар шпагой!

— Насколько мне известно, у вас во время обыска были обнаружены кое-какие материалы, не очень-то украшающие архив советского писателя (я приподнял брови и развел руками, что одновременно должно было обозначать — «знаете ли, не уследишь» и «архив писателя трудно сразу так прямолинейно классифицировать»). Так вот, должен вам сказать, что в связи с этим я специально поинтересовался специальной юридической литературой (и нашей, и зарубежной), чтобы определить, так сказать, меру нарушений определенных общественных норм.

Это он меня запугивал. Как за полгода до этого запугивал меня в своем большом кабинете заместитель председателя Комитета государственной безопасности тов. Трояк. Тогда мне тоже было сказано, что я что-то нарушил и за это ему, генералу Трояку, ничего не стоит хлопнуть в ладоши и придут двое, ну и так далее... Но об этом я уже писал. Пассажем по поводу ознакомления с юридической литературой мне дано было понять, что я если и не изменник Родины, то элемент в какой-то степени все-таки подозрительный и что обыск у меня был проведен все-таки не зря.

Потом что-то опять о якобинцах и о революции 1848 года, о том, что ему надо ехать в Москву читать какую-то лекцию в аппарате ЦК КПСС, и внезапно — второй удар! Из-под лежавших на столе папок вытащена была нью-йоркская газета «Новое Русское Слово» и развернута передо мной с моей статьей, или воззванием,

или криком души, под названием «Кому это нужно?»^[5], которую я весной 1974 года передал иностранным корреспондентам, решив наконец говорить впрямую.

Испытываяюще глядя на меня и выдержав паузу, он произнес:

— Что вы можете сказать по поводу того, что советский писатель, к тому же удостоенный Государственной премии, печатается в махровой антисоветской печати?

И опять взгляд — а? загнал в угол?

Но даже из угла этот удар не так уж трудно было парировать.

— Я писал не для этой и не для какой-нибудь другой газеты, — сказал я, — это обращение к мировой общественности. И если б оно было напечатано во всех газетах мира — правых, левых, пусть даже фашистских или маоистских, — я был бы только рад. Кстати, две газеты, которым я непосредственно послал текст, не удосужили даже ответом. Это «Правда» и «Литературка»... — И после паузы: — Может, у вас по существу самой статьи есть замечания?^[6]

Замечаний не последовало, и речь опять пошла о том о сем, и все закончилось тем, что он не исключает возможности еще одной встречи, но это произойдет

⁵ Стр. 181...вытащена была нью-йоркская газета «Новое Русское Слово» и развернута передо мной с моей статьей, или воззванием, или криком души, под названием «Кому это нужно?» — В СССР это произведение опубликовано в журнале «Знамя», 1990, № 5.

⁶ Статья эта, «Кому это нужно?», была передана иностранным корреспондентам в Москве 7 марта 1974 года и в выдержках опубликована во многих западных газетах. — Прим. авт.

после его поездки в Москву с тем самым докладом перед аппаратом ЦК, о котором он уже говорил (к слову скажем, три или четыре раза).

После поездки в Москву было какое-то совещание секретарей обкома, потом еще что-то, не менее значительное, потом он ушел в отпуск, и встретились мы с ним уже перед самым моим отъездом.

Судя по всему, к этой второй встрече особого стремления у него не было, но я все же настоял на ней, так как хотел поставить все точки над *i*. Эти-то точки я и стал расставлять в ответ на вопрос, с которого я начал свое повествование.

Что же я думаю делать, оказавшись за границей?

— Во-первых и в главных — писать. Поскольку я не имею возможности делать это у себя дома, я думаю делать это где-нибудь, допустим, на берегу Женевского озера, благо выезжаю я официально по приглашению моего дяди из Лозанны. О чем писать? Ну, так сразу на это не ответишь, надо приехать, осмотреться по сторонам, но если говорить начистоту, то не мешало бы взяться за какие-нибудь «Былое и думы» — Герцен их начал лет в сорок, а мне уже за шестьдесят, пора подводить кое-какие итоги. И дальше. Подкладывать бомбы под советские посольства и призывать к свержению советского правительства не собираюсь, но следить за всем тем, что происходит у меня на родине, буду очень внимательно и, конечно же, буду выступать в защиту своих друзей (и не только друзей), если эта защита будет необходима.

На все, что я говорил, более или менее доброжелательно кивалось головой (даже на мое намерение приняться за «Былое и думы»), но после

высказывания о друзьях было весьма уместно мне указано, что наша страна, как известно, придерживается строжайшего выполнения всех законодательных норм. Я принял это к сведению, но оговорился, что в тех все-таки случаях, когда эти нормы будут нарушены, я воспользуюсь услугами западной прессы, хотя, как мы знаем, она и падка иной раз до дешевых сенсаций.

— Вообще же, — закончил я изложение своего кредо, — так как человек я в работе не очень усидчивый, к тому же с детства любящий путешествовать, я надеюсь на старости лет осуществить две свои самые заветные мечты — побывать на корриде и съездить на остров Таити...

Хотелось еще сказать о Монте-Карло, о мечте выиграть в рулетку, ну, хотя бы сто тысяч, но, посчитав эту мечту все-таки мелкой, я так и не упомянул о ней. Теперь жалею, так как из трех мечт, трех обещаний два уже выполнил — в самом знаменитом в мире казино если и не выиграл, то франков двадцать проиграл и на корриде (позавчера!) побывал. Ну, а Таити, как говорится, никуда не денется. Доберемся и до него.

Вы думаете, что мое такое непосредственное и искреннее желание поведать секретарю ЦК и его помощнику о своих сокровенных мечтах вызвало у них хоть какую-нибудь реакцию? Ничуть. На их лицах ничего нельзя было прочесть. Я понял, что на этом надо ставить последнюю точку, и встал.

Мы обменялись рукопожатиями. На мое пожелание одному успехов в его общественной деятельности, другому — в творчестве ничего в ответ не было сказано. Так, некое подобие улыбки, которая автоматически,

помимо желания, появляется у человека, когда он прощается.

(Кстати, когда я перед отъездом нанес прощальный визит в редакцию журнала «Москва», где лежала моя рукопись, зам. редактора Толя Елкин долго обнимал меня и говорил много хороших слов, и даже случайно вышедший главный редактор Михаил Алексеев, который нигде и никогда не назвал бы меня своим единомышленником, ткнулся подбородком куда-то мне в плечо и сказал: «Успехов, успехов желаю».)

Не знаю, возможно, элементарная вежливость требовала бы от меня сейчас взять купленную после корриды в Таррагоне открытку с очень эффектными верониками у морды быка и послать ее по адресу — Киев, ул. Орджоникидзе, ЦК КП Украины, тов. Маланчуку В.Е. (или Е.В.). Так, мол, и так, на корриде побывал, очень интересно. Желаю успехов в работе и личной жизни. И наклеить марку с королевской четой — Хуан-Карлос и симпатичная, очень простенькая королева Соня. И все это удовольствие — 12 песет.

* * *

Жил-был в Киеве в первой четверти XX века мальчик. Раннее детство свое он провел за границей, но помнит ее туманно, зрелое же прошло в Киеве: зимой — в городе, летом — на даче. Дача, вернее, крохотная в ней комнатка, снималась у друзей, родителей старшего друга мальчика, Виктора Елистратова. Находилась она в Ворзеле, лесистом дачном поселке в тридцати километрах от Киева.

В этом самом Ворзеле и прошли те самые годы мальчика, когда что-то там завязывается, формируется. Родители не очень мучили его разного рода поучениями и нравоучениями. «Главное, не будь первым учеником, — говорила ему мать, — в наше время это считалось неприличным». Тетка, та, правда, не прочь была вмешаться в воспитание — следила, чтоб мальчик не клал локти на стол во время еды (до сих пор в ушах его звучит теткино французское «otes tes coudes»),^[7] и тщетно пыталась переключить его с Жюль Верна на Тургенева. С тех пор мальчик особенно невзлюбил Тургенева. Впрочем, Кнута Гамсуна, который через несколько лет сменил Тургенева («Прочти «Викторию». Как можно в твоём возрасте не читать «Виктории»»; ему было тогда лет 14–15), он не только полюбил, но потом стал даже в ранних писаниях своих усиленно ему подражать.

Так вот, жил по летам мальчик в Ворзеле, играл, как положено было еще в те годы, в крокет, ходил купаться на пруд, тихий, заросший, с островком посередине, и, конечно же, упивался, лежа на раскладушке (тогда это называлось «раскидачка»), похождениями Филеаса Фогга и Гектора Сервадака. Кроме того, строились во всех углах участка шалаши, проводилась железная дорога с семафорами на ниточках, а между огородами, клубничными грядками и крокетной площадкой разыгрывались военно-морские баталии. Корабли — крейсера и дредноуты — делались из досок забора, выходящего на Лесную улицу, миноноски и прочая канонерская мелочь — из досок покороче, найденных в сарае. Надводная часть кораблей — артиллерийские

⁷ Сними локти (франц.).

башни, капитанские мостики и все то, что изображено было на вызывающей дрожь картинке «Морское сражение у Фолклендских островов» из журнала «Природа и люди», — лепилась из глины. Корабли все были героические, тонули, но не сдавались и при спуске на воду нарекались (мальчик был франкофилом) именами, нет, не Жанны д'Арк или хотя бы маршалов Мюрата или Нея, а французских президентов (из Лярусса) — Эмиль Лубэ, Казимир Перье, Карно, Фальер, Мак-Магон, даже палач Парижской Коммуны Тьер. (Франкофильство у мальчика было какое-то странное — роясь сейчас в чудом сохранившихся рисунках своего детства, всяких Мостах вздохов и солнечных закатах на Адриатическом море, он не обнаружил ни одного Наполеона Бонапарта, но зато трех Наполеонов III, с бородкой и в эполетах, которого не должен был бы любить, так как во время Крымской кампании при всем своем франколюбии был на стороне русских.)

И все же самым любимым занятием было, растянувшись на раскладушке, глотать одну за одной «Черные Индии», «Архипелаги в огне» (о, это полное собрание сочинений Жюль Верна, аккуратные томики, завернутые в синюю бумагу!) и не торопясь листать «Природу и люди» за 1916 год.

1916 год был годом войны, годом Вердена. В конце журнала, после всяких «Есть ли жизнь на Марсе?» и «Тайн подводного царства», была «Хроника военных действий». Вот ею-то и упивался мальчик. Героические форты Во и Дуамон стали ему как родные. Они переходили из рук в руки, гул сражений не прекращался ни днем ни ночью, земля вся была вспахана снарядами, лили дожди, солдаты мокли, шли в атаки, маршал, тогда еще генерал, Петен обходил и воодушевлял войска.

Жоффри, Галиени, Петен, Фош — все эти генералы занимали мальчика куда больше, чем Деникины, Петлюры и Щорсы, которые в это время то занимали, то с боем покидали его родной Киев.

Мальчику в предшествующие «Природе и люди» годы хотелось поочередно быть пятнадцатилетним капитаном (осталось еще три года, два, один, Боже, уже пятнадцать лет, а он все еще не капитан...), паровозным машинистом (Боже, что он отдал бы, только чтоб подняться по вертикальной лесенке в эту будку с толстыми красивыми буквами на боку НУ-253 и хоть до станции Клавдиево постоять рядом с этим усатым, пахнущим маслом и углем неулыбающимся дядькой, выглядывающим в окошко, а левой рукой крутящим какие-то ручки!), тореадором (только через полстолетия, в последней четверти XX века, ему удалось увидеть живого, вытирающего пот матадора, и его завязанную на затылке косичку «колету», и даже внутренность этой забавной, ни на что не похожей шапки, красной, если костюм красный с золотом, голубой, если голубой с серебром, которую он так небрежно и изящно бросает на песок перед тем, как, взяв шпагу и намотав на нее мулету, начать дразнить черного, коротконого бычка с рогами врозь). Но тогда, в году тысяча девятьсот двадцать каком-то, мальчику хотелось быть не пятнадцатилетним капитаном, не машинистом, не матадором, а обыкновенным французским «роилу»,^[8] обросшим, в каске, героически отстаивающим руины форта Дуамон от этих паршивых бошей с их кровожадным усатым Вильгельмом II...

⁸ Волосатый (франц.).

И вот, через шестьдесят лет после победы под Верденом и через пятьдесят с чем-то после «Природы и люди», мальчик оказался среди тихих, пустынных развалин форта Во и Дуамон с табличками и мемориальными досками. Молча постоял он у «Tranchee des bayonnettes» — «Окопа штыков», где, по боевой легенде, засыпало взрывом готовящихся к атаке солдат, остались на поверхности только штыки (полк, в который входили эти солдаты, брегонцы и вандейцы, был 137-м, а мальчик в студенческие годы был бойцом, как ни странно, тоже 137-го стрелкового полка, и это на него как-то подействовало), потом долго сидел на стальном пулеметном колпаке на вершине форта Во и думал. Кругом была тишина и красота. Спокойные леса и рощи попеременно с тихими зелеными долинами, высоко в небе заливался жаворонок, и только ржавая колючая проволока (тех времен или появившаяся позже для колорита, для иллюзии?) напоминала о том, что давно или недавно — это как кому — здесь было не так уж уютно и лесов и рощ этих не было, а были обугленные стволы, палки и воронка на воронке. А в воронках... Сейчас белые кресты рядами вытянулись у «Ossuaire de Douamont», гробницы, мавзолея (слово «ossuaire» по-русски перевести нельзя, оно от слова «osses» — кости), воздвигнутого на месте боев, о которых во Франции никто уже не вспоминает, если не считать президента республики, посещающего эти места в дни определенных дат, и тех седоусых, с палочками, восьмидесятипятилетних «poilus», которых, а их с каждым годом все меньше и меньше, подвозят сюда на специальных автобусах, а потом отвозят домой.

Мальчик, несколько поседевший и погрузневший, сидел на полузабытом стальном колпаке, сеявшем когда-то смерть, и думал...

О чем же он думал?

А думал он о том, что в тысяча девятьсот двадцать каком-то году, через четыре-пять, допустим, лет после того, как закончилась самая кровавая война, которую испытало на себе человечество, он, мальчик, точно знал, что французы были хорошие, а немцы плохие, они сожгли Лувен и разрушили Реймский собор. Какими были тогда русские, он не совсем разобрался, поскольку вскорости они стали «белыми» и «красными», но с французами и немцами все было ясно. Французы защищали свою родину, *la belle France*, прекрасную Францию, а немцы хотели ее поработить.

С годами все стало несколько сложнее. Выяснилось, что ни немцы, ни французы, то есть французские и немецкие рабочие и крестьяне, ни в чем не повинны. Повинны во всем даже не Вильгельм с Францем Иосифом и каким-то там носатым Абдул-Гамидом, а империалисты и капиталисты, лишенные какой-либо внешности, злые, ненасытные Круппы и Шнейдер-Крезю, наживающиеся на крови этих самых французских и немецких крестьян и рабочих. Верден оказался просто-напросто мясорубкой, а Версальский мир «грабительским договором».

Но случилось так, что через 20 лет после окончания самой кровавой в истории человечества войны началась новая, оказавшаяся еще более кровопролитной. И мальчик, еще не поседевший, но уже подобранный к тридцати, попал на нее и даже воевал в Сталинграде. И тогда, в Сталинграде, окружая вырытые пехотинской лопаткой в оледеневшем грунте окопы неполного

профиля спиралями Бруно, он знал, что сделает все, чтобы не пропустить к Волге этих гадов-фашистов, которые хотят поработить его Родину. И когда, при помощи солдат его саперного взвода и других солдат из стрелковых и артиллерийских полков, при поддержке авиации и танков, под руководством боевых генералов и членов военного совета и под верховным командованием товарища Сталина, ему это удалось, он вступил в Коммунистическую партию. Он поверил в нее и решил стать коммунистом, хотя единственного во взводе коммуниста очень не любил — по приказу свыше его надо было беречь и на ответственные задания не пускать.

Потом война кончилась, после нее произошло много разных событий, и вот сейчас мальчик, поседевший и погрузневший, сидит на бронированном пулеметном колпаке форта Во и спрашивает себя, через тридцать три года после конца Сталинградской битвы, за что же он там воевал, во имя чего ставил свои минные заграждения и спирали Бруно...

Он воевал против фашизма!

Но — за что?

Хорошо... Начнем сначала. Знал ли он, тот совсем уже не молодой мальчик в свои тридцать лет, что незадолго до войны были 37-й и 38-й годы? А до того коллективизация? А до того Гражданская война, на которой убили, засекли шомполами его старшего брата? Он не был никаким «белым», а просто 18-летним мальчиком, приехавшим недавно из Франции, и нашли у него «красные» французские книжки, а жил он тогда один, в Миргороде, и решили, что он шпион, и убили. Знал ли все это младший брат убитого Коли? Знал. Все

знал... Больше того, даже не верил, что Тухачевский и Якир — враги народа... В чем же тогда дело? А дело в том, что не только он, а десятки, сотни тысяч, миллионы людей поверили, что позор тридцать седьмого года и все предыдущие необъяснимые жестокости смыты кровью тех, чьи отцы и деды, возможно, погибли в лагерях. Смыто все! И вранье, и хвастовство, и самообман. Нельзя больше врать, как врали, нельзя обманывать и себя, и народ. Научились глядеть правде в глаза, когда приперло. Возврата к прошлому нет. Несмотря ни на что, несмотря на отсутствие танков и самолетов, подбитых в первые же дни войны, несмотря на все эти «Если завтра война...» и «Ни вершка своей земли не отдадим...», несмотря на опустошенную, оставленную врагу землю, на расстрелянных, убитых и повешенных врагом, мы выстояли и вот здесь, в Сталинграде, нанесли фашизму — самому страшному, что есть на земле, — смертельный удар!

И тут-то все поверили — уж слишком много об этом кричалось, говорилось, писалось, печаталось, талдычилось на всех собраниях, во всех газетах, но главное, не только поэтому — все поверили, что к победам этим самое прямое отношение имеет партия. Она удержала, она эвакуировала на Восток заводы, она собрала, склотила, кликнула, объединила, вдохновила, окружила и вот разбила — посмотрите на вереницы этих пленных, замерзших, обмотанных шарфами и одеялами Зигфридов и *ubermensch*'ей...^[9] И тридцатилетний мальчик тоже поверил и стал кандидатом партии, а через

⁹ Стр.189 Сверхчеловек (нем.).

...*ubermensch*'ей... — так Некрасов иронически смешивает немецкое «сверхлюди» с русским окончанием.

год, где-то уже на Западной Украине, незадолго до вступления в Польшу, ему вручили настоящий партийный билет.

Почему же поседевший, погрузневший мальчик этот, которому в московском метро давно уже говорят «дедушка, садитесь» (в парижском этого, увы, нет), лежит сейчас на песчаном пляже «Costa Dorada», на золотом берегу Каталонии, и знает, что нет ему возврата в страну, которую он, хорошо или плохо, но с такой верой в торжество справедливости защищал от гадов-фашистов?

А потому, как говорили мы в детстве, что кончается на «у».

Каждый объясняет прошедшее и происшедшее (а кое-кто предрешает и будущее) по-своему. Академики, члены-корреспонденты, математики, биологи, писатели, эмигранты, народно-трудовые союзы. У каждого, как говорится, болит свое, у кого личное, у кого пошире, у кого совсем широко. Одни считают, что марксизм ошибался, другие — что провалился, третьи — что его совсем нет, четвертые — что есть, но надо как-то его подправить, пятые — что у них все будет по-другому, но все сходятся на одном — что в общем-то дело пока дрянь. И только те, кто утверждает, что все, что они делают, делается на марксистско-ленинской основе, считают, что все (у них) хорошо.

Ну а если подумать, как говорится в одном анекдоте? Ночью, одному, укрывшись с головой одеялом? После всех президиумов, заседаний, двадцать пятых съездов? Ведь все разлезается, расползается, трещит по швам. Новой медалью за успехи в соцсоревновании вряд ли что исправишь. Все это понимают. И вверху, и внизу.

И академики (и те и другие), и математики, и члены президиумов, и даже их председатели, и колхозники, и сталевары, и старшие лейтенанты, и мичманы, и генеральные секретари...

Так что же делать?

Весной 1975 года приехал я в Канаду. И вот первый вечер. В неведомом мне городе Гамильтоне. Посадили на аэродроме Торонто в машину и привезли сюда. Украинцы. Их здесь так много, что за их лицами, улыбками, а иной раз и недоверчивыми взглядами я не успел разглядеть других, как здесь говорят, этнических групп, по-моему, их просто нет, одни украинцы... Зал. Большой. Набит людьми. Кто они? Петлюровцы, бандеровцы, бульбовцы, мельниковцы, просто старики дореволюционных лет. На стенах портреты. Несколько ошарашен. Слева — Петлюра, справа — Бандера, а спереди, на противоположной стенке, — английская королева... Не слишком привычно.

К концу вечера вопросы. Задают в основном старики. Есть дельные, есть и глупые, есть и просто речи — ужасно все-таки людям хочется высказать свою точку зрения. Молодежь больше молчит — потом уже я с ней разговорюсь, не в клубе, за ужином, без стариков.

Главный и чуть ли не первый вопрос — в Торонто, Монреале, Виннипеге, Соскачеване, Гамильтоне, в десятках аудиторий — это как я отношусь к самостоятельности Украины. И кто я такой — «единонеделимец» или за «незалежну» Украину?

Конечно же, я отвечал, что я за «незалежну» (независимую) Украину, что каждый народ имеет право выбрать ту систему, то правительство, которое ему

нравится, но как это можно сделать, я, мол, не совсем представляю. В особые подробности не вдавался.

С молодежью я был откровеннее.

Скажу прямо, глупость некоторых стариков, да и не очень даже стариков (сужу по некоторым украинским канадским газетам), заключается в том, что ярый их антисоветизм выливается в формы и высказывания, которые на Украине в лучшем случае вызовут улыбку. Ну, зачем писать, что на Украине не найдешь украинских книг или что за украинскую речь исключают из институтов? Это ж курам на смех. Нет, дело куда хуже. Книгами на украинском языке все магазины завалены, но кто их покупает, кто читает? Скажу по секрету — мечта украинского писателя быть изданным не в Киеве, а на русском языке, в Москве. В этом трагедия украинского языка. Он постепенно умирает. И не потому, что его запрещают, — абсурд! — газеты на украинском языке (параллельно, правда, и на русском — «Радянська Україна» и «Правда Украины» одно и то же, и обе — органы ЦК КПУ), все вывески и названия улиц на украинском, и «Кассандра», и Лопе де Вега в Академическом ордена Ленина театре им. Франко тоже на украинском, и даже в судопроизводстве первая фраза приговора «І м'ям Української Радянської Соціалістичної Республіки» читается по-украински (дальше, правда, и все до этого по-русски, исключением был только суд над Иваном Дзюбой, но тут уж просто было б неприлично). Само собой разумеется, что и Шелест, и Маланчук разговаривали со мной тоже по-русски, но это — давайте помечтаем — из уважения к сединам и заслугам.

Нет, никакой дискриминации язык не подвергается, но тот же украинский писатель, который и в Спілці

письменників, и дома говорит только по-украински, сына своего предпочитает отдать в русскую школу — русский язык, мол, не подведет, он и до Киева доведет. (В 20-е годы, годы украинизации, когда всем надо было сдавать экзамен по украинскому языку и не сдавший увольнялся с работы, остряли: «Русский язык до Киева доведет, а украинский выведет».) Да любой колхозный паренек, попадающий в армию, научается там русскому языку (в мое время мы проходили военную подготовку в украинских полках — «Ліво-руч!», «Право-руч!», «Крроком руш!», «Струнко!») и очень этому рад, в колхоз возвращаться он не собирается, а если дальше учиться (в армии все же учат — моторист, танкист, связист), то уж, конечно же, лучше по-русски. И вянет, сохнет прекрасный украинский язык (Собинов говорил, что приятнее всего ему петь по-украински, потом по-итальянски), превращаясь в «суржик» (смесь русского и украинского), а потом — в плохой русский.

Но вернемся к канадским хлопцам. Это они пригласили меня в Канаду — Комитет в защиту Валентина Мороза. Умные, серьезные и, конечно же, тянутся ко всему украинскому с Украины. «Ах, яка в вас мова, Вікторе Платоновичу!» — хвалили они мой плохой украинский язык, на котором мне дома, на Украине, никогда говорить не приходилось. Звучит анекдотом, но за две свои канадские недели я наговорился по-украински больше, чем за предыдущие шестьдесят с лишним лет.

И вот сидим мы с этими хлопцами в каком-то из торонтских или виннипегских ресторанов (кругом куманцы, глечики и блузки на милых официантках с трогательным почти украинским узором и такие милые

«прошу») и ведем разговор об этой самой «незалежности».

Можно о ней говорить и серьезно, даже, вероятно, нужно, но как не примешать к этому и немножко шутки, украинцы любят юмор.

— Так вот, хлопцы, — говорю я по-украински, заканчивая вторую тарелку галушек, — дело в том, что для того, чтобы добиваться «незалежности», кроме желания, нужно еще и время. А у украинского колхозника его просто нет — «нема часу». Нема часу не то чтоб о государственном устройстве думать, но просто чтоб сеять и жать, благо этим занимаются студенты и научные работники. Нема часу, тому що сьогодні весілля, свадьба, вігдають заміж Наталку. Три дні усе село п'є. На четвертий похміляється. А на п'ятий, диви, женять Петра. Три дні п'ють. На четвертий похміляються. А тут як раз помер старий Павло. Чотир дні п'ють. На п'ятий похміляються. Не встигли ще поховати Павла — Пасха, Великдень. Тиждень (неделю) п'ють. На восьмий похміляються. А на дев'ятий — бац! — Перше травня (Первое мая). Ну, як не випити, сам Бог наказав. У календарі — червоне. Потім Дев'яте травня — День Перемоги. А потім Храм, а потім...

Шутки шутками, а вот гляжу я на сидящих передо мной Миколу и Андрия и живо рисую их визит на Киевщину или на Черкащину. Да они еле ноги унесут. Пьют-то там не рюмочками, и на своей Торонтщине или Виннипегщине вряд ли они с самогоном встречались.

Я нарисовал прекрасную, но грустную картину и не очень-то переборщил. Прекрасную, потому что есть что пить, есть чем закусить. Самогон собственный, копейки (оно-то, конечно, законом карается, но кто запретит?

Милиционер? Да он сам за столом сидит, а не сидит, так под полой уносит). А закуска? Что греха таить, есть теперь чем закусить. Не те времена. У колхозника (украинского, подчеркиваю, с русским, особенно на Севере, не сравнить, там дела куда хуже) и коровка, и кабанчик, и курки, и гуси, и приусадебный участок, с которого живет не только он, но и вся страна. И хата у него теперь под железом, и телевизор, который, правда, если и смотрят, то только хлопцы, и то футбол или хоккей, и у того же хлопца, как правило, мотоцикл, велосипедом уже не интересуется.

Что и говорить, на селе не так уж плохо. И если советская власть не придумает чего-нибудь нового (а она вроде что-то уже придумала, колхозы с совхозами объединить, например, но вроде обещала не торопиться), то жить можно...

Жить можно...

Вот эта-то формула и самой советской власти помогает жить («Народ и партия едины!»). Между народом и ей нечто вроде джентльменского соглашения (кто тут джентльмен, сказать трудно, но есть такое понятие). Советская власть требует, нажимает, чего-то не прощает, но на что-то закрывает глаза. На воровство, например. Как кто-то сказал, воруют все, кроме Сахарова.^[10] Того или другого под суд отдадут, если уж очень наворует и дачу из мрамора себе построит, как, говорят, случилось в Грузии. А остальные сто миллионов?

¹⁰ Стр. 194 Кто-то сказал, воруют все, кроме Сахарова. — Некрасов имеет в виду Андрея Дмитриевича Сахарова (1921–1989), изобретателя советской водородной бомбы, позже известного диссидента.

Я как-то шел тылами Крещатика. Туда выходят так называемые подсобки магазинов. И вот, проходя мимо одной из таких подсобок, я увидел некое Мамаево побоище или матч регби, который я видел позже по французскому телевидению. Люди влезали на какие-то ящики, сыпались с них, в воздухе стоял густой, не провернешь, мат, выволакивали несчастную, потерявшую сознание старуху. Оказывается, «выбросили» чешский хрусталь! Ну кто, кроме воров, полезет в эту свалку? Учительница? Районный врач?

Моя приятельница, москвичка, пересказывала мне раз беседу между двумя продавщицами продуктового магазина в Химки-Ховрино. Одна жаловалась другой:

— Давали, понимаешь, в ювелирторге вчера бриллианты. По два кольца на рыло. Три часа простояла, а когда подошла, кончились. Такое везение. С горя золотой половник купила. Не уходить же с пустыми руками...

Это к вопросу о нищете в нашей стране. Нет, не так уж плохо дело.

Моя домработница Ганя любила после вечернего чая, а у нас он кончался поздно, прохлаждаться на балконе. «Вы бы уже спать ложились, — говорила ей мама, — скоро уж час». — «А вы подойдите сюда, — отвечала ей Ганя. — Сейчас официантки из ресторана «Метро» будут выходить, поглядите на них». А поглядеть было на что. Я б такую авоську от земли оторвать не смог бы, а у нее их две...

Нет, жить в Советском Союзе все же можно...

Больше всего в жизни мне не хочется кого-либо поучать. Тем более советскую власть. И уж конечно же

народ, у которого, как с детства мне втолковывали (нет, не родители, а те, кто любит поучать), мы должны учиться. Но когда тем не менее, выступая перед бывшими петлюровцами, считающими, что Петлюра хотя и знал, что такое «незалежність»,^[11] но, возможно, не все сумел учесть, я говорю, что все зависит от народа, он, мол, знает, какую систему правления надо выбрать, — здесь я, конечно, малость лукавлю. Не знает этого народ. Не знает он — ни дядько Павло, которого недавно схоронили и воевавший, очевидно, в свое время за веру, царя и отечество, ни мой друг Митька, электросварщик, с которым мы лежали в Баку в госпитале, куда он попал, защищая идеалы социализма, ни тот 20-летний солдат, который въехал на танке в Прагу, чтоб защитить ее от коварных немецких реваншистов. Весь мир обошла фотография советского танкиста — не та, где к нему тянется и в чем-то его убеждает молодой чех, тоже очень хорошая, а другая — выглянул из своей башни танкист, закурил и думает. И такая у него славная морда, и так он ничего не может понять — куда, зачем, против кого?

Я не хочу и не могу утверждать, что народ оглупили (хотя и очень к этому стремятся), просто он очень устал. И от войны, и от того, что было до нее, и от того, что после, и ни в какую власть он не верит. Старики еще помнят, как убеждали их и красные, и деникинцы, и петлюровцы, и все, кто только ни занимал их город или деревню, что только они знают, что народу нужно и как ему помочь.

¹¹ Стр.195...«незалежність» — независимость (иск. укр.).

Не верит народ власти. Никакой. А эту, советскую, он хоть знает. И знает, как ее обмануть, как к ней приспособиться. А то, что он не пользуется правом выбора на выборах в Верховный Совет и не каждый день может прочесть «Монд», ну что ж, с этим можно примириться. И случись новая война (не дай Бог, все надежды на то, что все боятся водородных бомб), он так же будет защищать советскую власть, нелюбимую, осточертевшую, но привычную, как защищал ее в прошлую войну. А если копнуть глубже, то воевал он не так ЗА, как ПРОТИВ. Против чужого, неведомого, стреляющего и бомбящего его, против врага. И все же защищал и защитил ее, опостылевшую.

Ну а те, кому хочется все же почитать «Монд»? Что ж, советская власть пошла им навстречу — после Хельсинкских соглашений разрешила открытую продажу этой газеты в количестве сорока (!) экземпляров. Так что и этой категории населения жаловаться не на что.

Но вернемся к тому, с чего я начал. А начал с того, что никого я не собираюсь поучать...

И тут я вижу укоризну в глазах моих друзей. Ну, не поучаешь, а разглагольствуешь. Бог ты мой, сколько уже писали и о народе, о том, что ему нужно и чего он хочет, ну чего тебе еще вмешиваться... Случилось так, что тебе выпала возможность писать то, что ты хочешь, так не злоупотребляй этим. И вообще, давай выясним, для кого ты пишешь — для французов, среди которых ты сейчас живешь, или для нас? Если для нас, то все эти истории про чешский хрусталь, золотые половники и воровящих официанток нам известны не хуже тебя, а французу они просто неинтересны, он начитался «ГУЛАГа», там

пострашнее. А если ты думаешь все-таки о нас, то пиши о том, чего мы не знаем!

Вот я и стал в тупик.

Для кого же я пишу?

Вероятнее всего, для самого себя.

Некоторые писатели утверждают, что пишут для того, чтоб избавиться от чего-то, накопившегося в них и ищущего выхода. Вероятно, это основное. Но не всё. Все-таки я, например, выбираю какие-то начала, обращаюсь к читателю, то знакомому, то незнакомому, рассказываю некие истории, давно мне известные. Нет, значит, не только для себя пишу. Но, конечно, и не для того, с возросшей и возрастающей из года в год требовательностью, так называемого широкого советского читателя, у которого советские писатели всегда в долгу (см. доклады и прения на съездах писателей). Ох, уж этот «широкий читатель» со своими письмами авторам и в газеты, к настоящему читателю никакого отношения не имеющий! Французский читатель еще меньше меня интересует. Наши проблемы его не волнуют, а в его проблемах я еще не разобрался. И выходит так, что пишу я именно для вас, с укоризной глянувших на меня и малость одернувших.

Для вас, для вас я пишу, для вас, с кем столько прожито, пройдено, выпито... И для тех, с кем судьба не свела, но могла свести, и «свои сто грамм» тоже могли быть пропущены, и жизненные километры пройдены. И для тех, с кем, может, еще и сведет судьба, и окажется, что есть о чем перекинуться парой слов. Но в первую очередь для вас...

Я вижу круглые столы на кухнях и висящую над ними сухую рыбу, и квадратные, с двумя парижскими тарелками на стенке, и длинный письменный стол в глубине сейчас, кажется, уже не холостяцкой комнаты, под которым всегда батарея этих мерзких бутылок, которые не сданы только потому, что пункт закрыт, и угол другого письменного стола, покрытого черной клеенкой, и еще много, много столов, кухонь, коридоров, улиц, бульваров, скамеек, ступенек, тропинок... И сейчас я вижу вас всех, вместе и по отдельности, каждого в своей или чужой кухне (о, кухня! милая, тесная советская кухня, где пьют водку и чай, и пиво, и кофе и где рождаются самые веселые, трогательные, печальные и забавные из рождающихся мыслей), и из-за одного из этих круглых или квадратных столов вы и глянули на меня с укоризной... И я понял вас. И расскажу вам про то, что вы не знаете. Я расскажу вам про Испанию, фиесту, корриду...

* * *

Ну, что Испания? Дон Кихот, Лопе де Вега, инквизиция, Веласкес, Гойя, Эль Греко, кастаньеты, веера, матадоры, альгвасилы, оливки, мадера и малага, Бурбоны, мавры, шпаги, фиесты, фламенко, Альфонс XIII, «Над всей Испанией чистое небо», Франко, Гвадалахара, Герника, «голубая дивизия»...

Дальше глухо. Фашизм и всё...

Евтушенко, правда, пробился туда, читал стихи, даже кого-то из знаменитейших матадоров, Домингина или Эль-Кордобаса, не помню уже, подбил прочесть перед началом корриды его, Евтушенко, стихи,

написанные по-испански, но воспротивилось испанское КГБ. Больше никого не знаю, кто был в Испании.

А сейчас тут я. В испанском королевстве. Портреты короля видел, правда, только на марках да в каком-то таррагонском магазине: сто песет — в одиночестве, сто пятьдесят — с королевой. А так как-то не слышно о нем. Во всяком случае, в моей деревушке и соседнем городке, Вендрей. Говорят, у него умный и дельный папа, герцог Барселонский. А вообще поживем — увидим, говорят, кортесы кортесами и социалистическую партию разрешили, но старая франкистская гвардия все еще сильна... Все это я узнаю из французских газет, но читаю их нерегулярно, что-то не хочется.

Во все страны, в которые я попадал (а побывал я уже за два года — о Господи! — в пяти республиках, семи королевствах, одном княжестве и в Канаде, которую не знаю, куда отнести), во все эти государства я попадал из столиц. Сел в поезд — и через четыре часа в Амстердаме, сел в самолет — и через три с половиной часа в Осло. Или из больших городов — Торонто, Мюнхен... А тут с барселонского аэродрома — в такси и в деревню. Не в шикарный «холидей-инн», с громадными вестибюлями, внутренними магазинами и с видами из окна на колючий силуэт собора Св. Стефана, и не в крохотный, как в Лондоне, отельчик с восемью номерами, крутой скрипящей лестницей и портретами юных принцев в фижмах и жабо, а в ту самую «оливкодавильню», где встретили меня русские распостертые объятия и где я сейчас и обитаю — мопсов увезли в Париж, Флорен — к себе в Мадрид, а я перебрался из Сан-Виценте алой (верхней) в бахо (нижнюю).

Как давят оливки, я могу представить себе только по громадному, метра три в диаметре, каменному кругу посреди помещения, которого одним словом определить не могу. Сарай не сарай, конюшня не конюшня (хотя тут и стояли когда-то лошади и мулы) высотой метров в пять. Вверху деревянные балки, а внизу посередине этот камень, а на нем другой, конусообразный, который, поднатужившись, и катали в четыре или в шесть рук по нижнему, а масло, надо думать, стекало в крутой желоб по окружности нижнего камня. Сейчас оливок здесь не давят, а на каменном этом долмене праздновалась годовщина Винцента, или просто Васьки, того самого, у которого во рту теперь уже пять зубов. Был торт с одной свечкой, а сам он сидел на крохотном, плетеном соломой стульчике, увитом белыми цветами, а гости учили его, как эту самую свечку задуть. Но не получилось — дуть, и усиленно, он стал перед сном и без всякой свечки. «Заторможенное восприятие», — сказал кто-то, и заговорили о Фрейде.

Есть в той конюшне и ворота, и камин (все собираемся затопить), и каменная в десять ступенек лесенка, ведущая на большой, внутренний балкон-террасу. С этой террасы выход на другую, открытую, и в две комнаты, спальни. Я сплю и работаю на внутреннем балконе. Из двойного широкого окна — вид на виноградники, за ними — Камарруга и Сан-Сальвадор, пляжные курортики, а дальше — море. Полы в доме каменные на обоих этажах, стены беленые.

Есть в доме и кухня — опять-таки центр интеллектуальной жизни, и ванная в темно-коричневом кафеле с душем. На дворе, на веревках, сохнет белье. Платан с птицами, которые будят меня в шесть утра. Напротив бар «Лаура» с напитками и телевизором.

Хозяйка его — очень красивая каталонка Анита, внук которой — тот самый, что при встрече всегда целуется.

Вот так мы и живем. Тихо, спокойно, не суетясь. Топчется и поминутно падает на каменном полу голенький Васька, детей постарше (девять и четырнадцать) все время гонят: «Ну, займитесь каким-нибудь делом, что вы без толку слоняетесь, видите, мы разговариваем...» А мы разговариваем. Кухня наша ничем не уступает московской... «Могли ли мы себе представить?..» Сейчас эта тема несколько исчерпалась, и ее заменили треволениями Николь, художницы, живущей в сверхстаринном и прекрасном дворце в Вендрее со своим семидесятисемилетним мужем, знаменитым каталонским скульптором, работающим сейчас над памятником Пабло Казальсу — он выходец из этих мест. В одиннадцать часов Николь заезжает за нами, и мы едем на пляж.

На пляже, прикрыв физиономию красной махровой шапочкой, купленной в Париже, в мужском магазине «Бруммель», за 39 франков, я погружаюсь в размышления. Иногда пролетает маленький самолетик, тянущий за собой на веревке рекламу таррагонского ресторана, иногда, очень низко, вертолет, проверяет, все ли в порядке на пляже, а заодно тоже рекламирует какие-то вина. После пляжа обед, сон, немного работы, и в Вендрей — к Николь или на почту, сдать фотопленку, купить газету. Иной раз и на бульваре посидим, попьем кофейку. Вот так и живем — тихо, размеренно, без тревог... И ворвалась в эту тишину фиеста.

Не знаю, как где, но здесь, в Вендрее, это в основном шум — нестерпимый, оглушающий шум. На площади, возле почты и памятника Примо де Ривера (с

трудом припоминаю его по старым, довоенным газетам, какой-то премьер-министр, сейчас во всех городах ему памятники и авенидо его имени), — балаганы, карусели и это новое развлечение — маленькие электроавтомобильчики, все время сталкивающиеся. Тиры. Продажа всех видов орехов, орешков, арахисов, фиг, фисташек и семечек. Да, каталонцы любят семечки. Конечно, им далеко до нашего украинского «конского зуба», длинного, черного, не оторвешься, но здешние, подсоленные, мелкие, тоже ничего. И тыквенные, белые тоже есть. Я заплывал ими все пространство возле столика на бульваре, когда мы пили кофе и любовались национальным танцем «сарденас». Впрочем, любовались — это не то слово. Просто смотрели. Не хочу обижать каталонцев, но опять же нет, не наш украинский гопак, не грузинская лезгинка... Довольно вялый хоровод, держатся за руки, поднимают их вверх, как наши вожди, когда демонстрируют дружбу народов, и топчутся, топчутся на одном месте.

Потом загремели барабаны. Неистово. Не шпицрутенами ли кого-то наказывают? Нет, просто какие-то военизированные мальчики, в голубых рубашках с погонями, с красными аксельбантами. Впереди несут штандарт. И барабанят, и в горны дудят. Поят, подудят, побарабанят, — и дальше. Не понравилось, что-то гитлерюгендовское.

Другие мальчики. В желтом с красным. (При всей вражде Каталонии и Испании цвета у них одинаковые — желтый и красный; испанский флаг — красный, желтый, красный по горизонтали, желтого больше; каталонский — желтый и красный в виде равных полос по вертикали.) В руках у них деревянные дубинки. Ходят по городу табунчиками, вдруг останавливаются и довольно ловко

фехтуют этими дубинками, поднимая кастаньеточный треск. Им хлопают.

И все же не все так скучно.

В час дня у церкви, на площади доктора Мурильо, напротив разукрашенной флагами и коврами мэрии собирается толпа. Все ждут чего-то особенного. И особенное это, пришедшее, как говорят, еще из Рима, когда Таррагона была второй столицей империи, — это человеческая пирамида. Двое постарше и поплотнее внизу, потом двое влезают на их плечи, двое на плечи вторых, и, наконец, двое мальчишек завершают пирамиду. Все в красных рубашках, красных косынках на головах и с широкими черными поясами.

Вторая пирамида — пятиэтажная, когда влезают друг на друга не по два, а по три. Аплодисменты. Потом шестиэтажная, когда по четыре. Это наиболее эффектная и, очевидно, наиболее трудная. После того как все пососкакивали вниз, начались объятия и поцелуи. Потом мне говорили, что один из стоявших внизу упал в обморок и его вынесли.

Пирамида эта — «Ninos de Vendrell» (Вендрейские ребята) сохранилась как древняя традиция только в Вендрее и в другом городишке, Велш (там она называется «Xiquets de Wells»), и происходит, говорят, с тех же времен, когда таким вот образом, взбираясь друг на друга, штурмовали крепостные стены.

Вот вам и вся фиеста.

Был еще и конкурс красоты, я на нем не был, но победительниц видел — с лентами через плечо, довольно красивые, чем-то немного напоминающие наших

украинок, они стояли на балконе мэрии во время пирамидного действия и дарили нас улыбками.

Каталонки... Каталонцы. Те самые, которых ни в коем случае нельзя путать с испанцами, иначе обида, тяжелейшая обида. Они гордые, еще более гордые, чем испанцы, по-настоящему свободолюбивы. (К слову, заметили ли вы, что у нас в стране единственный народ, к которому не применяется это понятие, — это русский. Трудолюбивый, талантливый, героический, даже многотерпеливый — см. Сталина, — но никогда, оказывается, не уважал он свободы. Все остальные народы — да, даже монегаски, жители Монако, а русский — нет.) Так вот, каталонцы — да, свободолюбивые и всегда давали приют изгнанникам. И парламент у них был раньше даже, чем в Англии. При Франко им было худо. Язык был запрещен, могли даже в тюрьму посадить. Впрочем, сажать не сажали, но могли. До сих пор сохранилось автономистское движение, сейчас менее активное, не то, что у басков, но все же есть.

Первый каталонец, с которым я познакомился, был таксист, который вез меня из Барселоны в Сан-Виценте. Круглолицый, чернявый, немолодой уже. Я забыл у него в машине сумочку с деньгами и со всеми документами. Спихватился, когда он уже был далеко. Мы поохали, поохали, меня успокаивали, говорили, что все будет в порядке, завтра позвоним в Барселону... И глядь, он стоит в дверях с моей сумочкой. Приглашен был, конечно, к столу, угощен вином. Посидел с полчаса, поулыбался. Его улыбка запечатлена даже на первом кадре моей первой испанской пленки. Славная улыбка.

Теперь я присматриваюсь к ним, сидя за той самой чашечкой кофе на бульваре. Он же пасео Генералиссимо.

Надо мной платаны, сросшиеся вверху в виде сводов. С полсотни столиков с железными стульями. По одну сторону — принадлежащие ресторану «Kik» (профранкистскому), по другую — «Pi» (республиканскому). По старой памяти и расположению к этим последним (хотя не берусь теперь, через 40 лет, разобраться, кто из них был прогрессивнее, а кто реакционнее), пользуемся услугами быстрых, но заставляющих себя ждать официантов «Pi». У «Kik» они еще быстрее. Особенно один — бежит со своим подносом, лавируя между столиками, будто за ним гонятся.

Пью кофе. Курю «дукадос», испанские «голуаз», но вдвое дешевле, глазаю. Забавно — если не обращать внимания на вывеску, ну прямо Одесса или скорее даже Херсон или Феодосия. Причем, может быть, даже довоенные. Здесь еще носят ковбойки (в Киеве, по-моему, один только я носил), и брюки мешковаты, ни клеш, ни дудочки.

Женщины в пестрых, но не очень, почти мосшвеевских платьях. Брюк почти не видно. Ходят парами, с детьми. Туда и обратно. Жгучести ни во взглядах, ни во внешности никакой. Есть и блондинки, вовсе не крашеные. И особой стройности тоже не обнаружил. Иногда промелькнут ребята с обтянутыми задами, но, ей-Богу, джинсов в Киеве сейчас куда больше, хотя достать их, может, и посложнее. Херсон, Херсон, Одесса! И только одно здесь совсем не херсонское, не одесское, не киевское. Нету пьяных! Нет, и всё! Пьют свое винишко, и никаких тебе «Ты меня уважаешь?», и бродит себе унылый, пожилой,

неторопливый полицейский в серенькой рубашке, и никаких тебе дружинников. Скучно...

Когда я возвращаюсь к себе домой по узкой, прямой кая Крис, тина бахо, опять же наш юг. Сидят на ступеньках, на ящиках, на складных стульчиках, провожают тебя взглядом. Орет ребяшня. Женщины судачат, мужчины возятся со своими машинами. Сквозь открытые широкие двери или ворота видна домашняя утварь, столы, шкафы, а в глубине легковушка «seat» (испанский «фиат») — в свое время, возможно, топтались мулы... А сейчас «seat». В этом здешняя нищета — нет гаража.

Это Вендрей — соседний городок, два километра от нашего Сан-Виценте. Городок ни так ни сяк, тысяч на десять жителей, достопримечательностей никаких. Улочки узенькие, машинам проехать трудно, в двух местах — регулировщики. Магазины, лавочки, и при всей заштатности Вендрея в нем все то же, что и в Барселоне, ну, выбор поменьше. Впрочем, вру. Есть там мебельный магазин «Мирза». Двухэтажный. Возможно, в Париже я не заходил в мебельные магазины, но такого количества спален, столовых, гостиных, кабинетов, детских комнат, кухонь я не видел нигде — модерн, ампир, Луи Каторз, Сез, тяжелая испанская мебель, ажурная садовая, а письменные столы большие и маленькие, с ящичками внизу и сверху, сядь за него — «Войну и мир» напишешь. А перед ними кресла — кожаные, вращающиеся, с покатыми спинками, мягкие, уютные, именно те самые, что в детстве я представлял себе как президентское кресло.

Есть в Вендрее и банки. В Киеве один, государственный, а тут и Банко де Сантандер, и Банко

Каталано, и Банко Меркантиль (!) де Таррагона, и еще три или четыре, не менее звучных.

В центре города катедраль какого-то там века. Рядом рынок, даже крытый. Ну и главная, если не единственная, достопримечательность города — дом, замок, дворец нашего Феносы. Самый что ни на есть XIII века. С башней, галереями, террасами, порталом, с бойницами и даже с собственной химерой (вторая отвалилась), той самой, что на всех готических и романских соборах Европы, с открытым ртом, изрыгает дождь. Каменной стеной обнесен сад, гордость нашей Николь — все там цветет, распускается и вьется по стенам. И громадная, на всю высоту дома, замка, дворца, пальма. Толстая, ветвистая, если так можно сказать о пальме, вероятно, моя ровесница. А внутри... Ну, тут уж и слов нет. Вещей... И все старинных, настоящих, никаких подделок...

Странное дело, этого, вероятно, надо стыдиться, но я как-то не очень преклоняюсь перед стариной, раритетами. Купил себе в Таррагоне старинный, как я решил, герб Барселоны. Деревянный, тяжелый, по диагонали — два красных креста, по другой — каталонские полосы, сверху — корона, и вид у него древний, пошарпанный. Должно быть, над какими-то воротами, над въездом висел. Меня подняли на смех — да это же для туристов, подделка. Ну и черт с ним, сказал я, зато хорошая. И продолжаю покупать похожие на обрезы пистолеты XV века, сделанные полгода тому назад в каком-нибудь толедском Главпистолетроме, и кинжалы, и статуэтки Георгия Победоносца, убивающего какую-то корову, и все равно мне нравится, и дома буду

говорить, что достал это по случаю, у старика в лавке древностей на кая Кабалеро, в Таррагоне.

Не помню, кто из моих друзей сказал как-то очень верно, разглядывая фотографии в «Пари-матч». Там изображена была вдова кого-то из великих — то ли Сезанна, то ли Дерена, то ли Марке, — стоит старушка над костром, а в пламени пылают подделки ее мужа. Причем, как в статье было сказано, с великим трудом удалось доказать, что это не оригиналы. И друг мой сказал: «А может, это сжигают произведения другого великого художника. Подделать Дерена, может, и нелегко, но подделывают и Рембрандта, и Леонардо да Винчи, да так, что всякие нью-йоркские «Метрополитены» покупают. Это тебе не Ларионов какой-нибудь, это уметь надо...»

Вот я и доволен вполне своим барселонским гербом... Появится у меня когда-нибудь камин — повешу над камином.

* * *

Но ладно... Фиесты фиестами, но не пора ли нам наконец обратиться к тому, из-за чего я, собственно, и приехал в Испанию. К тому, о чем мечталось с детства и известно было только по картинкам, Хемингуэю и опере «Кармен», — «Тор-реа-дор, сме-е-лей в бой...»

О, эта «Кармен»! Одно из первых, надолго запомнившихся жизненных огорчений. Родители купили абонемент в оперу. Мне тогда было лет десять.^[12]

¹² Стр.205 Родители купили абонесент в оперу. Мне тогда было лет десять — На самом дел, Некрасову десять лет было в 1921 году. В эссе «По обе стороны стены» он сообщает: «Папа не дожил до того, как «товарищи» вовлекли Россию в кровавый круговорот, — он умер от разрыва сердца» — в городе Красноярске, где

Очевидно, считалось, что так лучше всего приучать к прекрасному. Там, в четырнадцатом ряду галерки, за мной было еще только два ряда, я впервые познакомился с «Евгением Онегиным» (ох, если б только не это письмо Татьяны...), «Пиковой дамой», «Демоном». Там же впервые в жизни свела меня судьба и с тореадором. В «Кармен». О, это было ужасно. Очень толстый, на тонких ножках, с трясущимися щеками и неуверенно семенящими ногами, когда, наконец кончив петь, вроде бежит дразнить и убивать быка, — он был мне ненавистен. И потому, что был толст и слишком долго пел, но главное потому, что самого интересного так и не показали. Где же бой быков? Где? Вон там, в глубине? Я вижу только спины зрителей, слышу, как они кричат, и там вообще самое главное, захватывающее, а я обречен слушать все эти «О, Кармен!» Я чуть не плакал. И может быть, даже радовался смерти этой идиотки, сменившей более или менее сносного Хосе на жирного, противного тореадора, которого не то что бык — курица с ног свалила бы...

Думаю, что именно с «Кармен», с этого так и не увиденного — по усам текло, а в рот не попало — боя быков все и началось. И желание самому стать тореадором, вполне искреннее признание тов. Маланчуку в своей заветной мечте.

И вот на 66-м году жизни эта мечта осуществилась.

PLAZA DE TOROS DE TARRAGONA

Domingo 18 de Julio de 1976 GRANDIOZA
CORRIDA DE TOROS^[13].

Я стою в очереди за билетами. Уже приятно. По совету, данному тут же, в очереди, беру в тени, *sombre*, за семьсот песет. Это не так уж мало. На эти деньги можно купить две прекрасные черные андалузские мантильи и на всю жизнь осчастливить кого-нибудь из москвичек или киевлянок. Но сейчас я эгоист — хочу приличное место. И еще программку за сто песет. Даже две — одну пошлю в Киев, развеселю друга. Там все написано, что к чему и после чего и название всех приемов, и масса цветных фотографий. Портреты самых знаменитых тореро за последние сто пятьдесят лет. Могу купить или, возможно, взять напрокат кожаную подушечку (тоже сто песет), если побаиваюсь радикулита, скамейки здесь каменные, и, в случае плохой работы тореадора, могу швырнуть ее в знак осуждения на арену. Но я обхожусь без нее, все три часа сижу на камне, не замечая этого. Место у меня хорошее, под президентской ложей, украшенной желто-красным ковром. Там трое судей — президент, платочком дающий сигналы, старый заслуженный матадор и ветеринар. Немолодые и вроде как скучающие.

Ровно в шесть тридцать (в программке сказано, что только здесь испанцы бывают точны) открываются ворота и под звуки «*pasodobles*» появляются участники зрелища, равного которому нет в мире...

¹³ «Площадь де Торос де Таррагона. Воскресенье, 18 июля 1976 грандиозная коррида» (исп.).

Ох, не загнул ли ты, брат?

Нет, не загнул.

Мои дамы на корриду не пошли — не любят убийства, не любят крови. Я пошел, хотя к убийству и крови отношусь, вероятно, так же, как и они. Потом, после корриды, они утверждали, что вид у меня был разочарованный. Нет, это не совсем точно. Я был не разочарован, я был огорчен. Огорчен самим собой. Огорчен тем, что, как выяснилось, мне совсем не жалко быка.

Поединок, в конечном счете, безусловно, не равный. Бык и больше, и сильнее, и злее, и удар его рога смертелен, но он, да простят мне столь категорическое утверждение, просто глуп. И гибнет от собственной глупости, а не только потому, что его загоняли. Из шести быков, участвовавших в корриде, ни один в поединке с матадором не бросался на него, только на мулету, кроваво-красную мулету, развевающуюся то справа, то слева от его морды. Матадора он будто и не видел.

А матадор все время на краю гибели. Это то самое лезвие ножа, которому уподобляют все отчаянно смелое. Вот главное, вот существо того, что делает корриду зрелищем, ни с чем не сравнимым.

Второе, и тоже главное, — изящество, с которым это хождение по лезвию осуществляется. Во всех деталях отработанный, отшлифованный, доведенный до совершенства танец. Свои пируэты, антраша, адажио, фуэте, за которыми знатоки следят и не прощают ошибок, как не прощают танцовщику, будь он самим Нижинским. Только там это — количество пируэтов, высота прыжка, а здесь — количество сантиметров от рога быка и степень величавого спокойствия, с которым

тореро, после очередной вероники, отходит, не оборачиваясь, от разъяренного быка. И то и то — искусство. Искусство движения, искусство поз, но рядом с быком — еще и преодоление страха.

В-третьих — это веками освященная традиция, классика, не допускающая отклонений. Ни в чем. Наряд, косичка колета, распорядок, условность, минуты. В корриде немислим модерн, поиски нового, кажется, только легендарному Манолетто разрешено было ввести новую «lancio», новую позицию, пируэт, носящий сейчас его имя: «mano-летинас». А знаменитейшего из знаменитых, ныне здравствующего Эль-Кордобеса, говорят, знатоки осуждают. Он в своем бесстрашии, в немислимом риске отодвигает танец на второй план, и это считается безвкусным, не прощается, хотя публика ревет от восторга.

Все вместе, переплетаясь, — традиции, танец, игра со смертью и сама смерть — именуется «тавромахией». Ей посвящено много книг (мне они пока в руки не попадались, на книжных полках таррагонских магазинов их нет), и дань ей отдали и Гойя, и Пикассо.

И все же второй раз на корриду я не пошел. Первый раз толкнуло любопытство и долг, второй же раз надо, чтобы рядом с тобой сидел знаток, говорящий тебе: вот это «chicuelina», это «revolera», а это «suerte», и Антонио Ордонес в 1932 году делал это вот так, а за десять лет до него знаменитый Пепе Луис Васкез иначе, вот так. Кроме того, надо кого-то хватать за колено, когда вместе со всеми зрителями захочется тебе немного понеистовствовать.

Так что же все-таки коррида, кроме красоты, традиции и крови? Не имея права и возможности

разобраться в тонкостях тавромахии, расскажу о том, что я видел и что вычитал в программке.

Коррида не только развлечение, но занятие вполне серьезное и требующее к себе серьезного отношения. До начала корриды проверяется вес, общее состояние как быка, так и его соперников. В случае какого-либо отклонения участники от боя отстраняются. После боя, как правило, специальная комиссия еще раз проверяет, не были ли у быка подпилены рога, и если появляются сомнения, рога отправляются для окончательной проверки в «Dirección General de Seguridad» — дирекцию безопасности (какое-то, очевидно, ихнее корридское КГБ).

В корриде участвуют обычно шесть или семь быков. В моей было шесть, выращенных и вскормленных в «Acreditada ganaderia de cos Sres» некоего Hermanos Sanches Arjona в городе Родриго (Саламанка) con divisa verde y plata. Serial: orejisana — с девизом «зеленое и серебро», пароль: «окровавленное ухо». Девиз — это ленточки определенного цвета, прикрепленные к загривку быка. Что такое пароль, никто из моих каталонских друзей, корридой не увлекающихся, объяснить не смог. Кто-то предположил, что это телеграфный адрес. Возможно.

Итак, быки.

Черные, коротконогие, на расстоянии кажутся маленькими, и рога у них растут как-то врозь, сбоку, с загнутыми вперед концами. Выбегают очень ретиво и гоняются по всей арене за дразнящими их желто-розовыми «капо» тореро. Те подразнят — и за загородку. Бык бодает загородку. Потом среди тореро выделяется один. Тут-то и начинается балет. Тореро

разными «lancio» (фигурами) проверяет, испытывает быка. Потом, после очередного взмаха белым платком из президентской ложи (а их четыре: белый, зеленый, красный и голубой, и каждый означает свое, осуждает или одобряет матадора), в дело вступают пикадоры. Это единственное унылое действие во всей «lidia» (бой с данным быком). Неторопливые лошади, одетые в предохранительные нагрудники, и какие-то неповоротливые на них пикадоры подвергаются нападению быка — он упирается рогами, вернее лбом, в бок лошади, а пикадор в это время тычет в спину быка копьем. К счастью, это длится недолго. Пикадоров сменяют бандерильерос. Ловко воткнутые в спину быка три пары бандериллий еще больше раздражают и ожесточают его. Из загривка его текут потоки крови, и он становится особенно свиреп.

И тут-то начинается главное — «suerte de matar» — подготовка быка к смерти. До этого происходит краткое, но эффектное посвящение или предложение в дар быка («brindis») тореадором «даме сердца», другу, какой-нибудь уважаемой персоне (ей вручается на время боя «montera», шапка матадора), а если таковых нет, бык дарится всем зрителям, и после соответствующих поклонов матадор бросает «montera» на песок. И начинается поединок. Вот здесь вспыхивает фейерверк всех «lancio». Делаются они внешне спокойно, хотя и быстро, иногда молниеносно — мулета то в правой, то в левой руке, — и завершаются той самой торжественно-павлиньей походкой, причем стан самого тореро как-то по-особенному изгибается слегка животом вперед, плечи назад. По-видимому, очень большое значение имеет положение ног. Нет никаких прыжков,

только шаги, и в паузах ноги в розовых чулках плотно сжаты, колено к колену.

Наконец наступает последний этап «la estocada de muerte» — смертельный удар шпаги («estoque»). Бык и тореро друг перед другом. Движениями мулеты у земли тореро пытается опустить голову быка. Потом нацеливается и, сделав очень красивый, на этот раз петушиный шаг левой ногой, вонзает шпагу в «cruz» (крест), в самую высокую точку спины быка. Редко с одного удара удается его убить. Бык шатается, но не падает. Тогда наносится ему удар другой шпагой — «descabello», у нее на кончике маленькая перекладина, и удар наносится в затылок. Один из быков рухнул только после четвертого удара. Если вся эта процедура затягивается, президент зеленым платочком делает первое предупреждение («aviso»), через три минуты — второе и еще через две минуты — третье. Если к этому времени матадор не справляется с быком, его освистывают, а убитый в конце концов бык за стойкость свою удостоивается (голубой платочек) посмертного круга почета. Все встают. Под гром аплодисментов поверженного быка влекут вокруг арены разнаряженные мулы. В случае удачи матадора круг почета совершает он. В случае особой удачи — зрители машут платочками, обернувшись к президентской ложе, — просят наградить тореро ухом быка, или двумя, или высшей наградой — хвостом. Неподкачавших любимцев иной раз на руках носят по улице и доставляют домой.

На моей корриде ушей и хвоста удостоился «Rejoneador» Анхель Перальта, тореро-всадник. Всю «lidia» он провел так безупречно, и лошади его, а он сменил трех, были так прекрасны, так горячи и тонконоги, к сам он, не очень уже молодой, в своей

черной, с широкими плоскими полями шляпе, был так красив, стремителен и изящен, что, будь я помоложе и поиспанистее, сам бы понес его на руках домой.

Девять часов. Коррида окончена. Прощальные аккорды «pasodobles», и, слегка усталый от напряжения и почти трехчасового сидения с вытянутой шеей, я прыгаю через каменные лавки по направлению к выходу. И очень жалко, что не умею по-каталонски — зрители в общем-то довольны, но так хочется услышать мнение знатоков, разобраться в деталях этого кровавого, благородно-жестокоего зрелища...

Кто-то когда-то рассказывал мне, что будто бы знаменитый тореро Луис Мигель Домингин, ушедший на покой и женившийся на знаменитой киноактрисе Лючии Бозе, предложил советским властям в порядке, так сказать, культурного обмена устроить «гастроли» боя быков в Москве.

По каким-то там причинам высокие договаривающиеся стороны не сторговались, и москвичи лишены были удовольствия покричать «олле!» и «торо!» где-нибудь на стадионе «Динамо».

В перерыве между «lidia» я на минуту представил себе, что было бы, если б в Испании, после гражданской войны, воцарился коммунизм. Правда, в свое время Хосе Диас, генсек испанской компартии, в ответ на вопрос Эренбурга сказал, что корриду, как зрелище жестокое, придется отменить, но на последнюю корриду он пойдет, а потом всю ночь проплачет... Думаю, что его план запрета осуществить было бы невозможно, испанцы не допустили бы. И тут-то я представил себе тавромахию в советских условиях. «Куадрилью» надо было бы укреплять коммунистами. И избиралась бы партиячейка. И

секретарь ее, кто-нибудь из «мурийерос», погонщиков мулов. И проводились бы партсобрания, соцсоревнования, тореро бы призывались еще выше держать мулету, и был бы план по забою быков, и, возможно, введено звание заслуженного деятеля тавромахии... Но тут выбежал бык и рассуждения мои прекратил.

Мои дамы не пошли на корриду. Я сидел один. Они против крови и смерти. А я? Когда-то я даже написал рассказ об истреблении котиков. Я видел это на Камчатке, на Командорских островах. Я был подавлен этим зрелищем массового убийства. Кровь текла буквально потоками, стояла озерами. И в этой крови копошились молодые ребята, участники избиения. А их командир, лихой красавец алеут, учил их к тому же, когда свежевали неостывшие туши: «Не бойся, глубже глубже вырывай сердце к черту!» (Сердца вырывались, чтобы варить из них потом суп.) И ребята робко, но вырывали...

Это было непостижимо страшное зрелище. Четырнадцати-пятнадцатилетние ребята воспитывались, росли на крови. Она с детства входила в их жизнь...

А здесь уши и хвосты... Намного ли лучше?

Я совсем не знаю испанцев, встретился с ними впервые. Мне кажутся они скорее добрыми, чем злыми. И не думаю, чтоб они были жесточе и кровожаднее других народов. А вот смотрят корриду, и любят ее, и носят матадора на руках...



Барселона... Таррагона... Для моего русского уха эти названия так же заманчивы, как и коррида.

Гулял я по этим городам, глазел по сторонам, но писать о них не буду. Во-первых... Нет, давайте без «во-первых». Просто мне кажется, я несколько утомил уже читателя испанскими своими рассказами — надо и честь знать! — когда-нибудь, в другом месте, к случаю, по поводу расскажу и о них (а они стоят того), но не сказать несколько слов о Sagrada Familia все же не могу.

Sagrada Familia — Святое Семейство — это собор. В Барселоне. (До сих пор не могу сообразить, как надо писать иностранные слова и названия — латинскими буквами, русскими или в переводе. Писать ли Concorde, Конкорд или площадь Согласия? Rue Cherche-Midi, Шерш-Миди или улица Ищи-Полдень? А Елисейские поля — Шанз Элизэ, что ли? Что-то вроде нашего детского «Жан тэля пасэ, Мари лён трэ»... Так и не разобравшись, буду писать, как Бог на душу положит.)

Итак, Sagrada Familia, Саграда Фамилия... Я уже о ней и о ее авторе, Антонио Гауди, писал. В «Записках зеваки». Не издавши ее. Теперь увидел.

Модерн. К тому же каталонский. Его в студенческие мои годы мы не знали. Так же как и самого Гауди и его собор. Нас этому не учили. Модерн же — елисейских магазинов, рябушинских особняков и сандуновских бань — презирали. Антихудожественно и, главное, антиконструктивно. Второе было равносильно смертному приговору.

Последний признаваемый стиль был ампир — павловский, александровский, николаевский. Потом пошла эклектика и модерн. Стиль зубных врачей, беклиновский «Остров мертвых», Штук, «Грезы Бетховена», по-французски «искусство пожарных», arts des pompiers. А все вместе La belle époque — Прекрасная эпоха, начало века. По-нашему же, годы реакции, упадок, декаданс.

А теперь?

Как-то, гуляя с приятельницей в парке у Конк... виноват, Concorde, там, где начинаются Шанз... простите, Елисейские поля, мы разглядывали экспонаты выставки молодых скульпторов. Здесь, на открытом воздухе, на аллее ни более и ни менее как Марселя Пруста ежегодно, обычно в мае, молодежь выставляет свои произведения. В основном из проволоки, жести, клепаных угольников, что-то иногда раскачивается, вращается, иногда ставит в тупик, когда мусорную корзинку ты принимаешь тоже за скульптуру. И вот, пройдя мимо одной из таких скульптур — в траве было вбито много колышков и между ними натянута проволока (на военном языке это называлось МЗП — малозаметное препятствие, а здесь даже фамилия автора была... Микельанжелли!), — мы вышли к некоему павильончику, так себе павильончик, девятисотых годов, тот самый модерн с волнистыми карнизами, овальными окнами, растениями и листьями на фасадах. Остановились мы перед ним и переглянулись: «А? Ей-богу, как-то милее сердцу...»

Всегда хочется что-то с чем-то сравнивать. Дворцы с дворцами, соборы с соборами. И тех и других я за свою жизнь видал много. В соборах отдаю предпочтение готике. Видал самые великие творения ее: Нотр-Дам,

Шартрский собор, Реймский, Миланский, Св. Стефана в Вене, Вестминстерское аббатство... И вот рядом с ними модерн... Не святотатство ли?

Подходя к собору, я немного даже волновался...

Самое сложное в этой встрече, это то, что у собора нет внутренности. Есть только фасад. Остальное — стройка. С 1884 года, когда он был начат, до сегодняшнего дня. Девяносто два года!

Собор окружен заборами, над ним — кран. Внутри строительная площадка. Закончен только один, восточный фасад — La Fachada del Nacimiento.^[14] Вечерне выведен и западный — La Fachada de la Pacion,^[15] уже после смерти Гауди. Третий — de la Gloria,^[16] южный, еще не начат. Как обещают путеводители, к 1982 году, когда в Барселоне должна открыться Всемирная выставка, два фасада должны быть закончены.

Обогнув заборы, выходим (нас было двое) к фасаду Nacimiento. Останавливаемся. Задираем головы. Смотрим. Первое, что поражает, — непохожесть ни на что. На орган, может быть? Возможно. На флейту, например. Четыре исполинские флейты. Если не впервые (готика), особенно близко ощущаешь близость музыки и архитектуры. И еще это похоже на то, что лепят дети из

¹⁴ Nacimiento, по-французски Nativite, — рождение, в данном случае Рождество Христово. Чтоб проверить себя, я посмотрел в свой карманный словарь. Рождества там не оказалось, даже Noel, праздника. Ну, понятно, словарь маленький, в нем только очень необходимые слова. Такими словами оказались: партбилет, партбюро, партийность, партия, парторг, парторганизация, партсъезд... — Прим. авт.

¹⁵ Фасад Мира (исп.).

¹⁶ фасад Славы (исп.).

песка на пляже, — замки, дворцы, гроты, сталактито-сталагмитовые шедевры из мокрого, сползающего песка...

От готики — стрельчатость портала, круглое окно-роза, скульптуры (даже не для готики, слишком, пожалуй, реалистические), и все это тонет в мокром песке, расцветающем неожиданно цветами, растениями. Все течет, плывет... И вдруг из песка этого вырастает кипарис, а по сторонам от него тянутся к небу органные трубы или флейты, четыре веретена, четыре кукурузных початка. И завершаются они чистой водой абстракцией, четырьмя вроде бы крестами, цветными, в керамике. И это нечто новое, внизу этого нет. А стены, слева и справа, — сказочные замки, иллюстрации Доре!

Когда я вторично ездил в Барселону, уже знакомый с Саграда Фамилия, я увидел в окно поезда нечто весьма любопытное. Мы проезжали мимо громадного, самого крупного в Испании, а может и в Европе, цементного завода. И что-то в окружающем пейзаже, в домах, в железобетонных будках, балюстрадах, вокзальном здании напомнило мне знаменитый собор. Что? А тот самый мокрый, сползающий песок. Только это был не песок, а цемент. Осевшая на карнизах и выступах цементная пыль от дождей поплыла и застыла. Особенно эффектно на скалах, сквозь которые пробита железная дорога... И я невольно подумал — не отсюда ли?

В свое время я уже писал, что, возможно, для того, чтобы все увидеть, нужен бинокль. И не ошибся. Многие туристы запаслись ими и разглядывают фасад, как картины Брейгелей или Босха.^[17] Ах, вот еще что-то

¹⁷ Стр.214 Брейгелей или Босха — Брейгель Питер Старший (1525 или 1530–1569) по прозвищу «Мужицкий» и его сын Брейгель Ян Старший (1568–1625) по

странное ползет, вот еще один человек... Разглядывают, пытаются разобрать надписи — на фасаде их много, не совсем понятно, для чего. Sanctus, Sanctus, Sanctus,^[18] — то тут, то там разбросано по башням. И что-то совсем уже трудночитаемое, по вертикали, сверху вниз, вроде exorcium... Оно как орнамент, но это слово, возможно, молитва.

Слова, многословие... В буквальном и переносном смысле. Не вредит ли это искусству? Нужны ли все эти скульптуры? Сцены из жизни Христа, святые, ангелы, трубящие в трубы, в сооружении, которое само по себе скульптура? А может, не стоит задавать этого вопроса? Когда стоишь перед барочными, пышными, в золоте алтарями испанских соборов, где все вьется, переплетается, блестит и сияет, ты не задаешь себе этого вопроса. Давайте и тут не задавать. Зодчество не литература, обойдемся без редактора...

Саграда Фамилия — лебединая, недопетая песня. По всему миру разлетелась. Книги, альбомы, открытки, фильмы, миллионы туристов. Саграда Фамилия? Ах, это Гауди... Гауди? Это то, что Саграда Фамилия? И только до нас эта песня не долетела... Шесть лет проучился я в институте, на архитектурном факультете, и слыхом не слыхивал. И это через десять лет после смерти самого Гауди... Саграда Фамилия, Каса Мила, Каса Баттло, парк Гюэль — нет, не слыхали, не знаем... Точно так же, как много лет спустя (в середине пятидесятых годов) мы недоуменно пожимали плечами и переглядывались, когда

прозвищу «Бархатный»; Босх ван Акен Иероним (1450–1516), нидерландские живописцы.

¹⁸ Святой (исп.).

Альберто Моравиа спросил нас, четырех советских писателей (из них трое — лауреаты Сталинской премии), какого мы мнения о Кафке... О чем — спросили мы. О Кафке? А что это такое? ЧТО?

Это к вопросу о герметичности.

* * *

Я возвращался поздно вечером из Вендрея домой. (Может, именно так и надо начать повествование?) Светила луна. Справа и слева за длинными, совсем как в Крыму, из дикого камня оградами тянулись виноградники, кое-где кукуруза. Впереди на своем скалистом холме чуть светился огнями Сан-Виценте. Было очень тихо. Тоже как в Крыму. Со стороны моря доносился равномерный, усиливающийся перестук колес. Последний поезд из Барселоны...

Только что за ужином у Фенозы, на громадной (XIII, XIV или XV века) крытой террасе, где всегда прохладно, даже в жгучий полдень, за стаканом некрепкого кислого местного вина шел неторопливый разговор об Испании.

Сегодня в газете был опубликован указ короля об амнистии политзаключенным. Все этому радовались, говорили хорошее о короле, хотя фотографии в журналах изображали несколько дубоватого, неулыбчивого, атлетического склада молодца. Ну что ж, бывает, внешность обманчива. А в общем, разве короли в наше время решают? Скептический, многое перевидевший на своем веку Феноза мрачно высказался о том, что освободить-то освободили, но надолго ли.... Заговорили об амнистии вообще. О том, что всего-то в Испании в

наследство от каудапльо осталось шестьсот с чем-то политических. А в России...

Потом перешли к гражданской войне, которой все мы жили начиная с 1936 года. До сих пор сохранились в памяти все эти названия — Университетский городок, дом Веласкеса, Карабанчель альто, Карабанчель бахо, речка Мансанарес, Гвадалахара, Герника, Альказар... Я даже когда-то играл в пьесе под таким названием. Франкистского офицера. Рисовал жженой пробкой усики. В антрактах мы сидели в расстегнутых серых мундирах на ступеньках артистического входа и обсуждали действительное положение вещей на далеких фронтах. С пьесой что-то не совпадало. Вскоре мы прочитали в газетах — мы гастролировали тогда в Днепропетровске, и помню, что прочел я это в газете на стенке возле театра — об аресте Тухачевского, Якира и других изменников... Поверить было трудно, но в святость нашего дела в Испании продолжали верить. Гады фашисты и героические защитники Мадрида.

Сам Феноза непосредственного участия в войне, кажется, не принимал, но скольких друзей потерял он на фронтах. И как было не погибнуть? Оружие, тайно доставляемое советской стороной, было устаревшее, ни к черту не годилось. Советские советники гнули свою линию, вносили раскол. С дисциплиной было плохо. Героизм тонул в бесхозяйственности и неразберихе, создаваемой все теми же советниками. Люди гибли ни за что.

Феноза рассказал случай с советскими танками, которые провалились в реку, никто толком управлять ими не умел. Стали под огнем противника их вытягивать. Почти всех перебило. А танки так и утонули...

Обо всем этом я думал, возвращаясь под звон цикад к себе домой.

Дома меня ждало письмо.

Кружным путем, через Ямайку, письмо из Москвы. От Нины Ивановны Буковской, матери Володи Буковского.

Ну что тут можно сказать...

В Испании вот 636 политических заключенных. А у нас? У нас их вообще нет. Нет, и все тут! Есть уголовники. Нарушители порядка. Демонстранты на Красной площади. Нарушили уличное движение. Были наказаны. Буковский^[19] отправил антисоветскую статью о психбольницах за границу — уголовное преступление. Получай! Двенадцать лет...

Мать во что-то еще верит, добивается, пишет президентам, их женам, людям доброй воли, всему человечеству. А Володя в карцере, на хлебе и воде. 5 рублей 20 копеек на питание в месяц. По франку в день — чтобы понятнее было французам.

Я лежу на топчане, смотрю в потолок на старые балки своего полусарая, полудворца. На стенке развешаны мои трофеи. Тот самый барселонский герб, кинжал, кремневый пистолет, железное распятие, сделанная под старину акварелька какого-то кораблика с надутыми парусами. Все это я купил в Таррагоне, шатаюсь по антикварным лавочкам. И модель парусника тоже купил, в подарок, мол, внуку. И черненького бычка с красными бандерильями в спине. И всамделишные

бандерильи тоже. И соломенного ослика. И зажигалку-катюшу в виде головы быка.

Хожу я по таррагонским улочкам, захожу в собор, в эти самые антикварные лавочки. Роюсь, получаю от этого удовольствие. Опять брожу, взбираюсь на остатки римских стен. Иногда фотографирую, хочется послать в Москву, в Киев — вот где я шатаюсь. И на пляже лежу, загораю, вроде и не думаю...

Нет, думаю...

Не то что мне стыдно. Мне стыдиться нечего. Я ни в чем не виноват, кроме того, что мне сейчас хорошо.

И сейчас, когда я пишу, мне тоже хорошо. Смотрю в окно. На свой птичий платан, на затянутый дымкой вдаль Сан-Сальвадор. Звенит бубенчиками ослик, что-то привезли в бар, к Лауре. Пастух в соломенной шляпе с полями и котомкой через плечо гонит стадо овец. До чего же покойно. До чего же покойно мне в этой Испании, той самой, которая...

Нет, мне стыдиться нечего. Я ничего дурного не сделал. И все же... Гложет, гложет, гложет...

Я не знаком с Володей Буковским. И мамы его не знаю. И в письме ее я ничего нового не узнал. Сидит парень. Голодает. Его гнут, а он не сгибается. Отказывается выполнять бессмысленную работу. Из другого письма, от его соседа по камере — он сейчас в Израиле, — я узнал, что Володя угодил в карцер за то, что не захотел наносить какую-то резьбу на болты. Норма шестьдесят болтов в смену. А рядом, в другом лагере, есть специальный станок, на котором за смену нарезаются две тысячи болтов...

А мама пишет президентам, их женам...

Мне с детства внушали (кто? книги в основном), что сильный великодушен или должен быть великодушным. Откуда это кзяли? Где примеры? Из рыцарских времен? Чепуха! Давить, гнуть, душить в зародыше!

На Западе свои тюрьмы. И надо полагать, несколько отличающиеся от санаториев. И все же... В Швейцарии мне рассказали об одном довольно забавном, особенно для нашего советского слуха, случае. Молодого человека, студента, за какую-то там провинность (возможно, даже протестовал против государственного устройства) присудили к тюремному наказанию. И вот между ним и начальником тюрьмы произошел следующий диалог.

— Во вверенной моему попечению тюрьме тебе придется отбыть определенный срок. С какого числа тебе удобнее всего начать?

— У меня на носу экзамены, — отвечает преступник, — закончатся они двадцатого. Так что лучше всего с двадцать первого.

— Двадцать первое суббота, — подсчитывает в уме тюремщик, — так что начнем с понедельника, с двадцать третьего.

— Прекрасно.

— Затем... Ты, кажется, медик? Хотел ли бы ты работать санитаром или просто сидеть без дела?

— А сколько длится рабочий день санитары?

— Шесть часов, как везде.

— Тогда работать санитаром.

— Договорились. Только с одним условием. После работы ты можешь сходить домой. Но к десяти часам ты должен быть на месте. Распорядок у нас строгий.

— Обещаю. Я люблю точность.

— Тогда договорились. Итак, до понедельника. К восьми утра. Привет твоей матушке.

Возможно, рассказ этот несколько и приукрашен, но речь в нем идет все же о наказании. О лишении свободы, вернее об ограничении этой свободы. По понятиям современного цивилизованного человека, это очень серьезное наказание. По понятиям же другого, тоже современного, но несколько менее цивилизованного человека, это предрассудок, только тормозящий развитие общества, и употребляется это слово — «свобода» — только вместе с прилагательным «буржуазная» или еще иначе — «их свобода». К тому же большинство у нас настолько отвыкло от этого состояния, что лишать его того, чего он практически и не знает, просто абсурд. Поэтому, если некто в чем-нибудь провинился (допустим, осуждал существующую государственную систему), его надо если и не бить смертным боем (времена прошли), то лишать писем, книг, свиданий, заставлять делать бессмысленную работу и кормить из расчета 5 рублей 20 копеек в месяц... Нет, не в белых перчатках мы делали революцию. Не в них мы и государством управлять будем...

*** * ***

Пейзаж сменился. Нет больше пальм и агав. Нет рядом Таррагоны. Рядом вообще ничего нет. Шумящий лес. Ели, сосны, сохнувшие, пожелтевшие от летней жары

березки. Скалы. Гранит. Вдали озеро. На берегу его домик, обсаженный цветами. Еще несколько домиков, деревянных, беленьких, штук пять или шесть, разбросано по лесной чаще. Все это вместе называется Лисебу.

Мой домик тоже беленький, двухэтажный. И я один. В ста тридцати километрах отсюда, на северо-восток, Осло. Норвегия...

Сменился пейзаж...

Нет больше оливкодавильни, платана за окном. Вместо него корявая яблонька, а чуть дальше, на лужайке, три елочки. За ними дорога — изредка по ней стрекочет красный трактор с прицепом. За дорогой скалы. На них сосны, березки. Над ними сейчас облака, та самая жемчужная гряда... Конец августа. Тепло. Старожилы не припомнят.

Сменился пейзаж...

А мысли все те же...

Нет, не в белых перчатках мы будем управлять государством...

По вечерам я иду на озеро, сажусь в лодку и лениво хлопаю веслами. Тень от облепивших озеро гор уже перекрыла его, только на моем берегу золотятся еще березы. Легкий, свежий ветерок. Озеро зарябило. Лодку немного сносит к берегу. Я хлопаю веслами.

Когда-то на Днепре мы гоняли на длинных, узких, стремительных полутригерах. Очень важно было обогнать идущий рядом. И мы неслись, поймав ритм, дыхание, мимо Труханова острова вниз к Цепному мосту...

В последний раз, уже не на полутригере (их сейчас нет, вместо них что-то другое), а на посудине попроще, я совершил прощальную прогулку по Днепру (я не знал, что она прощальная, но так получилось) вместе со Славиком.

Он пришел как-то утром и сказал: «А не покататься ли нам на лодочке?» У него был определенный замысел, когда он это говорил, но пока умолчим об этом. День был теплый, солнечный, и мы на лодочке отправились куда-то вверх. Потом лежали на чистом песочке, нежились среди шелестящих раки...

Славик — это тот самый Семен Глузман, который сейчас в Пермском лагере. Уже пятый год... Там он познакомился, подружился с Володей Буковским. Там же вместе написали тот самый труд, инструкцию, как же себя вести здоровому человеку, если его упекут в психушку. Написали и переправили за границу. Если не ошибаюсь, первым опубликовал их работу журнал «Survey». Я был тогда в Англии, и меня попросили написать к нему нечто вроде предисловия. Так столкнула меня судьба опять со Славиком. С его новым произведением...

Как-то в Киеве, это было году в шестьдесят восьмом, получил я письмо от некоей незнакомой дамы. Ссылаясь на наших общих друзей, она попросила обратить внимание на одного милого юношу, с которым познакомилась, когда лежала в больнице. Он пишет, и ему нужен совет. Так вот, не мог бы я...

Я смог. Юноша пришел, принес рассказики. Тоненький, застенчивый, с очень интеллигентным лицом, ох как бы не завел разговор о поэзии, Мандельштам — этого я боюсь. В противоположность многим настоящим

писателям, я не очень люблю, когда мне приносят рассказы. А еще меньше, когда страниц 200–300. Это, конечно, нехорошо, надо быть внимательным, «делиться опытом, мастерством». Но я-то не умею делиться, у меня не получается. По слабости характера я не отказываюсь, рукопись беру, что-то обещаю, куда-то ее кладу, забываю, потом никак не могу найти, одним словом, получается черт знает что... Но эти рассказы я прочел. Ну что ж, рассказы как рассказы. И вот именно об этом, что рассказы как рассказы, я и сказал Славику по дороге из больницы, куда я попросил его меня проводить, проведать лежавшего там моего друга...

С этого началось...

Он стал ко мне приходить. Нет, не в гости и не то чтоб по делу, а так: то принести маме лекарство, то он где-то проходил и увидел, что дают гречневую крупу, и он взял, то еще что-нибудь в этом роде. И как-то все сразу его полюбили. Был он мягок, деликатен, о поэзии не говорил. Потом стал приходить просто так, без дела. Стал принимать участие в вечерних чаепитиях, помогал маму поднимать (она была прикована тогда к постели), подвозить на кресле к столу.

И так постепенно, незаметно превратился он вроде как в члена семьи. Он кончал тогда мединститут, был очень занят, но, пожалуй, не было дня, чтоб не заскочил. Иногда на секунду («не нужно ли чего Зинаиде Николаевне, я как раз в ту самую аптеку иду»), иногда отвести душу или включиться в мытье окон — делал он это очень быстро и ловко.

И только одно не давало нам сойтись полностью. Я пил, а он нет. И он очень огорчался, считая, что я этим несколько злоупотребляю. И друзей моих,

злоупотреблявших вместе со мной, не очень-то долюбивал. Одним словом, переживал...

Я ему сочувствовал, но, как говорится, ничем помочь не мог. Но один раз все же помог. Согласился, чтобы он применил ко мне объявившиеся у него вдруг гипнотические способности. Он работал тогда в Коростене и, по его словам, двух каких-то алкашей вроде вылечил.

— Ладно, давай... — сказал я и лег на диван.

Милый, милый Славик. Я до сих пор не могу без улыбки вспомнить твои те сеансы. Я ложился на диван, закрывал глаза. Ты подсаживался рядом и так мило, так трогательно делал какие-то пассы надо мной, убеждал меня, что водка мне противна, что я не могу на нее смотреть.

До этого ты просил меня поднять руку. Я подымал. Держал сколько надо. «Теперь опустите...» Я опускал...

А дальше тихим, но очень внушительным голосом:

— Нет, я не хочу водки... Один запах ее, один вид бутылки мне отвратителен...

Я лежал с закрытыми глазами и молча не соглашался со Славиком. Нет, не отвратителен, совсем не отвратителен.

Так прошло три или четыре сеанса. А может, и пять. Как и почему они прекратились, не помню. Помню только, что долго не признавался ему в своем обмане, не хотелось его огорчать. Потом все же сказал. И огорчил. Очень даже...

Между прочим, та самая прогулка на лодке, прощальная, тоже входила в его программу. Свежий воздух, река, физические упражнения.

И вот опять все то же...

Могли ли мы с тобой, Славик, подумать тогда, лежа на песочке и перекидываясь какими-то не очень значительными мыслями, что пройдут годы (пять, шесть?) и я буду сидеть под твоим большим портретом в зале Мютюалите, в Париже, на митинге в защиту Плюща. На сцене, за президиумом, висело три портрета — твой, Лени Плюща и Володи Буковского.

Нет, об этом мы не думали тогда. Но очень скоро пришлось думать о другом.

Славик читал Самиздат. Ну кто его у нас сейчас не читает? Может быть, даже не только читал, а давал еще кому-то прочесть. Это-то чтение и распространение и фигурировало потом в приговоре, отмерившем ему семь лет лагерей.

Прочесть приговор никому не пришлось. Его прочитали на суде и на руки не выдали, ни адвокату, ни родителям. А родители были так взволнованы (на чтение приговора их все-таки пустили, а так — нет, никого) и не все расслышали, помнят только, что «за чтение и распространение» произведений Солженицына, какой-то речи или статьи Генриха Бёлля и пародии на роман Кочетова. Вот и все. Судья Дышель, знаменитый в Киеве специалист по инакомыслящим, спокойно произнес: «Семь лет исправительно-трудовых лагерей строгого режима и три года ссылки»...

Мы, как у нас говорят, наивняки, пытались найти к нему, к этому Дышелю, какие-то пути. Жена моего друга

и его жена где-то когда-то вместе работали. Встретились тайно. Речь шла об ознакомлении с делом Славика. Хотелось его прочесть собственными глазами. Дышелева жена поохала, поохала. Сказала, что сам Дышель очень переживает, жаль ему, мол, такого славного, такого интеллигентного мальчишка, ночами не спит, но... Короче, дела мы так и не увидели, а Дышель, приняв, очевидно, перед завершением дела двойную дозу снотворного, спокойно (а может, и не спокойно, а волнуясь, трудно все-таки свой долг выполнять) объявил: семь лет! Не люблю пословиц, но эта очень уж подходящая — закон что дышло, куда ткнул, туда и вышло.

Где-то в Париже у меня лежит то ли «Правда», то ли «Известия» с передовой, посвященной выборам народных судей. Красивая статья, ничего не скажешь, там и совесть, и долг, и принципиальность. Даже, по-моему, слово «скрупулезность» было.

Прочитав статью, я невольно вспомнил одно судебное заседание, на котором присутствовал. Дело было в космополитические годы, кажется в пятьдесят втором году. Судили директора ВУОАП — Всеукраинского управления охраны авторских прав. Забавно, фамилия его тоже была Глузман. Немолодой уже, лет за шестьдесят, больной, несколько глуховатый и очень внимательный человек.

Рассказывают, что в годы войны в эвакуации он очень помогал писателям и их семьям. Сейчас, маленький, щупленький, очень аккуратный, в галстучке, он сидел на скамье подсудимых. Защищала его одна из лучших защитниц Киева Васютинская. Защищала блестяще. После ее речи мы все, присутствовавшие на процессе, пожимали друг другу руки. С фактами и

документами в руках она сумела доказать, что если б он, Глузман, не сделал того, что он сделал и за что его судят, вот за то его надо было бы судить.

Суд ушел на совещание. У всех были счастливые лица, даже у подсудимого. Молодец Васютинская, молодец Софа — так ее звали знающие ее. К тому же говорили, что Глузману повезло — судья, говорят, весьма приличный человек.

Совещание длилось недолго. «Прошу встать. Суд идет». Суд пришел и объявил: семь лет!

Мы переглянулись, посмотрели на Васютинскую — она развела руками. С горя мы — я и Копыленко, он тоже был на суде, хороший писатель и приличнейший человек — пошли и напились...

Наутро я не выдержал и пошел к судье. Она сидела одна, немолодая, с недовольным, совсем не располагающим к беседе лицом.

— К вам можно?

— А что? — выражение лица еще более недовольное.

— Хотелось бы с вами побеседовать насчет вчерашнего.

— А что беседовать?

— Тем не менее можно?

Разрешила.

Я сказал, что пришел к ней не как член Союза писателей, которому поручено было присутствовать на процессе (а было действительно так), а просто как человек, которому не совсем понятно, действительно ли

Глузман, старый, больной человек, порядочность и честность которого были вчера так убедительно доказаны, настолько опасен, что его надо засадить на семь лет.

— Не засадить, а изолировать.

— Ну изолировать. Неужели вы убеждены, что он действительно этого заслуживает?

Она посмотрела на меня долгим и каким-то испытующим взглядом. Потом встала, подошла к двери, приоткрыла ее, посмотрела, нет ли кого в соседней комнате, — вернулась к себе.

— У вас есть кто-нибудь в ЦК?

— В ЦК партии?

— Да, в ЦК партии...

В ЦК партии у меня, увы, никого не было. Но был знакомый председатель областного суда. В свое время он помог в деле одного моего друга.

Она невесело улыбнулась.

— Бесполезно. Такие же говнюки, как и мы. Все по телефонному звонку.

Глузман просидел недолго. Подпал под амнистию после смерти Сталина. Через год или два он умер.

А Васютинская? Умная, все понимающая Васютинская? Очень она мне была нужна, когда посадили другого, моего Глузмана. Нужна была не помощь, просто совет. А может, и помощь. Этого-то она и испугалась. Уловить ее оказалось невозможно. Ни днем, ни утром, ни поздно вечером.

Да, Софа, очень Вы огорчили меня тогда. Понимаю, Вы ничего не могли сделать, Вы были беспомощны, как все советские адвокаты. Но Вы могли, встретившись со мной где-нибудь на нейтральной почве, ну где-нибудь в Царском саду, и, взяв меня под руку, сказать... Ну хотя бы то, что сказала мне видевшая меня в первый раз в жизни судья. Кто тянул ее за язык? Могла просто выставить меня за дверь. А вот не выставила, заговорило в ней что-то человеческое.

* * *

Славик читал Самиздат. Ему дали семь лет. Марику Райгородецкому, брату моего бывшего друга, молодому учителю, дали два за то, что обнаружили у него в портфеле «Мы» Замятина. Он зашел ко мне, не зная об этом, во время обыска. Нельзя читать Самиздат, нельзя читать Замятина.

Самое нелепое, самое бессмысленное, что может придумать власть, оберегающая свою систему, свою идеологию, — это запретить читать. Нигде и никогда за всю историю человечества это не приводило к желаемому (властям!) результату. Читали, читают и будут читать! Всегда! И как бы за это ни карали.

Не знаю, считают ли власти своей победой изгнание Солженицына, Синявского, Максимова, Ростроповича, людей, для которых Родина не последнее понятие, возможно, и мой отъезд отнесен в актив. Если это так, то они добились своего. Я уехал, потому что был лишен возможности читать. И писать, добавим. Но это уже дополнительно, чисто профессиональное. Получаешь

государственную пенсию, можешь и не писать. Написал уже свое, хватит...

Что может быть унижительнее (для власти, не для нас!), когда ты вынужден читать, передавать из рук в руки мельчайшие фотокопии, нет, не антисоветчины даже, а, ну допустим, «Дальних берегов» Набокова — мне под величайшим секретом дали их почитать в Ленинграде — смотрите, не оставляйте в гостинице, носите с собой.

Что может быть унижительнее (для власти, не для нас!), когда у тебя с книжной полки забирают Анну Ахматову (ах да, там «Реквием»!), Марину Цветаеву (там же «Лебединый стан»!), Гумилева (он же расстрелян!), даже «Беседы преподобного Серафима Саровского с Мотовиловым» (гм-гм... Не пристало писателю, да еще коммунисту, всяких там преподобных читать).

(Не знаю, может быть, унижительнее этого, и не только для властей, это когда ты идешь в уборную — свою собственную! — и тебе не разрешают закрыть дверь. Я как-то не нашелся, а жена моя, человек патологически вежливый, просто сказала: «Я не привыкла этим заниматься в обществе» — и захлопнула дверь.)

Совсем недавно я прочел в «Литературной газете», что в Уругвае запрещены такие-то и такие-то писатели, в том числе и Горький. Да черт с ним, в конце концов, с Уругваем, он далеко, а Россия близко. Попробуйте достать у нас «Несвоевременные мысли» Горького. Недозволенные нечего читать!

Так вот, Славику хотелось читать и «Реквием», и «Лебединый стан», и всякого рода другие недозволенные

мысли. Но сел он не только за это. Это, так сказать, фасад, протокольно-приговорная сторона дела.

У нас не только нельзя читать, у нас нельзя дружить. Нельзя дружить с Плющом (а Славик с ним дружил), нельзя дружить со мной.

Думаю, что власти (а может, потом кому-то за это и досталось, льщу себя я надеждой) были совсем не против того, чтоб я убрался подобру-поздорову. И попытались создать вокруг меня вакуум. Славика и Марика посадили, Снегирева — моего друга, писателя и режиссера — исключили из партии, прогнали с работы, кое-кого начали вызывать в КГБ. Неуютно стало друзьям.

Здесь я подошел (не в первый уже раз) к самому для меня горькому, самому обидному, самому тяжелому.

С М-ном (назовем его так) мы дружили со студенческих лет. Любили друг друга. И маму мою он любил. И я его семью, детей.

И вот подошло время. Звонок.

— Вика?

— Я.

— Привет. Вот только что из длительной командировки вернулся. Решил позвонить тебе. Как жизнь?

— Да ничего. Собираюсь вот уезжать.

— Далекко?

— Как сказать... в Швейцарию.

Пауза. Длинная, длинная пауза.

— Ну ладно, будь. Звони.

Звони? Больше я его не видел и не слышал... Жена его не выдержала и пришла. Она не произнесла ни одного слова. Только плакала. Стояла посреди нашей кухни и плакала. Я на всю жизнь запомнил ее лицо. Мокрое от слез. Потом мы молча обнялись... Не могу, но так хочется спросить: «Ну а сын ваш, милый мой Бобка, неужели не спросил вас: «Папа... мама... Мы что, не пойдём провожать дядю Вику?» Не мог он этого не спросить. И вы сказали — «нет» или, в лучшем случае, «как знаешь... смотри сам». И он посмотрел и не пришел.

И это после сорока пяти лет дружбы.

Другой друг, тоже со студенческих лет, в противоположность М-ну, пришел прощаться. Он отсиadyга, поэтому не трус, а у него тоже подрастающее, вернее, подросшее поколение, мог бы сказать: «Я не за себя, я за сына...» Пришел, а на нем лица нет. «Знаешь, встретил я у тебя в Пассаже нашего А. (Все мы учились в одном институте.) Спрашивает: «Ты куда? Неужели к Вике?» — «Да, ведь он же уезжает». — «Ты ненормальный, просто ненормальный», — сказал он мне, и на этом мы расстались».

Тут тоже цифра сорок пять...

Можно было бы продолжить. Да не хочется. И вообще я уже повторяюсь... Но как трудно в некоторых случаях не повторяться.

И опять повторяю, с великой настойчивостью повторяю, единственное, что удалось советской власти, в полном объеме удалось, это застрашать, запугать, этого у нее не отнимешь. И тем прекраснее те, кого не удалось запугать. Славик относится именно к ним.

Я много думаю о Славике. Очень много. Особенно когда мне хорошо. Когда плыву по тихому озеру в лодке, взбираюсь по тропинке на скалу, когда, как сейчас, сижу и смотрю в окно, на бегущие над соснами облака. А Славик?

Беру «Посев», листаю. «Хроника зоны 35».

16–21 сентября направили заявление Подгорному с угрозой отказаться от советского гражданства следующие заключенные: Альтман, Глузман, Кивило, Шушник и другие.

30 сентября Глузман направил письмо академику Снежневскому по поводу содержания в лагере абсолютно невменяемого Бружаса. 1 октября в зону был вызван консультант-психиатр, впервые осмотревший Бружаса.

8 октября Глузману объявлено, что его письмо академику Снежневскому не будет отправлено адресату, так как содержит сведения, не подлежащие разглашению.

10 октября выездной суд активировал Бружаса «по болезни» (таким образом, письмо Глузмана Снежневскому было конфисковано, чтобы избежать его официальной регистрации и успеть освободить Бружаса «без напоминания Глузмана»).

20 октября по рапорту Чайки наказан Глузман.

24 октября утром при освобождении Заграбяна из ШИЗО состоялся такой диалог. Надзиратель Губарев: «Связался с жидами, будешь все время в ШИЗО валяться». Заграбян: «Но ведь из евреев в зоне остался один Глузман». Губарев: «Вот именно с ним не

связывайся, иначе будешь и тридцать лет сидеть тут. Есть такие, сидят по тридцать лет».

Вот так вот — наказан, конфисковано, не будет отправлено, не связывайся, тридцать лет...

Тихий, милый, пописывающий рассказы Славик оказался человеком, которого в лагере начальство даже побаивается. Успеть освободить Бружаса без напоминаний Глузмана... Он протестует, объявляет голодовки, посылает свои исследования — не боюсь этого слова — за границу. Славик и на воле не был труслив, сейчас он стал дерзким, вовсе бесстрашным. Он стал примером. Он и Буковский. Друзья.

Я не знаю, как бы сложилась судьба Славика, не попади он в лагерь. Возможно, был бы неплохим психиатром (лучше, чем гипнотизером!), возможно, и рассказы его стали бы лучше, но стал ли бы он примером «сделать жизнь с кого», не знаю. А сейчас знаю.

Владимир Борисович Александров^[20] — был такой замечательный человек, которому «В окопах Сталинграда» обязаны своим выходом в свет, — сказал мне как-то полушутливо-полусерьезно: «Вам бы для того, чтобы вторую правдивую книгу написать, надо было бы попасть в лагерь». Я посчитал это неплохим комплиментом, но вряд ли такой ценой согласился бы обрести дополнительную славу.

А сейчас я скажу нечто, может, и кощунственное. И даже не полушутливо, а всерьез — жизненная ситуация (назовем это так), в которую попал Славик, — допросы,

²⁰ Стр.229 Владимир Борисович Александров — псевдоним, настоящая фамилия Келлер, литературный критик. В частности, благодаря его усилиям повесть «В окопах Сталинграда» увидела свет.

следствия, суд, лагерь, карцер — выковала из него бойца. Непреклонного и бескомпромиссного. И я горжусь тем, что могу считать себя его другом.

Один мой приятель, понюхавший фронтового пороха, но не очень, как-то сказал о Славике: «Молодец парень, я б его в разведку взял!»

А другой, более обожженный, спросил: «А ты сам в разведку ходил?» — «Ходил...» — соврал тот. «Нет, не ходил. Если б ходил, то знал бы, что самое важное в разведке — разведать, но в разведку не ходить. Начальство так и так поверит, а не верит, пусть идет проверит. — И добавил уже зло: — Давай лучше Славика спросим, кого б он в разведку взял».

В Киеве, на улице Артема, живут родители Славика. Оба врачи. Милые, хорошие, запуганные. И он, и она воевали. И награды имеют. И конечно же кладут подушку на телефон, когда к ним заходишь (они не исключение, о нет), и показывают письма от Славика, и качают головой: «Он успокаивает нас, волнуется за наше здоровье, пишет, что ему хорошо, много на воздухе, читает книжки... Ведь он не может правду написать». Я, конечно, тоже успокаиваю, говорю, что сейчас не те времена, что доходит же до него «Книга — почтой». А они все качают головой: «А что он этим хотел сказать? Вот почитайте». А он писал им маленькие рассказы, литературные этюды, в которых никакой задней мысли не было, просто зудела рука, хотелось писать.

Это было два года тому назад. Тогда он писал такие письма. Позже стал писать другие. Одно из них — письмо родителям — попало на Запад, было напечатано. Хорошее, серьезное, очень горькое.

Когда я уезжал и зашел к старикам — Фишелю Абрамовичу и Галине Петровне, — я знал, что они мне скажут, и был готов к этому. Да, они просили меня не поднимать на Западе шума, знаете, лучше не привлекать внимания. Я не спорил и пытался, в который раз уже, убедить их, что как все ни плохо, но сын у них замечательный и они должны гордиться им. Они кивали головами: «Да, да, мы гордимся им, но все же...» — и утирали слезы.

* * *

На той самой улице Артема, как раз против дома, где жил Славик, стоит особняк. Не ахти какой — у нынешнего моего соседа, норвежского китобоя на пенсии, может быть, даже и лучше, но по тем временам, когда он был построен, более чем шикарный. Строился он для генерала Ватутина, но Ватутин погиб, и вселился в особняк Александр Евдокимович Корнейчук, первый комедиограф страны. Член ЦК КПСС и КП Украины, Председатель Верховного Совета УССР, Председатель Союза писателей Украины, заместитель Председателя Всемирного Совета Мира, в прошлом заместитель министра иностранных дел В.М. Молотова, лауреат Ленинской и многих (пяти, не меньше!) Сталинских премий и, конечно же, действительный член Академии наук...

Я позволю себе задержать внимание читателя на этой фигуре не только потому, что дома Славика и Корнейчука стоят визави, а потому, что вряд ли я встречался в жизни со столь диаметрально противоположными представителями рода человеческого. Может быть, существование одного из

них искупает вину все того же народа, именем которого очень любил жонглировать второй.

— Слушай, Виктор, — сказал мне как-то этот второй, в период, когда я был еще его заместителем по Союзу писателей (а было и такое!). — Ты ж совсем не знаешь жизни, не знаешь народа. Его дум, чаяний, свершений. Замкнулся в четырех стенах, а народ тем временем творит жизнь, шагает от подвига к подвигу. Оторвись-ка от своих писаний (он несколько идеализировал мое времяпрепровождение), и поедем-ка посмотрим, как живут, трудятся люди.

— Куда ж мы поедем? — поинтересовался я.

— К тем, у кого есть чему поучиться. К Героям Соцтруда. К Посмитному, к Олене Хобте...

Я живо представил себе картину нашего путешествия в длинном, с белыми занавесками «ЗИСе», все эти застолья, тосты и от поездки уклонился, хотя с познавательной точки зрения, может быть, это было бы даже интересно.

А об Олене Хобте, о которой я имел представление только по бесчисленным портретам и мраморным бюстам, украшавшим любую республиканскую или всесоюзную выставку, рассказывал мне потом мой друг.^[21] О ее встрече с коллективом Театра им. Станиславского, в котором он работал. То самое общение с народом, с лучшими его представителями.

Явилась, значит, Олена Хобта, передовая из передовых колхозниц, вся грудь в орденах, как у

²¹ Стр.231...рассказывал мне потом мой друг. — Некрасов имеет в виду Иосифа Локштанова, который играл в театре им. Станиславского.

маршала Жукова, поднялась на трибуну и стала говорить собравшимся артистам и режиссерам, чего от них ждет народ и как и что им надо играть, чтоб удовлетворить чаяния этого народа.

Михаил Михайлович Яншин, худрук театра, один из лучших и старейших актеров МХАТа, слушал, слушал, потом встал и сказал:

— Нам всем, здесь присутствующим, очень интересно и полезно было выслушать все замечания и пожелания, особенно в области режиссуры, высказанные здесь знатной нашей гостьей, Героем Социалистического Труда товарищем Хобтой. Все мы, отдавшие свои силы театру и проработавшие кто тридцать, кто сорок, а кто, как я, например, и все пятьдесят лет, попытаемся в дальнейшей нашей работе выполнить все изложенные с этой трибуны с великим знанием дела весьма ценные указания, но, со своей стороны, хочется спросить нашу дорогую гостью. — И тут и без того высокий, пискливый голос Яншина дошел до своего верхнего предела: — А почему на базаре морковки нет? Простой морковки...

Что ответила Хобта и ответила ли она вообще на этот, не из самых легких, вопрос, не знаю, но когда на каком-то не очень трезвом писательском сборище я рассказал эту историю, один только Корнейчук даже не улыбнулся.

— Я прекрасно знаю Яншина, — сказал он, оглядев всех присутствующих, и все сразу перестали смеяться. — Чудовый актер^[22] (любимый его эпитет: «Чудові люди

²² Стр.232 Чудовый актер — Удивительный актер (любимый его эпитет: «Удивительные люди вашей шахты, вашего колхоза...»), но народу он не знаком, и что-то не видел я его в наших современных советских пьесах... А не мешало бы (укр.).

вашо і шахти, вашого колгоспу...»), но народу він не знає і щось не бачив я його в наших сучасних советських п'есах... А не мішало би.

Я ничуть не удивился бы, если б после моего не очень уместного в данной компании рассказа уважаемый наш Александр Евдокимович поведал бы его с дополнительными комментариями кому-нибудь из выше его стоящих особ. Человек он был исключительно злопамятный и мстительный.

Я ощутил это на себе.

В 1949 году во время все той же очистительной кампании по борьбе с космополитизмом мне пришлось как-то сидеть рядом с ним в президиуме — я все еще был одним из десяти его замов. Полукруглый, как в парламенте (когда-то здесь заседала Центральна Рада), зал Музея Ленина гудел от негодования и гнева. «Ганьба!», «Позор!» — несло со всех сторон, а несчастные, уличенные во всех грехах «космополиты» один за одним подымались на трибуну и, кто посмелее, пытались оправдываться, кто потрусливее, то есть понормальнее, признавали все, что надо, — да, разлагали и растлевали, и подкапывались, клеветали, играли на руку, лили воду на мельницу — и обещали исправиться, прислушаться, следовать, выполнять... И больно было смотреть на одного из главных «космополитов» Леонида Первомайского, как незадолго до этого на «буржуазных националистов» Максима Рыльского и Володимира Сосюру, когда они с поникшими головами сходили с трибуны и, словно сквозь строй шпицрутенов, шли по проходу и садились на свои места бледные, униженные, раздавленные.

А другие, зарабатывая этим дополнительные тиражи, поднимались на ту же трибуну и, обуреваемые справедливым гневом, разоблачали лакеев, прислужников, низкопоклонников и вконец зарвавшихся пигмеев, как окрещен был мой друг, Леля Рабинович, художник, осмелившийся поднять в одной из своих статей руку на великого русского художника Валентина Серова, утверждая, что в некоторых его портретах сказалось влияние модерна.

Итак, зал ревел и клочкотал. И вот тут-то, когда все члены президиума уже выступили, ко мне наклонился Корнейчук:

— Ну что ж, слово даю тебе.

Я сказал, что выступать не буду.

— То есть как так не будешь? — Он даже удивился.

— Не буду выступать, — повторил я.

— Ладно, выйдем перекурим. — Он встал. — Поголовуй тут замюць мене,^[23] — сказал он то ли Дмитерко, то ли Малышко, и мы вышли.

— Ты понимаешь, что как коммунист, член президиума и «заступник голови»^[24] ты не можешь не выступить. Это будет оценено соответствующим образом.

Он испытующе посмотрел на меня. Я молча курил...

— Ты можешь мне объяснить, почему не собираешься выступать? — В голосе его появились какие-то новые нотки.

²³ Стр.233 Поголовуй тут замісь мене — поруководи тут вместо меня (укр.).

²⁴ ...«заступник голови» — заместитель председателя (укр.).

По-видимому, надо было ответить, что именно как коммунист я и не могу выступить, — я тогда еще за что-то цеплялся, во что-то верил, — но я просто, ничего не объясняя, повторил, что выступать не буду.

— Как знаешь. — Он ткнул папиросу в пепельницу. — Советую подумать. — И вышел.

Очевидно, именно с этого дня и начался мой «закат».

Многие потом говорили мне, что поступок мой безрассуден, что надо было подняться все ж на трибуну и что-то там провякать, не упоминая имен, что-нибудь про сплочение рядов, про ясность цели, за которую мы воевали, ну и про обострение идеологической борьбы. Другие, наоборот, жали руки и говорили «молодец!», как будто я сделал что-то отчаянно смелое, а не просто промолчал, что тогда, к всеобщему нашему стыду, приравнивалось к бессмертным актам гражданской доблести. Страшное, позорное время!

Впрочем, многое ли изменилось с тех пор?

Как огорчился я, да и не только я, увидев, значительно уже позже, в 73-м году, под письмом, осуждающим Солженицына, подпись Василя Быкова, такого, казалось, честного, он-то уж, думалось, не подведет. Как не поверил я своим глазам, прочитав, что Алов с Наумовым, хорошие, честные режиссеры, которым и самим не всегда легко приходится, тоже осуждали клеветника и отщепенца. Боже, подумал я, как же, вероятно, их обрабатывали, как угрожали, как советовали «хорошенько подумать», прежде чем они дали свое согласие. И как же, бедненьким, сейчас им тяжело, не хочется никого видеть, лежат небось, уткнувшись мордой в подушку... Нет, все оказалось еще

страшнее. В тот же день, когда появилось письмо в газете, я увидел вечером в Доме кино, на каком-то просмотре, веселого, как всегда улыбающегося во весь рот Наумова. Он махал кому-то через весь зал рукой, и глаза его сияли. И никакой подушки, никаких слез... А я-то думал...

Корнейчука все боялись, заискивали перед ним, все же личный друг Хрущева, бывал у Сталина (показывал мне личное письмо от него, кажется, по поводу его пьесы «Фронт»^[25] — «Ты погляди, собственной рукой написано...»), хотя и пытался со всеми держаться покровительственно, по-дружески и на негритянских губах его всегда играла улыбка (кроме тех случаев, когда не играла, как, например, во время нашего перекура).

Не играла она и во время другой нашей встречи, где я явился уже просителем.

Был у меня друг, лихой разведчик нашего полка Ванька Фищенко. В Сталинграде мы не очень дружили — как-то я его застал лихо спящим в землянке артиллеристов вместо того, чтобы разведывать передний край, и на правах проверяющего отчитал его, — потом мы попали в один госпиталь, провалялись рядышком в Баку четыре с лишним месяца и сдружились. По окончании войны он разыскал меня и решился взяться за ум — надумал учиться. Все мои друзья приняли в нем участие, но были сложности с пропиской, и как-то раз мой Ванька, отнюдь не трезвенник, с кем-то напился и исчез. Через сколько-то там времени пришло от него письмо ни больше ни меньше как с Южного Сахалина.

²⁵ Стр.234...бывал у Сталина (показывал мне личное письмо от него, кажется, по поводу его пьесы «Фронт»)... — этот случай подробно описан Некрасовым в повести «Саперлипопет».

Оказывается, завербовался на шахту, а сейчас понял, что поступил несколько опрометчиво, просил о помощи — открылись раны, и вообще плохо.

К кому ж обратиться, как не к всеильному, на дружеской ноге со всеми, в том числе и с Засядькой, министром угольной промышленности, Корнейчуку. Я и обратился. Принят был на высшем уровне, с вермутом, который я впервые в жизни тогда попробовал, икрой и прочими деликатесами.

Я сразу же, после первой же рюмки, изложил свою просьбу. Он внимательно выслушал, старательно прожевал кровавый ростбиф, потом сказал:

— Слушай, Виктор, я думал, что ты действительно о чем-то серьезном просишь, а тут... Ну посуди сам, как я могу просить о том, чтоб кого-то освободили от работы, будь он трижды твоим другом, когда именно таким, как он, сталинградцам, и нужно показывать пример другим. Молодой, здоровый, все впереди.

— В том-то и дело, что не очень-то здоровый, — попытался объяснить я. — Дважды тяжело ранен, раны сейчас открылись...

— А кто в войну не был ранен, — прервал он меня, — все были ранены. Кто больше, кто меньше. Нет, не буду я никому звонить. Шахтерская профессия — прекрасная, почетная профессия, пусть с шахтой, с жизнью знакомится...

— Да он чуть со смертью не познакомился, хорошо, врачи выходили. Теперь хочет учиться, семнадцати лет на фронт пошел.

— В Южно-Сахалинске, как везде, вечерние школы есть. Вот пускай и ходит туда.

Тут даже Ванда Василевская,^[26] его жена, заступилась за моего Ваньку:

— Сашко, тебе же ничего не стоит. Возьми да позвони Засядьке.

Нет, Сашко был человек принципиальный, государственное для него было важнее личного: «Ты уж прости, Виктор, но по такому поводу я звонить не могу. Просто неловко...»

Я дожевал свой ростбиф или семгу, поблагодарил и ушел, второй кусок уже не лез в глотку.

Освободил Ваньку вовсе не знакомый мне Борис Горбатов. Московские друзья посоветовали позвонить ему — он, мол, не только друг, но и собутыльник Засядько, — и через два дня секретарь Горбатова сообщил мне, что приказ об увольнении Фищенко министром подписан. Недели через полторы явился и сам Ванька.

Где он сейчас, не имею понятия. В свое время он с отличием окончил горный техникум, работал на Украине, затем в Сибири. В последний раз я его видел перед второй его поездкой в Сибирь. Выпил свою поллитровку между двумя поездами, в Киеве у него была пересадка. Хриплым с перепоя голосом рассказал несколько забавных историй из жизни своих друзей по прекрасной, почетной профессии, мои друзья, сидевшие на кухне, только рты поразевали, чмокнул меня в губы и, обещав

²⁶ Стр.236 Ванда Василевская — Ванда Львовна Василевская (1905–1964), польская писательница, с 1939 года проживала на территории СССР.

писать, скрылся надолго. И еще раз он появился в Киеве на моей квартире буквально на следующий день после того, как я навсегда ее покинул. Где он сейчас, не знаю.

В «В окопах Сталинграда» он, как принято говорить среди писателей, запечатлен в образе разведчика Чумака. В кинофильме «Солдаты» играл его Леня Кмит. Ванька, издавший фильм, одобрил его и свое воплощение тоже, хотя и сыронизировал малость по поводу изображенных там разведчиков и разведки как таковой. При всем своем бесстрашии, а он действительно был не из трусливых, очертя голову на задания не ходил, людей своих любил и берег. Осуждать его за это никто не смел, авторитет у него был большой. Кроме того, у него всегда было что выпить и закусить, иной раз и шоколад, который как-то, минуя склад, попадал с левого берега, с тылов, прямо к нему в землянку.

Через год, кажется, после возвращения его с Сахалина судьба свела Ваньку за одним пиршественным столом с Вандой Василевской. Об эпизоде с ее мужем не упоминали, хотя она сразу же поняла, кто этот хитроглазый, со свернутым носом, немолодой уже молодой человек в шелковой майке. Друг другу они, кажется, не очень понравились. А вот с Твардовским сошлись. Ванька хвалил Теркина, и тому это нравилось — все-таки сталинградец и передовую если не каждый день и даже не два, но облазил вдоль и поперек. Единственное, что не нравилось ему в нем, это то, что в единоборстве их — а это иногда случалось после определенной дозы — победа оставалась за юрким, ловким Ванькой, а не за массивным, косая сажень в плечах, Трифоновичем. Маститый поэт наш был самолюбив и поражений не любил. Но о нем еще впереди. И о Ваньке тоже. А об уважаемом нашем

Александр Евдокимовиче можно было бы много еще кое-чего рассказать, но не все сразу, и так я уже утомил читателя деталями биографии академика, члена ЦК КПСС, Всемирного Совета Мира и прочая, и прочая, и прочая...

Когда его хоронили, я как раз сидел у следователя КГБ. Сидел и писал под его диктовку длинную фразу о ком-то, вышедшем из парадного в длинном черном пальто и серой шляпе... Это была графологическая экспертиза — меня подозревали в чем-то самиздатском и проверяли почерк. Над ухом из репродуктора неслись траурные мелодии Шопена и Грига. Закончив диктовать, следователь сказал:

— Хоронят товарища Корнейчука. Замечательный товарищ был. Коммунист, каких мало. — И, сокрушенно помолчав, добавил: — Вам, вероятно, надо было бы проводить его в последний путь. Закончим тогда на сегодня.

Провожать в последний путь замечательного писателя и коммуниста, каких мало, я не пошел. Пошел домой.

Вот так вот, думал я, обходя милицейские заграждения — все улицы были перекрыты, — Корнейчук, борец за мир, умер. Умер на передовой, как сказано было в некрологе, правда не о нем, а о Пабло Неруде. Тот погиб на передовой с оружием своей поэзии в руках, защищая передовое человечество. Так и Корнейчук отдал свою жизнь, крепко сжимая автомат своей драматургии в холодеющих руках. А ты, Славик, в тюрьме. Меня много расспрашивал следователь о тебе. Вроде бы и вскользь, попутно, но по глазам его я видел, что ты его ох как интересуешь.

И вот ты сидишь уже четыре года. А впереди еще три. И три года ссылки. И нелегко тебе. Но знай, Славик, не было бы вас, не было бы тебя, Володи Буковского, Валентина Мороза, Эдика Кузнецова, Анатолия Марченко, Мустафы Джемилева, а скольких мы еще не знаем, — мы давно потеряли бы веру в народ. Потому что народ — это не Корнейчуки, во всех падежах клянущиеся его именем, не Софроновы и Чаковские, не сверкающие зубами с первых полос «Правды» Герои Соцтруда от забоя, трактора, коровы, а именно вы. И Сахаров, которого ждут не дождутся, когда ж его хватит наконец инфаркт, а еще лучше инсульт. И ребята, вышедшие на Красную площадь,^[27] чтоб крикнуть на весь мир: «Не верьте! Мы с вами, чехи!» — и получившие за это по зубам.

Вы за решеткой, и вас, может быть, не так уж много на двести пятьдесят миллионов. Но вы есть! Вас наказывают, морят голодом, бросают в карцер, но вас боятся. Боятся, потому что вы оказались сильнее. Сильнее духом. А трусливые всегда боятся сильных. И ей-Богу, стоит для этого жить, Славик!

Лидия Корнеевна Чуковская сказала, когда ее исключали из Союза писателей, — я знаю, мы, может, и не доживем, но будет время, когда в центре Москвы появятся проспект Сахарова^[28] и площадь Солженицына. А я добавлю: и улица Буковского. А в Симферополе — Мустафы Джемилева...

²⁷ Стр.238 И ребята, вышедшие на Красную площадь <...> и полупившие за это по зубам. — Некрасов имеет в виду группу диссидентов во главе с Делоне и Литвиновым, которые 21 августа 1968 года на Красной площади требовали вывести советские войска из Праги и были избиты переодетыми оперативниками.

²⁸ Стр.238...в центре Москвы появится проспект Сахарова... — сегодня такой проспект есть в Москве.

В Киеве же — до этого ты, Славик, правда, не доживешь, это делается посмертно — улица, на которой под охраной двух милиционеров жил лучший комедиограф страны, будет носить имя прекрасного мойщика окон и несостоявшегося гипнотизера — Семена Глузмана.

* * *

Страна скал и озер... Так, кажется, была озаглавлена какая-то статья о Норвегии в старой, в сером переплете, с уютной картинкой, Детской энциклопедии. На западе и севере страны есть и высокие снежные горы, и удивительной красоты водопады, но я живу в этой самой «скалы и озера».

Живу один. Совсем один. Ну просто совсем один. Не с кем даже словом перемолвиться. Разве что с соседями, у которых беру молоко. Да и перемолвка эта больше условная — приношу бутылку, ее наполняют, я говорю «такк», первые дни говорил «мерси», но теперь знаю, что надо говорить «такк». Уходя, говорю «адье», по-норвежски — как по-французски.

И выяснилось, что жить в одиночестве очень приятно. Делай, что хочешь. Вставай, когда хочешь (именно поэтому я начал вставать в семь утра, чего раньше никогда не наблюдалось). Ешь, что хочешь. Никто тебе не говорит: «Ну, попробуй этого, очень вкусно, вот увидишь. Ну, кусочек, маленький... Вот упрямый какой». Никто мне этого не говорит, и я ем, что хочу. Впрочем, нет, я хочу парижского багета, длинного, хрустящего, снаружи золотистая корочка, внутри блаженство. Этого нет, а остальное все есть. Яйца, мясо, молоко, картошка, к чаю крекер, но главное — копченая

макрель. Это уже сверхблаженство. Велено мне привезти ее в Париж в неограниченном количестве. И селедку. (Поправка к Детской энциклопедии — страна скал, озер и селедки.)

Один...

И не в пещере, не в шалаше, а в домике с такими удобствами и такими излишествами, что не знаешь, чего бы еще захотеть. Холодильник — это раз. Душ, ванна, горячая и холодная вода — это два. Электроплита — три. Ламп всех видов — люстр, бра, торшеров, настольных под абажурами — и не сосчитаешь. Розетки в каждом углу. И в каждой тройничок. Я все зажигаю, во всех комнатах — в Норвегии электроэнергию не экономят, жги сколько хочешь. И комнат у меня четыре. И на втором этаже тоже четыре, поменьше. На стенах картины, не очень красивые, но много. Красивые у Миколы, моего хозяина, в Осло — там и Шагал, и Пикассо, даже с дарственной надписью... На полу у меня ковры. На комодах вазоны с дубовыми, кленовыми, березовыми и даже каштановыми ветками. Я люблю цветы, но вот этого как раз нет, пусть стоят ветки. Везде пепельницы, и никто не уносит их мыть и не оставляет на кухне. «Где пепельница? Сколько раз просил...»

Но главное — библиотека. В ней как раз то, что мне надо... «Испания» — пудовый труд некоего Теодора Симонса с иллюстрациями (и какими, на всю страницу, гравированными Теодором Кнезингером на дереве в Мюнхене!) профессора Александра Вагнера. Другая Испания — «España incognito» — с фотографиями таких Толед, Альказаров и пещерных городов в Сьерра-Кадикс, что, дочитав до конца, начинаешь все сначала... «Норвегия», два роскошных тома в красных с золотом

переплетях. «Парижский салон» 1898 года, начало той самой, прельстительной Belle époque... Прекрасное английское издание «Женщины-художницы мира, от времен Катерины Вигри (1413–1463) до Розы Бонэр и наших дней». Святая Катерина Вигри — это болонская школа XV века, Роза Бонэр — французская, XIX века, великолепно изображала быков, коров, овец и лошадей. Неплохо работала и императрица Германии Фредерика, но увлекалась больше пейзажами. Много путеводителей — по Лувру, Тэйтс-галери, музеям Осло. Но вот от чего я действительно оторваться не могу, все листаю и листаю, это от «Славного царствования королевы Виктории (1837–1901)». Ну, там все... И сама Queen Victoria, бывшая когда-то, оказывается, красавицей, нежной и величественной, если судить по портрету, изображающему ее в день коронации, 28 июня 1838, — взгляд вдаль, рука на библии, а плечи... Она же на троне, в парламенте, в коляске, в опере, открывает выставки, посещает бедных — тут уже немолодая, в черном капоре, руки протянуты к несчастному, бьющемуся в лихорадке ребенку на руках бедной матери (вспоминаются замечательные картины из жизни великого и уважаемого вождя Ким Ир Сена — журнал «Корея», — подсаживающего к себе в машину старушку, повстречавшуюся на дороге, дарящего тапочки босому мальчику, прикрывающего своей шинелью заснувшего у себя за столом от усталости комсомольского работника, и еще много, много не менее человеческих...), принимает королей, шахов и султанов, скачет на коне перед своей гвардией, живописует, сидя на раскладном стульчике, какой-то мостик и водопад (ай-ай-ай, а в той книжке ее нету, то ли скромность, то ли не потянула! Но и не это доводит меня до дрожи, окунает в детство, в «Природу и

люди». Доводят и окунают лихие атаки шотландской конной бригады под Балаклавой, битвы под Касасином против восставшего египетского Араби-паша, под Футтеабадом в Афганистане, под Джинжилово с зулусами, у Имбембези-ривер, славные «блуджекеты», моряки в Судане, Трансваале, Индии, Китае... Лихо, лихо, лихо! Бегут, кричат, поднимают на штыки, добивают, иногда умирают... Ни дать ни взять штурм Мамаева кургана (которого никогда не было, в ночь на 31 января немцы сами ушли), каким его вскоре увидят, а может, уже и видят, экскурсанты на панораме в Музее обороны Сталинграда. Там тоже бегут, кричат, протыкают, но там еще много-много танков (их было всего шесть штук на весь фронт) и самолетов в небе... В общем-то батальная живопись мало изменилась. Студия Грекова отнюдь не новатор.

Кончается фолиант (сто страниц, тысяча иллюстраций!) воцарением Эдуарда VII и Александры, принцессы Датской. Тут страниц и картинок поменьше, король только что воцарился, войн еще нет, пришлось ограничиться охотничьими успехами монарха — сидя на слоне в какой-то странной корзине, стреляет из двустволки в разъяренного, прыгающего на него тигра. Есть и дата этого события — 21 февраля 1876 года, тогда он еще был принцем Уэльским. (Как жалко, что никто из наших Налбандянов не запечатлел Никиты Сергеевича стреляющим в Крыму в оленя, того самого, который, умирая сказал: «Прошу считать меня коммунистом!»)

Книга захлопнута. Иду искать другую, другие — норвежцы, норвежцы, норвежцы... Ибсен, Бьёрстерне-Бьёрнсон, Гамсун... О! «Норвегия в период царствования Хокона VII» — отложим, сравним... Еще одно собрание Ибсена, Сельмы Лагерлёф (я был в ее

поместье, в Швеции, Боже мой, до чего уютно, патриархально), Кьеланд, Сигрид Унсет, словари, словари... О! «Нива» за 1893 год, отложим... Так, подобрался к украинским книгам — мой хозяин по происхождению украинец, галичанин... Опять словари, «Украинская кухня», «Комары Украины», путеводитель по Киеву на английском языке, Павло Тычина. Стоп! Издание советское, Киев, 1956 год. А рядом «Расстрелянное возрождение» Юрия Лавриненко антология, 1917–1933. Издано польским издательством «Культура». Интересно. Сравним. К тому же, уезжая из Парижа, я забежал в магазин «Глоб» и купил несколько номеров «Литературной Украины». Там отмечается сорокалетний юбилей «Чуття єдиної родини» Павла Тычины. Очень все это интересно.

Я думаю, перебираю в памяти, и кажется мне, что в литературе, возможно даже мировой, нет трагедии больше, падения глубже, чем трагедия и падение Павла Тычины. Горький, Алексей Толстой, Николай Тихонов? Нет, первые два остались все-таки писателями («Клим Самгин», «Булычев», многое из в общем-то подлого «Петра Первого»), третий, «солдат мира», никогда выдающимся поэтом не был.

Не мне, человеку в общем-то далекому от поэзии, судить-рядить, но, когда читаешь и ставишь рядом «Соняшні кларнети» 1918 года, «Замівць сонетів и октав» 1920-го и написанные во время войны «Кию», «Пюня про Хрещатик» или лет за десять-двенадцать до этого «Мій друг робітник водить мене по місту і хвалиться», становится страшно. Именно страшно.

Мы с детства знали и учили «На мандат біля церкви революція іде», знали, хотя и не учили:

Одчиняйте двері —
Наречена йде!
Одчиняйте двері —
Голуба блакить!
Очи, серце и хорали
стали,
Ждуть...
Одчиняйте двері —
Горобина ніч!
Одчиняйте двері —
Всі шляхи в крові!
Невзриданими сльозами
Тьмами
Дощ...

Меня, вихованого на «По небу полуночи ангел летел...» и «Ночевала тучка золотая...», для которого трагедией были другие тучки, вечные странницы, или парус одинокий, эти «Одчиняйте двері — Всі шляхи в крові...» пугали. И, как все страшное, притягивали.

Это воспоминания детства. Сейчас перечитываю. Не знаю, великий ли, но большой поэт. И поэт, это главное.

Очевидно, двадцать седьмой год его сломил. Влас Чубарь, сам потом загрепевший, обрушился тогда на Тычину в газете «Коммунист» за его «Чистила мати кортоплю» — «националистический опиум под флагом

пролетарской литературы». И вспомнил Тычина, что было у него стихотворение «Пам'яти тридцяти»:

На Аскольдовій могилі
Поховали і'х —
Тридцять мучнів українців,
Славних молодих, —

и испугался. Это про бойцов киевского студенческого куреня, погибших в неравном бою с Красной Армией под Крутами в январе 1918 года. Испугался на всю жизнь. И появилась «Партія веде»:

...Всіх панів до'дної ями,
Буржуїв за буржуями
Будем, будем бить!
Будем, будем бить!
Или ставшая пародийной:
Люба сестренько, любий братику
Попрацюємо на Хрещатику! —
Ви з того кінця, ми з цього кінця,
Труд освітить нас, наче ті сонця!
И совсем уже трагичные для человека,
по-настоящему любившего свою Украину:
Ворота боротьби тебе ведуть
На шлях свободи, на правдиву путь

Через ворота Спасский до Кремлю...

Поверг ти звіра-ворога на землю...

И кончается:

...А від Москви — ой сонця! сонця! сонця!

Я знал немного Тычину. Как-то сидел с ним в одном президиуме. Он «головував», вел собрание. Бог ты мой, как он волновался, как не знал, начинать или не начинать, кому давать слово, пора ли кончать или нет. Я в жизни не видел более перепуганного человека. А он был уже лауреатом всех премий, министром, кажется, просвещения, назывался не иначе как «наш улюблений, вельмишановний». Человек он был, кажется, мягкий, очень образованный, знал кучу языков: грузинский, армянский, тюркские языки Средней Азии, турецкий, арабский, еврейский, никому никогда не вредил, но поэтом он быть перестал.

Хотя:

«Тычина — давнишний мастер поэтически обозначать своими стихами целые исторические эпохи — сумел и на этот раз сказать какое-то на самом деле новое слово, слово очень нужное и вроде бы ожидаемое всем обществом. Животворная дружба народов советской страны и, как органичное ее выражение, все укрепляющееся единство их культур — вот что стало темой стихотворения Тычины, когда в стране разворачивалось всенародное обсуждение новой Конституции СССР, провозглашавшей интернационализм (или русификацию? — И. Дзюба)

и дружбу народов высшими законами жизни советского общества».

Это пишет в «Литературной Украине» об одном из самых псевдоискренних стихотворений Тычины «Чуття єдиної родини» умный, все понимающий, хитрющий и нечестный даже перед самим собой Леонид Новиченко. Нечестный, потому что всему знает цену, с трибуны говорит вот это самое, а выпивши, наверняка уж вздыхает: «Эх, Павло Григорович, Павло Григорович... Були Ви поетом, і яким поетом...»

И пускает слюни в своей статье:

«Прямо перед верандой небольшого старого домика — широкая луговая пойма Ирпеня, серебряная змейка речки, высокая стена леса на противоположном холме... Тут хорошо думается, хорошо работается. Так, вероятно, было тут и сорок лет тому назад, в погожие июльские дни 1935 года... Тут жил Павло Григорьевич Тычина. Глядя в ирпенские дали, он писал свое новое стихотворение и, очевидно, сам чувствовал, что получится произведение и новаторское, и масштабное по содержанию, и программное по значению — таким стремительным был полет мысли, такие необыкновенные, никем не сказанные мысли просились на уста...»

Да, никем не сказанные мысли о чужом языке, «чужій мові» заканчиваются таким четверостишьем:

И позичаешь тую мову

В свою — чудову, пребагату,

А все зноходить це основу

У силі пролетаріату.

Бедный, несчастный Тычина. Были у него строки:

Белый, Блок, Есенин і Клюев

Росіе, Росіе, Росіе моя!

...Стоїть сторазтерзаний Київ

І двісторозіп'ятий я.

И еще, и еще распинали его, но не с креста, а из министерского кабинета твердил он:

Есть рідні на світі і теплі слова,

Із них найтепліше — це слово Москва.

...Ти сяешь у Всесвіт, ти світ на землі

Червоні Зорі вгорі на Кремлі.

Другой, тоже в свое время прекрасный и тоже раздавленный поэт — Максим Рыльский — после написания таких, допустим, строк, как «Моя Москва! Мій Кремль! Мое життя!» — напивался вусмерть. Тычине было хуже — он не пил. А Рыльский пил...

Ну как, ей-Богу, не напиться, написав следующие стихи?! Или, наоборот, написал их напившись? В них повествуется о том, как, вернувшись из поездки домой, в Киев, он встретился с друзьями, стал рассказывать им о Москве и Ленинграде, а сын его, жадно слушая рассказы,

...Враз показав мені газети фото,
Пишаючись і Київом своїм
И тим, хто був на фото. Я нізнав.
Хрещатик свій іту свою людину:
То працював на вшбудові міста,
Москви и Ленінграда брата й друга,
Хрущев Микита — більшовик незламний!

Трудно понять, как и почему это было написано таким тонким, думающим и глубоким человеком, каким был Рыльский. Тогда его еще не били — стихотворение было написано в 1945-м, а бить стали в 1947-м, как раз после «Моя Москва! Мій Кремль! Мое життя!» Били, конечно, не за это, а за «Мандрівку в молодість» («Путешествие в молодость»), в которой он, умиляясь своей молодостью, «подменил пролетарский гуманизм либерально-буржуазным» (А. Белецкий, «Максим Рыльский»). Ох и издевались тогда над несчастным Максимом Тадеевичем, ох и топтали его, а он, «не заметивший в украинском селе классовых противоречий, не показавший рабочий класс и деятельность Коммунистической партии» (там же), стоял, подавленный, красивый, седой, на трибуне и тихо, тихо признавал, признавал, признавал и... написал потом «Мости», где «выступал как активный творец и певец коммунистического общества» (там же).

Я его тоже немного знал. У меня есть даже книга с его дарственной надписью. Но меня он, кажется, не любил. На мою тягу к нему (когда его били) он ничем не ответил. Потом даже печатно раскритиковал меня в

связи с моей статьей о «Поэме о море» А. Довженко. И все-таки я его любил. Ну как не любить человека, у которого была та же учительница русского языка, что и у меня, только немного пораньше, — Надежда Петровна Новоборская. К тому же я сам был свидетелем, как он, поздоровавшись с одной дамой и начав с нею разговор (она сидела у окна в трамвае, а он стоял на остановке), когда вагон тронулся, ухватился за окно и продолжал разговор, стоя одной ногой на подножке. И так проехал целую остановку. Ну как не полюбить такого человека...

Обоих их нет уже в живых...

Оба покоятся на Байковом кладбище, там, где и мои родители. Мир праху и твоему, и твоему. Ушли из жизни два больших поэта. Они умерли задолго до своей смерти. И привела их к этой преждевременной смерти Коммунистическая партия, та самая, которую они воспевали и членами которой были.

* * *

Я тоже был коммунистом. Тридцать лет. И, вернувшись с фронта, убеждал своего друга, самым искренним образом убеждал: «Вступай в партию. Я тебе дам рекомендацию. Именно таким, как ты, надо быть в партии. Честным, правдивым, справедливым. Надо укреплять ее. Вливать свежие, здоровые силы. Подумай хорошенько. Я тебе дам рекомендацию...»

Через двадцать лет меня исключили из партии. В первый раз заменили строгим выговором. Еще через десять лет исключили окончательно. А до этого было еще второе исключение, тоже замененное строгачом.

Итак, три персональных дела. Не настало ли время рассказать об этом? Не утомляя подробностями, самую суть. Но с кое-какими деталями.

Исключали меня трижды. Первый раз из-за Хрущева. Он дважды выступал по моему адресу.

В первый раз — 8 марта 1963 года на встрече руководителей партии и правительства с деятелями литературы и искусства. Второй раз — на июньском пленуме ЦК КПСС в том же году.

Цитирую:

«В художественном мастерстве, в ясности и четкости идейных позиций — сила художественных произведений. Но, оказывается, это не всем нравится. Иногда идейную ясность произведений литературы и искусства атакуют под видом борьбы с риторичностью и назидательностью. В наиболее откровенной форме такие настроения проявились в заметках Некрасова «По обе стороны океана», напечатанных в журнале «Новый мир». Оценивая еще не вышедший на экран фильм «Застава Ильича», он пишет: «Я бесконечно благодарен Хуциеву^[29] и Шпаликову, что они не выволокли за седеющие усы на экран все понимающего, на все имеющего четкий, ясный ответ старого рабочего. Появись он со своими поучительными словами — и картина погибла бы».

²⁹ Стр.294 Марлен Мартынович Хуциев — (род. в 1925) российский режиссер, друг Некрасова, относился к нему с большой симпатией, хотя считает, что несдержанность сталинского лауреата во многом вредила как ему самому, так и окружавшим его людям. В частности, рассказывал Хуциев, от торопливости Некрасова, его бойцовского характера пострадала картина «Застава Ильича».

Возгласы: «Позор!»

И это пишет советский писатель в советском журнале! Нельзя без возмущения читать такие вещи, написанные о старом рабочем в барском, пренебрежительном тоне. Думаю, что тон подобного разговора совершенно недопустим для советского писателя.

К тому же в названных мною заметках выражено отношение не только к частному случаю в искусстве, а провозглашен совершенно неприемлемый для нашего искусства принцип. И это не может не вызвать нашего самого решительного осуждения» («Правда», 9 марта 1963 г.).

И второе выступление — на июньском пленуме:

«Константин Александрович Федин не является членом партии, но он глубоко партийный человек. А вот писатель Виктор Некрасов, которого я лично не знаю, хотя и является членом партии, утратил драгоценные качества коммуниста, чувство партийности. Однако это не должно нас удивлять.

Партийность — это не врожденное качество, оно воспитывается жизнью. Нестойкие люди, даже будучи членами партии, могут под воздействием враждебной идеологии утратить чувство партийности. Меня удивляет в Некрасове другое — он настолько погряз в своих идейных заблуждениях, так переродился, что не признает того, что требует партия. А что это значит? Это значит идти вразрез с линией партии. Это уже другое дело... Партия должна освободиться от таких людей, которые свое ошибочное мнение считают выше решений партии, то есть всей великой армии единомышленников. И чем раньше партия освободится от таких людей, тем

лучше, так как от этого она будет становиться все сплоченнее и сильнее (Продолжительные аплодисменты.)» («Правда», 29 июня 1963 г.).

Это привело к первому туру. Длилось что-то около полугода. Само собой разумеется, всяческие мои издательские дела автоматически прекратились. Даже Твардовский, мой друг Твардовский, отказал мне в командировке — я хотел поехать куда-нибудь подальше, в Сибирь, на Дальний Восток — «вот кончится твое партийное дело, не сомневаюсь, что благополучно, тогда со всем моим удовольствием». Вмешиваться в самое дело — мол, знаю Некрасова таким-то и таким-то — тоже не решился. Ограничился телеграммой на мое имя — знаем, верим и т. д.

Как ни странно, но к благополучному исходу всего дела (замена исключения строгим выговором) имел отношение Пальмиро Тольятти. Мой друг, итальянский коммунист, критик Витторио Страда написал в общем-то хвалебную статью о моих очерках «По обе стороны океана», тех самых, на которые обрушился Хрущев. Дал ее в теоретический журнал итальянской компартии «Ринашита». Там испугались, но случилось так, что Страда встретился, ни больше ни меньше как на пляже, с Тольятти, и тот дал распоряжение журналу печатать. Статью эту мне перевели, я ее отдал Перминовой, моему партследователю, и та потом мне призналась, что статья возымела свое действие.

Предлогом для нового дела, в 1969 году, была моя подпись под коллективным письмом (называлось оно Письмом ста тридцати семи) в защиту арестованного Вячеслава Черновола. В жизни я его никогда не видел,

но судьбы наши перемешались довольно тесно. Длилось разбирательство что-то около полугода.

Для третьего исключения повода вообще не было. Началось все с того, что я пошел платить партвзносы. Было это в 1972 году, памятном для Украины году массовых арестов интеллигенции. Дзюба, Светличный, Сверстюк, Черновил, Глузман, Плющ и еще достаточное количество. В январе этого же года у меня был не то что обыск, но пожаловали двое кагебистов и предложили отдать им имеющуюся у меня неразрешенную литературу. Пришлось отдать Цветаеву, Надежду Мандельштам, «В круге первом». Тогда меня еще только прощупывали.

Итак, все началось с партвзносов. «Прикреплен» я был к редакции журнала «Радуга», номинальным членом редколлегии которой числился лет двадцать. Ходил туда на нечастые партсобрания, платил взносы. Обычно принимала их моя приятельница. В случае просрочки (больше трех месяцев) платила сама деньги, потом я возвращал. На этот раз принимал какой-то незнакомый мне сотрудник редакции. Увы, и на этот раз я просрочил (таких, как я, было великое множество, в Союзе устраивались даже специальные собрания, зачитывались длиннющие списки должников). Принять взносы новый товарищ отказался. Сказал, что без решения партбюро не может. Было ли или не было по этому поводу партбюро, не помню, но состоялось незадолго до этого другое, на котором было решено партвзыскания с меня снять — Хрущева давно уже нет, «подписанство» решили похерить, три года прошло. Решение без особых дебатов было вынесено, ждали утверждений парткома Союза.

И вот получил я вдруг извещение. Приглашаюсь на заседание парткома такого-то числа в таком-то часу. Наконец-то, думаю. Рогодченко, секретарь моей парторганизации, человек расплывчатый, ни рыба ни мясо, подтвердил мое предположение.

В назначенный час я пришел. За столом сидит Козаченко Василий Павлович, секретарь парткома. Привет, привет. Человек он очень неглупый, хитрый, прожженный, какой писатель, не знаю, не читал. На фронте, по-моему, не был. Помню его еще почти юным, на совещании молодых писателей, созванном Кагановичем в 1947 году. Тоненький, с живыми глазами. Сейчас далеко не тоненький, и в глазах усталость и мудрость. Тоненьким был и Гончар, тоже тогда появившийся, — «молодий письменник з Дніпропетровску».

Вдоль стен сидят и ждут начала «письменники», кто-то из райкома, кто-то из горкома, лица незнакомые. За своим столом Галя Кучер, мне всегда симпатизировавшая секретарша парткома. Сейчас сидит, глаз не подымает, что-то пишет. Ох, пахнет горелым...

Появляется Збанага, Юрий Олиферович Збанацкий. Герой Советского Союза (со звездочкой не расстается), бывший, до Козаченко, секретарь парткома, писатель-партизан, всех и все знает, любит поговорить, поучить уму-разуму.

— Ну що ж, почнемо мабуть. — Смотрит на часы, садится в уголок.

Козаченко полистал бумаги, что-то отложил в сторону, что-то положил перед собой.

— Так вот, — начал он, — лежит вот передо мной резолюция партбюро редакции журнала «Радуга». Предлагают с тов. Некрасова Виктора Платоновича имеющиеся у него партвзыскания снять. Мол, прошло уже время, Некрасов работает, опубликовал очерк и рассказы в «Новом мире». — К этому времени, нужно сказать, в «Новом мире» набор моей вещи, впоследствии напечатанной в «Континенте» под названием «Записки зеваки», был рассыпан — как говорится, поступило указание. — Так вот, посоветовавшись тут между собой («порадившись», говорил он по-украински), мы пришли к выводу, что о снятии выговоров говорить рано. Более того, есть мнение, что Некрасов своим поведением, нежеланием признавать свои ошибки, противопоставлением своих, так сказать, принципов решениям партии сам вывел себя из ее рядов.

Вот оно что...

Дальше подробно, обстоятельно, не торопясь, не повышая голоса, стал повторять все то, что говорилось и писалось десять лет тому назад, в шестьдесят третьем, в шестьдесят девятом году, прибавив только, что систематически не посещает партсобрания и вовремя не платит партвзносов.

Ясно, есть решение сверху. Остальное все спектакль.

Длится он часа полтора-два. Сижую, курю, разглядываю чудовищных размеров портрет Ленина за спиной Гали Кучер. А она все пишет, пишет... Выступают один за одним все, как и положено, дружно, говорят одно и то же. Не лучше и не хуже, но более темпераментно, даже прочувствованно говорит Микола Рудь (кажется, поэт, а может, и прозаик). Даже слезу

подпустил. (Потом говорили — Некрасов такой-сякой, Миколу Рудя аж до слез довел.) Так вот, смахивая скупую мужскую, он говорит, как ему больно, что автор такой честной и правдивой книги, как «В окопах Сталинграда», докатился до того, что... И пошло, и пошло. Закончил словами: «И вот Некрасов у разбитого корыта, на развалинах своей книги...» Утер глаза и сел.

Когда я говорю «пошло и пошло», это значит, что началось все со звонка Козаченко из ЦК:

— Василий Павлович?

— Он самый.

— Как твое «ничего себе»?

— Да нормально.

— Работы много?

— Много.

— Не заглянул бы («не завітав би») к нам? Тут маленькое дельце есть, посоветоваться надо.

По стилю разговора видно, что говорит кто-то из равных, по-видимому инструктор. Если кто постарше, то суше, без всяких там «ничего себе», просто «зайдіть, будь ласка».

Дальше будет нечто среднее, не очень равный и не очень старший. После двух-трех слов о погоде, о вреде курения:

— Так вот, есть у вас на учете такой писатель — Некрасов.

— Есть.

— Очень он у вас «принципиальный».

В ответ понимающий смешок.

— Как он у вас там сейчас?

— Да никак. С партвзносами вот...

— Вот, вот, вот!

— Но сами знаете, у нас же это хроническое заболевание.

— Знать-то знаю, но все же характерно... Пьет?

— Да нет как будто.

— Не как будто, а проверить.

— Есть проверить...

Пауза.

— Так вот, есть мнение (о! это знаменитое «есть мнение»!), что недостойн этот самый Некрасов быть членом партии.

Козаченко пытается все же заступиться (может, я и идеализирую):

— Тридцать лет все же в партии. В Сталинграде вступал.

— В Сталинграде или не в Сталинграде, не играет значения (или «не имеет роли»). Товарищи наверху в курсе всех этих Сталинградов...

Опять пауза. Козаченко несколько растерян.

— Для персонального дела нужен все-таки материал.

— Ох, Василий Павлович, Василий Павлович, мне ли вас учить. Кому нужен новый материал? Ошибки свои признавал? Нет. С Дзюбой дружил? Дружил. С Солженицыным, прохвостом, дружит? Дружит. И пить,

вероятно, пьет. Такие не бросают... Одним словом, собирайте партком и выносите решение.

— Есть созвать партком и вынести решение.

— Ну, всех благ... Как там жена?

— Да ничего.

— Привет ей... А с бюро не тяните.

— Ясно. На все добре...

Звонится после этого Збанацкому, Богдану Чалому — заму (сейчас Чалый — секретарь парткома, Козаченко — председатель Союза). Так, мол, и так, есть мнение. Надо оповестить членов парткома. Пусть подготовятся. Кондратенко, кажется, в отпуску. Обязательно вызвать. Он все-таки редактор «Радуги». К тому же был вместе с Некрасовым с какой-то делегацией недавно в Сталинграде. Там у Некрасова что-то произошло, Кондратенко потом докладывал.

А докладывал (в письменном виде!) Кондратенко следующее: на приеме в сталинградском горсовете Некрасов напился, выражался матом, оскорблял председателя горсовета, недозволительно отзывался о покойном скульпторе Вучетиче и памятнике-ансамбле на Мамаевом кургане, признанном народом. На все это пожаловались сталинградские писатели, было от них, мол, письмо.

Что было, то было. О Вучетиче и памятнике отзывался действительно неодобрительно, пьян был не больше председателя горсовета, оскорблять его не оскорблял, матючок, может быть, где-нибудь и подпустил, но все дело в том, что никакой это не был прием в горсовете, а председатель этот самый пригласил

лично меня на ужин в ресторан. Из членов делегации никто, в том числе и Кондратенко, считающий, кстати, себя сталинградцем, приглашен не был. Тем не менее заявление на партбюро фигурировало. На него не нажимали, но упомянули. Маленькая деталь. В свое время, узнав о заявлении, я написал письмо своему другу, члену сталинградской писательской организации. Ответ гласил, что никто никуда, в частности в Киев, ничего не писал.

Три слова о Викторе Кондратенко, тем более что я недавно прочитал в «Литературке» об учреждении новой медали, им. А.А. Фадеева, которой награждаются авторы высокохудожественных произведений о Великой Отечественной войне. И вот среди награжденных увидел я имя и Виктора Кондратенко.

Он воевал. Работал во фронтовой газете. Был ли в Сталинграде, не знаю, на Курской дуге был. Читал об этом в сборнике «Русские писатели на Украине». Как он вел себя на фронте, знаю только из этого очерка, на «гражданке» же известен как патологический трус. Исполнитель. Собственного мнения никакого. Обожает авторитеты. Собирает картины — дальше Пимоненко и Светлицкого не идет. Все комнаты увешаны «украинскими ночами» и «закатами на Десне». В журнале «Украина» напечатано было на целую страницу его изображение на фоне картин и статья «Любитель прекрасного» или что-то в этом роде.

Редактируемый им ежемесячник «Радуга», на русском языке, самый скучный и бездарный журнал на всем земном шаре — двух мнений быть не может. Впрочем, при предыдущем редакторе — Вышеславском — лучше он не был. Высокохудожественных произведений

Кондратенко, конечно же, я не читал. Знаю, что была какая-то «Крепость на колесах» (его же самого окрестили «Жопой на колесах») — о фронтовой редакции. Там одно время работал и Твардовский. Как-то, узнав, что я еду в Москву, в «Новый мир», Виктор очень обрадовался и сказал: «Привет от меня громадный Саше. Очень мы дружили тогда, на фронте». Привет я передал. Твардовский долго морщился, не мог припомнить, потом все-таки вспомнил: «Да, да, был такой, помню. Все в дружбу лез. Бесцветный такой, зануда».

А вот Василий Гроссман был о нем другого мнения. Опять-таки сужу по очерку из «Русских писателей на Украине». Есть там эпизод, как Кондратенко на Курской дуге в одной воронке столкнулся с Гроссманом. Разговорились. Узнав из беседы, что Кондратенко собирается писать роман о войне, Гроссман очень всполошился. «Зачем же вы так рискуете, на передовую лезете? Беречь себя надо, очень нужен хороший роман о войне». И несколько раз потом повторял о романе и усиленно рекомендовал себя беречь. Вот что значит настоящий писатель. Сразу почувствовал. А теперь вот и медаль.

Но вернемся на партком. Один за другим человек десять вставали и говорили. Всем было больно. Все сокрушались, но под овечьей шкурой все уже разгадали волка.

Встал под конец и я.

Слово свое попытался сократить до минимума. Просто сказал, что несколько удивлен некоему несоответствию. Год тому назад, в день, когда мне стукнуло шестьдесят, преподнесен был адрес, под

которым стояли подписи всех здесь присутствующих. Там, естественно, говорилось только хорошее, и среди этого хорошего была и принципиальность, и честность, и какой-то там путь, и миллионы читателей, и «мы все знаем вас как...», а сейчас вот, оказывается, послушав выступающих, я понял, что ничего хорошего я за свою жизнь не сделал, только ошибался, упорствовал, не соглашался, а в результате окончательно скатился. Где же правда? Там или сегодня здесь? — демагогически воскликнул я и сел.

Дальше было голосование. Единогласно...

И началась райкомовская страда. Следователем мне попался на этот раз бывший директор издательства, забыл какого. Маленький, неказистенький, косоглазенький, подергивает плечом. Люди, работавшие в свое время с ним, отзывались о нем неплохо. В космополитизм евреев не давал в обиду.

До этого у меня уже были три следователя. Начал в том же Ленинском райкоме некто Солдатенко, второй секретарь, молодой еще. Позже сделал карьеру — стал ответственным секретарем Союза писателей. И естественно, членом Союза. Литературный «доробок» его был негуст — очерк о поездке в Непал. С ним в этой должности я тоже встречался. Писал уже об этом. Разъевшийся, обрюзгший, сидел он в кресле и не мог понять, как можно читать антисоветчика Солженицына, он, мол, не читал и читать не будет. Что дальше с ним произошло, не совсем ясно. Уже в Париже, читая о съезде писателей Украины, я нигде не обнаружил его фамилии. Ни в президиуме, ни в секретариате, ни в числе выступавших. То ли загремел, то ли на повышение пошел. В парижской украинской газете еще до съезда о

нем писали как о полковнике КГБ. Может, Союз писателей был для него только ступенькой.

Вторым следователем, уже в обкоме, была у меня тов. Перминова. Немолодая уже, сибирячка. Украинские порядки поругивала, не скрывала. Ко мне относилась неплохо, все убеждала: «Ну что вы все артачитесь. Поймите же, что от вас требуют только признания, и больше ничего. Признайте. И все будет в порядке. Наивный вы все-таки человек. Правы вы или неправы, но вы один, а против вас машина. Раздавит, и все».

Сейчас, через десять лет, я с ней встретился опять. Все в том же обкоме. Но уже не партследователем, а председателем парткомиссии. Рангом повыше. Но за десять лет могла бы и дальше шагнуть. Не шагнула, и в этом что-то есть... Встретились мы если и не как друзья, то и без всякого недоброжелательства друг к другу. «Все упорствуете, не признаетесь? Никак вас не перевоспитаешь». — «Никак», — согласился я.

К ней, в ее кабинет с длинным столом, где сидели члены парткомиссии, я уже попал после двух- или трехнедельной «работы» с очередным следователем, обкомовским. До этого в райкоме меня и исключили. С очень позабавившей и понравившейся мне формулировкой: «За то, что позволяет себе иметь собственное мнение». Лучше не скажешь. Этот, последний, следователь был совсем не запоминающимся и очень глупым. Когда я переходил в контратаку, брал устав и читал из устава или из очередной передовицы «Правды». Один раз немножко даже оскандалился. Говорили мы о Шелесте. Потом о чем-то другом. Потом я опять вернулся к бывшему первому секретарю, не помню уж, по какому поводу. Он возмутился: «Сколько можно об

одном и том же. Сняли Подгорного, и точка, чего к нему возвращаться». Бедняжка оговорился и очень испугался. В комнате было еще четыре стола, еще четыре следователя, и у каждого собственный «персональник», все слышали и с нескрываемым любопытством поглядели на него — говорил он обычно тихо, но эту фразу сказал неожиданно громко. Очень уж он испугался. Приятно было даже смотреть.

Шел май 1973 года. В кармане у меня была путевка в Коктебель. С 20-го числа. А дело все тянулось. Наконец Перминова назначила парткомиссию. Парткомиссия — это в основном перешедшие на пенсию бывшие деятели, военные прокуроры, судьи, директора, ну и сошки поменьше. Всем им очень хочется поговорить, поучить, иной раз пофилософствовать, не прочь и в чужом грязном белье порыться. Домой почему-то не торопятся. Иллюзия деятельности, полезности.

Сидели долго. Который уже раз — за десять лет я набил-таки руку, вернее язык — повторял я, что в очерках своих ничего не пытался очернить, что о наших недостатках даже «Правда» пишет (так то «Правда!»), что рабочий класс, как утверждал Хрущев (сейчас уже можно, даже должно было обходиться без «Никита Сергеевич», без «товарищ»), я никогда не оскорблял, что в Бабьем Яру я выступал от своего имени, поэтому в партком за разрешением и утверждением не ходил, и т. д., и т. д., и т. д. Слушали, не скучали, никуда не торопились, задавали вопросы. А почему? А зачем? А знали ли вы? Перминова спросила меня, давно ли я читал Ленина. Я признался — давно. «То-то и видно, — сказала она. — Я, например, в тяжелую минуту всегда обращаюсь к Владимиру Ильичу. Беру его книгу, читаю, и сразу легче, яснее становится». Я поблагодарил за совет.

Сказал, что вернусь домой и сразу же возьмусь за «Детскую болезнь левизны». Никто не улыбнулся, даже про себя.

Очень я жалел потом, что не взял с собой карманного магнитофона. Исправил эту оплошность через несколько дней, идя уже на персональное, так сказать, с глазу на глаз, собеседование с Перминовой. Достали мне друзья крохотный магнитофончик, я его пристроил где-то под пиджаком, микрофончик присобачил в боковом кармане. Отрепетировал, на каком расстоянии лучше всего слышно человеческую речь, включал, выключал, проверял... Мимо обкомовского часового шел с некоторым трепетом: а вдруг что-либо заметит?..

Зашел к Перминовой. Преподнес ей букетик ландышей (гнилая интеллигентность!), сел, расстегнул пиджак, подождал, пока она что-то писала. Когда она окончила и подняла на меня глаза, я сунул руку в боковой карман и включил микрофончик.

— Что? Сердце болит? — участливо спросила она.

Через час я сломя голову мчался домой. Увы, полное фиаско: перед отходом я забыл поменять батарейки, и из всего разговора осталось только это самое «сердце болит» и еще пять-шесть ничего не значащих вводных фраз. Я чуть не плакал от обиды.

На этой беседе: Перминова — за столом, я — на стуле по другую сторону стола, между нами — ландыши в стаканчике из-под карандашей — и закончилось мое тридцатилетнее пребывание в партии. Вернее, общение с ней.

Расставание мое с партией, сиречь с Перминовой, прошло несколько натянуто. Я сказал, что у меня с 20-го путевка в Дом творчества и нельзя ли намекнуть тов. Ботвину, первому секретарю, что очень хорошо было бы, если бы бюро обкома не откладывалось бы и до моего отъезда — мое дело...

В голосе Перминовой появилась медь:

— Секретарям обкома не намекают. Если вы хотите ему что-либо сообщить, напишите заявление. Но я не советовала бы вам. И, откровенно говоря, удивлена. Решается вопрос жизни и смерти, а у него, видите ли, путевка горит.

На этом мы и расстались. Заявление я все же написал и передал на следующий день через довольно симпатичную девушку, сидевшую в окошке бюро пропусков. Больше я в обком не приходил... И не приду. Никогда. Ни в райком, ни в обком, ни в ЦК...

Никакого письменного решения о моем исключении мне не прислали. О самом свершившемся факте узнал окольными путями, через знакомых, через ту же Галю Кучер.

Конец... Точка...

Перед тем как отдать свой партбилет (а произошло это в райкоме, в обкоме мое дело рассматривалось в порядке апелляции), я произнес речь. Речь перед полутора десятком членов бюро райкома, директоров заводов, институтов, предприятий, каких-то важных милиционеров (наверное же начальник Ленинского отделения милиции входит в состав бюро Ленинского райкома), перед теми избранными, кто, очевидно, и есть совесть партии (или совесть — это не они, а Суслов и

Пельше?), о которых, когда они умрут, будет написано в некрологе: «Чуткий, отзывчивый товарищ, навсегда сохранится в наших сердцах...» Они сидели по обе стороны длинного стола серьезные, неподкупные, с каменными лицами, а в конце стола сидел незнакомый мне второй секретарь райкома. (Первый, Линец, отсутствовал, а через полгода его и вовсе сняли, и заведует он, удельный князь, теперь каким-то жалким, областным кинопрокатом.)

И вот перед всеми ними, чуткими и отзывчивыми, я держал речь. Мне казалось, что где-то в углу стоит История или Фемида с завязанными глазами и весами в руках. Говорил я о честности, все о той же принципиальности, о том, что настоящий большевик не может слепо подчиняться (почему? не только может, но и должен...) тому или иному решению, что формальное признание своей вины или своих ошибок ломаного гроша не стоит, что на фронте обман обходился сотнями человеческих жизней, что каждый солдат в Сталинграде знал... Казалось, убедительнее не скажешь. И не слишком длинно, и без цитат, и не выпячиваясь, о Сталинграде только вскользь, с выразительными паузами, ничего не прося, ни на что не жалуясь, ясно, просто, искренне.

Цицерон, Жорес, Карабчевский, Кони. Избранные места из судебных речей XIX века...

И на челе его высоком не отразилось ничего... Сидели, слушали, молчали, даже ничего не рисовали в своих блокнотах.

Затем:

— Есть ли вопросы? Нет. Замечания? Нет. Приступим тогда к голосованию. Кто за предложение, зачитанное товарищем таким-то? Раз, два, три...

пятнадцать. Кто против? Никого. Кто воздержался? Никого. Решение принято единогласно. Товарищ Некрасов, прошу ваш партбилет...

Я прошел через весь зал, вынул из кармана партбилет, подал его секретарю. Тот снял с него пластмассовый суперок с надписью еще «ВКП(б)», положил билет перед собой.

— Простите, где я раздевался? — спросил я.

Кто-то из сидящих за столом, возможно мой следователь, бывший директор издательства, поспешно сказал:

— На первом этаже, вот в ту дверь.

Я опять прошел через весь зал и вышел в ту дверь.

* * *

Испытывал ли я что-нибудь, когда сдавал партбилет? Да, испытывал. Не скажу, что в мысленном моем взоре промелькнули все тридцать лет, не всплыл предо мной и образ начальника политотдела дивизии, вручившего мне на фронте не этот, другой, потом его сменили, партбилет, нет, теперь, сдавая, я думал только о том, чтоб спокойнее все это дело провести... А потом? Идя домой? О чем думал? Стало ли легче? Да, стало. И не потому, что кончилась вся эта скучная канитель, — я знал, что она еще продолжится, и в общем-то знал, чем она кончится.

Нет, не тогда, после райкома, а позже, когда я вышел из тяжелого, с исполинскими колоннами здания обкома, я почувствовал себя вдруг счастливым. Кончился обман, ложь, фальшь... И тут же вопрос. Самому себе. А

зачем ты так долго тянул этот обман, ложь, фальшь? Почему не бросил этот самый партбилет, давно уже жегший тебе грудь, в лицо тем, кого ты не уважаешь, но к которым ходишь, ходишь, ходишь? Ну, не бросить, а спокойно положить на стол и сказать: «У нас разные взгляды на многое. И на главное в том числе. Я не могу состоять больше в этой партии». И как бы все засуетились, забегали бы, просили бы не делать этого шага, забрать билет обратно...

Надо было так сделать. Но не сделал. И даже не из трусости. А по глупой уверенности, что надо биться до конца, добиваться партсобрания, положенного по уставу, и там, на собрании, сказать все то прекрасное, что ты сказал на райкоме, и там не только мурлы будут сидеть, а люди, которые будут тебя слушать и даже сочувствовать, а может, и завидовать, а потом они расскажут... Одним словом — дурак!

Ну, а если подвести итог?

Итог?

Вступал с открытым сердцем, с чистой душой. Верил. Вернее, поверил. Потом пытался в чем-то себя убедить. Считал, что есть коммунисты настоящие и ненастоящие. Себя относил к настоящим. Убеждал других. Разубедили. Стало ясно. Ложь. Жестокость. Морали нет. Мучился. Чувствовал на себе ответственность. Сидел на собраниях, смотрел на них, на всех этих Корнейчуков, и думал: чем они лучше тех, других, против которых воевал? В тех было, возможно, больше жестокости, но меньше цинизма... Мы же задыхаемся от лицемерия. Ханжества. Весь мир это знает и боится. У нас ракеты далеко летают. И морали нет.

Все я испытал на самом себе. Я все знаю. Всю гниль и обман. Я могу теперь обо всем этом говорить. Как обманутый. Как потерпевший. Где-то как соучастник. Я не всегда голосовал «за», но я и не голосовал «против». Я воздерживался. Или не приходил на собрание, где и воздержание было бы «за». Теперь я свободен. Я могу всем смотреть прямо в глаза. Я не знаю еще, где Правда, но я знаю, где Ложь. Очень хорошо знаю.

* * *

У меня испортилось электричество. Включил обогревательный прибор (в комнатах стало прохладно), и что-то перегорело. В пробках не разберешься, их целых двадцать, какие-то чужие, непонятные. Стал искать свечи. В этом доме все есть, а свечей нет. Подсвечников миллион, а свечей ни одной.

Пришлось бежать в магазин, за четыре километра. Прогулка — одно очарование, солнышко греет, ветерок повеваает. Справа и слева сосны, ели. Иду и посвистываю.

Купил три пачки свечей, по-норвежски «лис», в каждой пачке по шесть штук (а заодно и макрель купил, и свежий хлеб, ох, нет парижского багета), вернулся домой, затопил печку. Печка чугунная, вся в барельефах и с окошечками, сквозь которые видно, как горит. Зашумела, затрещала и сразу же нагрелась. Тепло. Уютно.

Зажег свечи. Все восемнадцать. Расставил по комнатам. До чего же хорошо. Не погасло бы электричество, никогда бы не узнал, как хорошо при свечах. Сел письма писать. Лучшего времени и не придумаешь. Печка потрескивает. Свечи горят. И

забавные тени от них, одна на другую... На плиту поставил чайник, попью чайку с медом и со свежим хлебом. Странное дело, электричество перегорело, а плита греется...

Написал одно письмо. Второе. Третье. Подобрал и наклеил красивые марки. Сходил в уборную. Вернулся. Закурил. Включил транзистор. Половил, половил и поймал «Маяк». Ночной концерт. Антонина Нежданова и Леонид Собинов...

Бог ты мой, как увлекались мы когда-то Собиновым. Да, да, мы, мальчишки. Он уже был на закате, но как он все-таки еще пел. Куда, куда... Лоэнгрин... Индийского гостя... Как-то мы, восторженные и умиленные, кинулись к нему за кулисы. Просили еще. Он мило улыбался. «Куда уж мне. Не те годы. Знаете, недавно ехал я из Ленинграда. Пришли провожать поклонницы. Помнят, когда я еще... Я из окна вагона посмотрел на них, помахал рукой и сказал — прощайте, две тысячи лет...»

Вот и сейчас, дуэт из «Лоэнгриня». Переношусь... Киев... Филармония. Колонный зал. Тогда он назывался «Радио-театр». Мы, конечно, зайцами. Мест нет. Лепимся среди колонн. Собинов, Нейгауз, Обухова, Ирма Яунзем. Виолончелист Майнард. Какой-то знаменитый гитарист, забыл фамилию.

А МХАТ... Старый, довоенный МХАТ. С Тархановым, Москвиным, Хмелевым, Тарасовой. «Вишневый сад», «Три сестры», гамсуновское «У врат царства» — Качалов и Еланская. Мы потом провожали их от театра до «Континенталья». Как жаль, что так короток путь, квартал — и все. Мы учились тогда в театральной студии, и приезд театра был не только праздником, это был предел мечтаний, шли потом домой, захлебывались от восторга,

перебивали друг друга. Ты помнишь эту паузу? Стоят оба и молчат. А сколько в этом молчании слов, мыслей, настроения. А когда он говорит ей...

В транзисторе что-то щелкнуло: «Мы передавали концерт «Великие артисты нашей Родины». Народные артисты Советского Союза Антонина Нежданова и Леонид Витальевич Собинов. А сейчас слушайте информационное сообщение...»

И исчезли и растворились Собинов и Нежданова. И загудела печка. Затрепетало пламя на свечах. В коридоре что-то затрещало. За окном заухала ночная птица.

...В государственные закрома пошел хлеб целинного Приишимья. Первая квитанция на продажу зерна нового урожая выписана совхозу имени XXV съезда КПСС... Почти на пять месяцев раньше срока освоена проектная мощность цеха серной кислоты горловского производственного объединения «Стирол»... Трижды выходил победителем в социалистическом соревновании коллектив цеха термообработки металлорежущего инструмента Йошкар-Олинского инструментального завода... Хочется завывать! Волком! Ничего не изменилось... Ничего...

* * *

И все-таки лучшее средство от ностальгии — это читать «Правду». Как рукой снимает. Только подорожала она: стоила восемьдесят сантимов, а теперь — франк двадцать.

Часть вторая

Хобби — модное сейчас слово. И понятие. Интервьюируя какую-нибудь знаменитость, иностранный корреспондент обязательно осведомится — а ваше хобби? Черчилль любил возводить кирпичные стены, Аденауэр — читать полицейские романы, Толстой — тачать сапоги, а мой визави через рю Лабрюйер весной и в начале лета может часами возиться со своими цветочными горшками на окнах. Тычет чего-то там палочками, поливает из лейки. А мое хобби — фотоальбомы...

Делаю я это с большим успехом и сноровкой, а сам процесс доставляет неизъяснимое наслаждение, не говоря уже о благотворном действии на нервную систему. Как вязание или раскладывание пасьянса у женщин.

Альбомов у меня очень много. Первый был сделан сразу после войны и составлен из сохраненных мамой фотографий, последний же посвящен Парижу. Между ними множество Коктебелей, Малеевок, Ялт, Кавказов, всяческих заграничных поездок, когда меня еще пускали, сталинградский альбом, альбом, посвященный фильму «Солдаты», и другой, о Бабьем Яре и разрушенном еврейском кладбище, хранящийся сейчас в архивах КГБ. Но все они блекнут рядом со сделанным мною перед самым отъездом из Киева. Называется он «Авто-био фото-изо-эссе».

Его не опишешь, надо посмотреть. Разбогатею — выпущу в прекрасном издании в количестве пятидесяти

экземпляров. Для друзей. Здесь, на Западе, это практикуется.

Альбом этот полушуточный, полусерьезный. А к концу даже немного грустный. Все сопровождается текстом, комментариями. Есть и рисунки разных лет. Фотографии друзей. Живых и ушедших. Начинается все, как и положено во всей современной литературе, с конца или почти с конца. С переломной точки в жизни автора. Сохранилась и вывезена мною за границу киноплёнка моего выступления (самого его начала, потом оператор понял, что тратит ее зря) на том самом идеологическом совещании, где прерывал меня Подгорный. Потом назад, в XIX век. Мои родители, Швейцария, Париж. Я в локонах, без локонов, в пилотке. Послевоенное «просперити». И опять — сессионный зал Верховного Совета. Вырезки из газет: «Некрасов не удовлетворил слушателей, отстаивая свои порочные позиции...» Дальше рядом с фотографией автора в кругу семьи текст: «С этого дня определились настоящие друзья. Их стало меньше, но эти уже никуда не уйдут. Как и прошлое... (кадры на Мамаевом кургане, смена караула, мемориал) и будущее, которого хотя и меньше, чем прошлого, но все же оно есть». Последнее фото — на фоне вечного пламени. «И невольно задумываешься — какое?» Июль 1974-го.

Как же оно сложилось, это будущее?

Очень не хочется отправлять читателя к моим писаниям тех лет, когда я колесил по заграницам представителем самой передовой литературы в мире. Хотя экскурс тот весьма любопытен...

Не буду приводить текстуально (немного стыжусь), но смысл рассуждений об эмиграции сводится в основном

к следующему — нельзя отрываться от родной почвы, иссыкаешь, чахнешь, злобствуешь...

Были ли основания писать именно так? И да и нет. Да — потому что те немногие эмигранты, с которыми столкнула меня судьба, произвели на меня грустное впечатление. Старый парижский таксист из экспедиционного корпуса, озлобленный белоэмигрант в Гро дю Руа, на юге Франции, совсем молоденький пацан Ника Дасенко, сын эмигрантов из так называемой второй эмиграции, влюбленный во все русское и даже советское. Ну и еще два-три персонажа. Вот и все. Грустно...

Да, грустно. Но не только грустно. Попав впервые на Запад, я не смог разобраться, вникнуть по-настоящему (куда там разбираться — приемы, встречи, Лувры, Париж...) в то сложное явление, которое называется эмиграцией. Да и что знали мы о ней? «Бег» Булгакова, генералы за рулем такси, неистово злобствующие, доживавшие свой век Мережковский и Гиппиус, бедствующий, недобрый Бунин, тоскующий по родине Рахманинов, сошедший с ума Нижинский...

Отрезанные от внешнего мира, мы и понятия не имели, что эмиграция не только бедствовала и тосковала, но и сохранила культуру, великую русскую культуру. Русский балет! Не Моисеев, покоряющий, но уже не удивляющий нынешних парижан своей отточенной техникой и дисциплиной, а тот, дягилевский, ищущий и находивший, Павлова, Фокин, все тот же Нижинский — вершина русского, а значит, и вообще балета... Бенуа, Сомов, Бакст, Билибин, Серебрякова! «Мир искусства» — изящный, тонкий, благородный и такой русский — в Париже! И литература вовсе не «влачила», а жила, нелегкой, трудной, во многом

противоречивой, но жизнью. Не буду перечислять, один Набоков чего стоит. А мы-то о нем знали только так, понаслышке, какая-то там «Лолита» есть, ужасно неприличная, а потому и бестселлер, на Западе только так и пробьешься. А «Современные записки»? Я впервые узнал о них, увидев на полке у Евтушенко лет через десять после того, когда они прекратили свое существование.

Я ограничился страничкой, а об этом писать и писать...

Стою над могилой Ремизова. В Париже. На кладбище Сен-Женевьев де Буа — самом красивом кладбище в мире. Покой, тишина, березки. Русское кладбище. Церквушка русская, православная, луковки. Ни бумажки, ни окурка...

А почему я не стою над могилой Мандельштама? Ну, не я, я далеко, кто-нибудь другой? А кто и куда приносит цветы Марине Цветаевой?

Книги ее я покупаю в магазине «Глоб», в Париже, на рю де Бюси. И отправляю в Союз. Желательно оказией, чтоб не украли на таможне. Булгакова тоже. И — хи-хи! — Джека Лондона и Дюма тоже. Подписался в том же «Глобе» и посылаю.

А Ремизова, забавно-безумные рисунки его, я молча разглядывал и читал недавно в Париже. На выставке русских «нонконформистских» (словечко же ж!..) художников в Palais des Congres.^[30]

Русское искусство в Париже...

³⁰ Дворец Конгресса (франц.).

В трех или четырех залах этого самого дворца у Porte Maillot.^[31] — башня его видна со всех концов Парижа — москвичи и ленинградцы. Рабин, Зеленин, Зверев, Шемякин, те самые, которых давили бульдозерами в Москве (так и вошла она, та выставка, в историю русского искусства под названием «бульдозерная»!). Если повернуть не направо, к выставке, а налево, — касса, где продают билеты на Моисеева. Он тут же, в том же Палэ. Над входом две громадные вывески-плакаты — «Балет Моисеева» и «Выставка русских художников»... Советскому посольству, кстати, это не понравилось. Приходили двое к палэ-де-конгрессному начальству, жаловались, провокация, мол. Начальство и бровью не повело — «а по-нашему — свобода», сказала оно.

Русское искусство в Париже!

В зале «Плейель», лучшем концертном зале Парижа, две с лишним тысячи мест, концерт Ростроповича. Билетов не достать. А они по сто, двести франков, концерт благотворительный... Стены дрожат от оваций. Публика не расходится, стоят, кричат: «Браво, браво!» Исполнялись сонаты Иоганна-Себастиана Баха. Ростропович выходит, кланяется, бисирует. Опять рев. И кругом русская речь, русские физиономии. И не зал Чайковского, зал «Плейель». Залу Чайковского не услышать этого. Приезжайте в Париж... И «Пиковую даму» здесь услышите. С Галиной Вишневской, дирижер Ростропович. И ее сольный концерт (аккомпанирует Ростропович) — Даргомыжский, Мусоргский, Шостакович.

³¹ Застава Майо (франц.)

И билетов тоже не достать — на афишах наклейки — «Complet!».^[32]

Русское искусство в Париже!^[33]

А почему бы вам не вернуться домой? Советский зритель, слушатель соскучился по вам...

Кто бы, вы думаете, задал этот вопрос? Товарищ Червоненко, советский посол! Пригласил к себе чету Ростроповичей. Водочка, коньячок, улыбочки. Соскучился по вам советский зритель. Серьезно? Мы-то и не знали. Да-да, соскучился... А два года тому назад? Советский зритель что же, афиши срывал, концерты отменял? «Летучей мышью» в оперетте даже дирижировать не разрешал? Советский зритель?

Еще в Москве, до своего отъезда, Ростропович говорил мне: «Готов ехать в любую дыру, в любую глубинку. И бесплатно. Ни копейки не возьму, только дорогу. С баянистом. И вы знаете, я ездил раз в Якутию, под баян изумительно играть. Не верите? А вот так — Баха и под баян. Поразительно! Нет, не хотят! Не позволяют! Поехали мы в турне с Галиной по Волге. Вылезаем где-то там, в Куйбышеве кажется. А на моей афише, поперек, только Ро... и...ич осталось? «Выставка кроликов»! А? Ничего? И так на каждой остановке. Не кролики, так что-нибудь другое... И вот, все бросаю. Дом, дачу, всю обстановку, картины, мебель, бросаю к такой-то матери, беру виолончель, пса и туда, где

³² Все продано! (франц.).

³³ А в витринах книжных магазинов нет-нет да мелькнет зеленая обложка «Garnet d'un badot» («Записки зеваки»). Тоже приятно!

человек человеку волк. С братьями не получилось, поеду к волкам...»

И вот он среди волков. И ничего. Не хотят расходиться, кричат «браво». А бывший брат, сиречь Червоненко, водочкой угощает и так, между прочим, говорит:

— Паспорта-то у вас и у Галины Павловны советские, серпастые-молоткастые. И сами-то говорили, что вроде как в творческой командировке себя считаете. Ваше здоровье, и ваше, Галина Павловна. Но иной раз развернешь газету, прочтешь ваши интервью, и как-то неловко становится. Уж больно вы там, ну как бы это сказать, не совсем лояльно... Концерт вот собираетесь в пользу каких-то русских давать. Стоит ли? Не вяжется как-то...

— Что с чем не вяжется? Я и в пользу собак давал, друга человека. А в пользу своих же русских нельзя? Почему, спрашивается?

— Ну, собаки собаками, они существа безмолвные. А русские эти самые... Вот лишили Максимова^[34] паспорта. Как бы невзначай...

— Меня, что ли, лишить? Попробуйте! У меня тут друзья есть. И немало. Английская королева, испанский король молодой, Форд... Созовем трибунал. Пусть решает. Может ли Ростропович вернуться к себе домой или нет? Как решат, так и будет. А я созову журналистов и скажу им: вот, мол, такого-то числа, в 16.30 буду границу пересекать. В пункте таком-то. Приходите смотреть, как Ростропович со своей виолончелью (нет, не

³⁴ Стр.268 Максимов — Владимир Максимов (1932–1995) — русский писатель, главный редактор журнала «Континент».

Страдивариусом, как бы не отняли) будет мимо пограничных столбов шагать. Они с танками, а я с виолончелью. Приходите, приходите, запечатлевайте на пленку...

— Ну и чем этот выпивон кончился? — это уже я спрашиваю.

Вишневская в ответ сверкает глазами, это она умеет, а в посольстве, думаю, и того пуще.

— Кончилось тем, что ушли. Живые и здоровые. Полиция-то французская вся на ногах была... Ну и на прощание спрашивает: «Шутки шутками, а на каких бы вы условиях вернулись бы?» А я ему прямо — статью в «Правду»! Так, мол, и так. И всех виновников назвать. Поименно. И наказать! Вот тогда вернемся...

А вот сейчас давайте спросим Ростроповича — поменял ли бы он все эти залы «Плейель», филладельфийские, вашингтонские, испанских королей и королев на ту самую якутскую дыру с баянистом! Да, поменял бы! Тут же, сразу! Не хватает ему той дыры! Вот так вот — не хватает...

И второй вопрос. Почему менять? Почему не сочетать? Сегодня дыра, завтра Филадельфия, послезавтра Большой зал Консерватории...

Ох и неразумная у нас Родина. До чего ж неразумная, чтоб не сказать крепче...

Но вернемся к вопросу о будущем. Какое же оно?

В свое время, еще не приняв никакого решения, я крикнул в эфир: «Кому это нужно? Кому нужно изгонять писателей, художников, музыкантов?» Войнович хорошо на это ответил, прочитайте его «Иванькиаду»...

Кто и как решает эти вопросы — кого выдворять, кому удовлетворить просьбу, кого помучить перед этим, кого нет, — никто не знает. Да это и не столь важно. Важнее и интереснее, с какой целью это делается. А чтоб не маячили перед глазами, мать их за ногу. И второе — русский человек за границей не приживется, факт. Свободы ему, видите ли, захотелось. Что ж, пусть побарахтается в этом самом свободном мире. А что клеветать будет? Пусть клеветает. Дадим ему достойную отповедь в «Литературке» или «Неделе», какой-нибудь «Голос мертвеца» или «Писк из помойной ямы»... К тому же и передерутся там между собой. Ну что ж, пискнем...

Когда эти строки попадут тебе на глаза, читатель, мой эмигрантский стаж исчисляться будет уже тремя годами. Кое-какой итог можно подвести.

Как проводила Родина, более или менее известно. На таможне были вежливы, грузчики не бесчинствовали, с ними распито было даже пол-литра. В прошлом спортсмены, даже чемпионы, больше жаловались на свою судьбу, мне ж не без некоторой зависти пожелали успехов, счастливого пути. В аэропорту тоже почти без эксцессов. Говорю «почти», потому что два вежливых подполковника наотрез отказались пропустить полуистлевшие странички журнала, который мама «издавала» в пятнадцатилетнем возрасте лозаннской школьницей («L'ami de Moras», № I–II, 1894, трогательные, написанные мелким каллиграфическим маминым почерком рассказы «Из Симбирска в Казань», ребусы, шарады и специальный отдел «Пропажи и находки»: пропала резинка, карандаш, нашедшему — вознаграждение), и прапрадедушкин Franciscus Floriani,

диплом Anno MDCCCXXV на пергаменте с восковой печатью Виленского университета.

Огорчил меня и еще один эпизод. Все те же полковники не разрешили мне взять с собой медаль «За оборону Сталинграда». Нету, мол, соответствующего удостоверения — оно, как назло, куда-то запропастилось. Медаль эта все-таки мне дорога, и, только когда я, разозлившись, проявил находчивость и пришпилил ее к «Окопам Сталинграда», полковники развели руками.

Ну а дальше, уткнувшись носом в стекло иллюминатора, прощался с Бориспольским аэропортом — увижу ли еще когда-нибудь? Провожающих различить уже нельзя было, но я знал, что они терпеливо ждут, пока «серебристая птица» вырулит, совершит свой пробег, оторвется, взлетит и растает маленькой точкой в синеве.

Через три часа Цюрих. В самолете отходил, но не отошел. Все путалось в голове. Московские проводы, киевские... Два милиционера и обычная в те дни машина у входа в Пассаж,^[35] пока грузились чемоданы в машины.

Глядя на клубившиеся облака, подсчитывал, кто же был на проводах, кого не было. С теми, кого не было, а я думал, что все-таки будут, связь прекратилась навсегда. Да и кое с кем из пришедших что-то тоже не получается... И именно это «не получается» — единственное, что по-настоящему омрачает мое нынешнее существование.

Не знаю, как для других, но для меня покупка и отправка подарков на родину, пожалуй, самое радостное

³⁵ Стр.270 Пассаж — улица, состоящая из одного дома в центре Киева, где жил Некрасов.

в моей зарубежной жизни. Ведь этот пушистый, мягкий свитер, купленный в Каталонии, ощупают десятки рук, и долго он еще будет «бестселлером» вечернего Крещатика. А черная андалузская мантилийка и кружевной веер, приобретенный в Таррагоне? Ну конечно же, женщины будут оборачиваться на него на каком-нибудь концерте Рихтера. А крохотные автомобильчики, мотоциклы и набор индейских перьев и томагавк? Мой внук Вадик^[36] получил за него первый приз на новогоднем вечере в своей криворожской школе, а сейчас в тех же перьях отхватывает призы его кузен Сережа. А чуингам, ребячья валюта? Из Союза не прекращаются вопли — жвачку, жвачку! А футбольный альманах за 1975 год? Он побывал в руках каждого киевского «динамовца», за него предлагали нешуточные деньги. А трубки «Dunchill», голландские табаки, виски «white Horse», золотые и рельефные марки всяких Бахрейнов и прочих керосиновых эмиратов? Не говорю уже о книгах, альбомах, швейцарских календарях с Монбланами и ледниками... Я даже, насмотревшись в парижском метро на две голые мужские ступни, назойливо лезущие с рекламы, послал в Киев средство от потливости ног, рискуя, что употреблено оно будет не по прямому назначению, а по методу, рекомендуемому Ерофеевым в бессмертной книге «Москва — Петушки».

И вот когда оказывается, что и каталонский свитер, и Булгаков, и шотландское виски, и ерофеевский напиток лежат не востребованными на одной из киевских квартир, а парижские лифчики и колготки принимаются с кислой миной — «Зачем это Вика тратится, нам ничего не

³⁶ Стр.273 Мой внук Вадик... — сын Виктора Кондырева, приемного сына Некрасова.

надо...», — мне становится очень и очень горько... А я знаю, что значит получать заграничные посылки, сам бегал за ними на почту. А потом дарил друзьям банки от «Нескафе» и металлические, такие аппетитные, коробки из-под английского чая (здесь теперь сердце кровью обливается, когда выбрасываешь их на помойку).

Внизу проносятся — первое впечатление от Швейцарии — ярко освещенные желтым светом автомагистрали. Потом аэропорт, стеклянные стены. За ними друзья. Машут руками. Галич с женой — нужно же такое, у него как раз концерт в Цюрихе, — Мая Синявская, Толя из Базеля, журналистка, приезжала когда-то в Киев, остальных не знаю. Потом уютный русский дом в окрестностях Цюриха, застолье, ночевка в тихом отельчике. Утром, в кафе, водопад информации, низвергнутый на меня Маей Синявской. Ничего не слышу, не понимаю, разглядываю швейцарцев в смешных тирольках и рекламы всех видов шоколада. Так все это началось...

С тех пор прошло без малого три года.

Ну и как? — вопрос в лоб. Иссяк, погас, злобствуешь?

Попытаемся разобраться.

Иссякли?

В период моих десятилетних перипетий (1963–1973) в одно из попавшихся окошек я попытался сунуть моего «Зеваку». Что может быть невиннее. Гуляю, смотрю по сторонам, о чем-то там думаю. Никакой политики, детство, фронтоны, карнизы, прогулки по Крещатику, московские особнячки. Чтоб разбавить где-то все же пробивавшиеся критические нотки (московские башни),

написал целую главу о русской архитектуре, проштудировав Игоря Грабаря (в «Зеваку» не вошло, привесок). Одним словом, писал, чтоб прошло. Ну что ж, очень мило, скажет читатель и отложит книгу в сторону. Стоит ли? Но писал. Не прошло.

До этого «В жизни и в письмах», 1970 год. О людях, с которыми жизнь свела. Интересно? Вроде бы и интересно. И люди интересные, судьбы непростые. И все же... Не от хорошей это жизни, что там ни говори. Попытался в стол писать — для внуков, правнуков, не для Самиздата — пришли мальчишки и забрали.

И стал читатель меня забывать. Из библиотек-то книги изъяли.

Только фильм «Солдаты» по непонятным причинам нет-нет да и появится где-нибудь в клубе «Правды», 23 февраля или 9 мая.

Ну как не иссякнуть! Не здесь, там, дома, на родной почве, не отрываясь от нее...

А здесь?

Хорошо или плохо пишу, другой вопрос, но пишу, о чем хочу, что считаю важным, нужным. И нелегкими путями доходит это до тебя, читатель. И ты, боясь или не боясь, читаешь, ругаешь мелкий шрифт (что поделаешь, чтоб в один номер влезло), но читаешь. И, надеюсь, иногда слушаешь, пробиваясь сквозь глушку. Клевещи, клеветы побольше — долетает до меня призыв с родины, — не я, так другие поймают, расскажут. И я клевету. Нежно и правдиво клевету... Это еще что? А то, что любимая моя «Правда» (не могу все-таки без нее, каждый день покупаю) как-то, а точнее в номере от 13 января 1977 года, в заметке «Продажные провокаторы»

обвинила чешских диссидентов в том, что они «грубо и лживо клеветают на нынешний чехословацкий режим». Лживая клевета! Какая прелесть! Значит, есть и правдивая? Грубая? Значит, есть и нежная, воркующая? Вот я со спокойным сердцем иной раз и занимаюсь этим — нежно и правдиво клеветую.

Но шутки шутками, а если говорить серьезно, долг каждого честного человека, оказавшегося в условиях, в которых оказался я, пользоваться каждым подвернувшимся случаем, чтоб говорить и доносить ПРАВДУ до тех, кто лишен возможности знать ее. И каким лакеем или слугой империализма ни обзовет меня «Литературка» или «Неделя», стерплю. Улыбнусь только.

Кстати, не пора ли уже на шестидесятом году жизни освежить как-то эти клише? Давайте подумаем. Что хуже — слуга или лакей? Слуга все-таки народа, лакей же — империализма. А может, переменить? Леонид Ильич — верный лакей народа. Нет, неточно. Метрдотель народа. Или еще лучше — народный мажордом Советского Союза. По-моему, прекрасно. И главное — ново.

Повезло Солженицыну, ему придумали новое — «литературный власовец». Пригвоздили! Но дальше этого не пошли. В который раз (а пора, пора б уже привыкнуть, и вот не привыкаешь) поражаешься тому, что в стране, в которой шестнадцать миллионов членов партии, не нашлось ни одного мало-мальски грамотно пишущего, который дал бы хоть как-то и чем-то обоснованную «достойную отповедь» этому вконец зарвавшемуся лжепророку и якобы обличителю (о! это «якобы», смертельно разящее «якобы!»), рядящемуся в тогу борца и псевдопроповедника (и «псевдо», «псевдо» тоже!), возомнившего себя к тому же писателем. На

Западе с ним, Солженицыным, спорят, не соглашаются, обвиняют в различных грехах, иногда даже убедительно, а в советских газетах, кроме «литературного власовца», ничего и придумать не могут. Ну, из Литературной энциклопедии выкинули. Нет такого, мол, и всё! Софронов, Собко, Серебрякова, Сулейман Стальский есть, а Солженицына нет. Если и бродит где-то по свету и гавкает по каким-то там «Голосам», это его личное дело, к литературе же отношения не имеет. Точка. А то, что когда-то на Государственную премию «Ивана Денисовича» выдвинули, так это ж при Хрущеве было, волюнтаристе... «ГУЛАГ» же выпустили для внутреннего употребления, ну это просто так, бумага лишняя оказалась, девать было некуда...

Но продолжим нашу работу, как любил говорить мой следователь по особо важным делам полковник Старостин после перекура и воспоминаний, как он играл в шахматы с Твардовским.

Продолжим...

С творчеством более или менее ясно. Не иссяк, как утверждаешь, Ну а так, вообще прижился?

Да, прижился. Точнее — нашел форму существования. Создал себе свой собственный, странный, может, даже противоестественный, но «свой» мир.

Я не дома и в то же время вроде дома. На письменном столе то же, что было и в Киеве. (Я вещист, как кто-то назвал меня, придаю значение вещам.) Слева так же, как и в Киеве, портрет Ивана Платоновича Чужого^[37] в рамке из карельской березы — моего

³⁷ Стр.274 Иван Платонович Чужой — в воспоминаниях А.Рохлина (В.Некрасов, «В самых адских котлах...») о нем говорится так: «Возглавлял ее <студию Киевского театра Русской драмы> режиссер-педагог Иван Платонович Чужой, убежденный

театрального учителя, кумира. На стенке портреты друзей, сталинградская передовая, громадная, с метр длиной, фотография Киева — с одного из холмов в сторону тылов Большой Житомирской. Над тахтой — размером чуть ли не с гектар план Парижа, тот самый, что на том же месте висел в Киеве, — каждый домик, каждая улочка, каждая лестница, памятник. В столовой те же старинные акварели одного из итальянских прадедушек, столетней, если не более, давности цветная (ну, пусть раскрашенная, но ей-Богу не хуже теперешних) фотография Шильонского замка, на ломберном столике между окнами (том самом, где, злые языки говорят, мои предки просаживали свои имения) фотографии моего брата и бабушки, а над ними дедушка в овальной раме. Чуть ниже гипсовое, почти слоновая кость, распятие, купленное маме, когда она была девочкой, на Нижегородской ярмарке, рядом два маминых портрета — изящной девушкой и на склоне лет, в пенсне, печально задумавшаяся, что не очень было ей свойственно, — в моей комнате есть другая, живая, смеющаяся, мама ее не любила: ну чего я, как дура, смеюсь в одиночестве...

А по вечерам, за чаем, все вместе (слава Богу, а полтора года были врозь!) обсуждаем если и не совсем те, но часто и те самые, что дома, проблемы. Ищется квартира для ребят. «...Нет, нет, на Трокадеро слишком темная, мрачная... А там, в Vanves,^[38] друг у друга на

реалист, ревностный последователь системы Станиславского. Как мне впоследствии говорил Виктор, он навсегда вложил в своих учеников любовь к правде не только в сценическом мастерстве, но и в иных видах художественного творчества, не мыслил искусства без правды».

³⁸ Стр.275 А там в Vanves друг у друга на головах будем... — Некрасовы поселились как раз в Ванве, где и сегодня живут потомки писателя.

головах будем, хоть и три комнаты, и светлая...» Покупается для отправки в Союз курточка для Гелия, свадебный подарок. Ту, что он заказал, сверху вроде болоньи, а внутри вроде фланель, в Париже давно уже не носят, что же выбрать? И тут же с киевских еще времен тянутся все те же бесконечные разговоры об обысках, голодовках, Славике Глузмане — его милая, с сигаретой в зубах физиономия улыбается со стенки над стареньким «Аккордом», проигрывателем (пора купить уже новый, старичок-то разболтался, тянуть стал...).

И часто, очень часто (куда чаще, чем в Киеве) сидят за этим столом москвичи, москвички. Забавно, но круг москвичей, с которыми я встречаюсь, сейчас здесь куда шире, чем в последнее время в Москве. Там был свой, довольно тесный, с десятков-полтора человек, не больше — с возрастом появляется какая-то избирательность. А здесь, я подсчитал, за два с лишним года, точнее за 27 месяцев, побывало друзей из Союза — 25 человек, в общем-то по человеку в месяц (не всегда-то я в Париже бываю).

Стоп! Не похоже ли это на донос? Скажут потом — мы вот вас выпускаем, по музеям разрешаем походить, ну, там купить кое-какое барахлишко, а вы вместо этого чаи распиваете с разными там... Нет, не скажут. Во-первых, знают и без моих доносов, во-вторых, что-то все-таки изменилось. Кто-то поумнее появился. В этих по крайней мере делах.

И гуляю я с москвичами и москвичками по Парижу (и с тобой, читатель, не приехавший еще ко мне в гости, через несколько страничек погуляем, давно пора), и сидим в кафешках, и роемся в книгах у букинистов на набережных, и в магазины заходим (нет, не в большие,

там голова кругом пойдет, а в лавочки, разные там antiquites, или где куклы продают, игрушки разные, карнавальные маски, есть и Жискар, и Марше, все ищу Брежнева, пока не нашел, детант...), иной раз и в кино забежим — можно и на серьезное, можно и на вампиров, каратэ или туда, куда до восемнадцати лет не пускают, многое, о чем и не подозревал, увидишь, а заодно и кругозор расширишь. (Ох, думаю, даже наши «слуги народа», которым иной раз «крутят фильмы про блядей», не видали многих картин об однополой любви, онанизмах и всех видах мазохизма и садизма, которые могли бы подсказать многое.)

Итак, гуляю. С москвичами и москвичками. Приезжими. А вот с теми, что обосновались уже здесь, москво-парижанами (есть, правда, и ленинградцы, и киевляне), почти совсем не гуляем. Они работают, заняты делом, им не до прогулок. Но они-то, в общем, и являются той средой, тем миром, в котором я живу.

Разрешите же представить.

Синявские. Мы прожили у них два месяца, первые парижские месяцы. У них трехэтажный дом в Фонтенэ-о-Роз (тридцать минут на автобусе от Порт д'Орлеан), за ним садик, впереди бассейн с золотыми рыбками. Внутри в основном все время что-то строится и перестраивается (дому лет 150, не меньше), но есть и библиотека, и зал, и много книг, картин, икон, в этом Андрей разбирается, подделок, как я, вешать не станет.

У Эткинда, Ефима Григорьевича, если не дом, то полдома в Сюрэн (15 минут на поезде от вокзала Сен-Лазар и минут семь пешком, правда в гору). И тоже садик. Я его очень полюбил. В нем я лежал на раскладушке под тенью то ли груш, то ли слив после

операции, там же учился ходить.^[39] И в доме тоже много книг, как украшают они жилище. А теперь мы приезжаем туда на семейные торжества (хозяйка — мастерица их обставить!) или «на Галича», послушать новые, а еще лучше старые, любимые песни. Эх, бард, бард! Скажу по секрету, в Киеве я понемножку уже стал тебя ненавидеть. Витька, сын, приезжая из своего Кривого Рога, сразу бросался перезаписывать твоих Пармоновых, и голос твой доносился из кухни, где это все производилось, почти круглосуточно. А теперь, как видишь, специально приезжаю и чувствую себя у Эткиндов почти как в Москве, кругом свои.

Но до Синявских и Эткиндов все же далеко, Миша же Геллер (тоже профессор в университете, как и первые два) с женой жили совсем рядом, на рю Пигаль! Да, да, и перед входом в их дом всегда разгуливают эти милые (ну, не милые, привлекательные) пташки. Миша тоже дурного слова о них не говорил, тем не менее сбежал, купил квартиру возле пляс Клиши. К нему легко всегда было забежать, посудачить о том о сем, а заодно и оладий, очень вкусных, перехватить. Теперь надо на автобусе ездить.

С Анжелой, нашей бывшей киевлянкой, теперь она Крюба, вышла замуж за француза, тоже дело плохо. Решили они строить дом и снимают квартиру где-то под Фонтенбло, рядом с будущим домом. С трудом теперь

³⁹ Стр.277...лежал на раскладушке под тенью то ли груш, то ли слив после операции, там же учился ходить. — 27 мая 1975 года Некрасову в Париже сделали операцию по поводу перитонита. 1 июня положение резко ухудшилось, и врачи заявили, что надежд нет. Однако вопреки медицинским прогнозам Некрасов поправился, и это чудо приписывают прижизненному некрологу, который сочинил ему в тот день Андрей Синявский. См.: «Знамя», 1990 г., № 5.

вырвешь только на обеденный перерыв — за час-то и поговорить ни о чем не успеваешь.

О двух других «выскочивших» за французов дамах, Жанне и Нелле, врач и писательнице, я уже писал. С ними мы тихо и уютно (а помнишь? а помнишь?) блаженствовали в нашей оливкодавильне. В Париже мы видимся реже. Жанна живет под самым Парижем, в предместье Малакоф с крохотным асфальтовым, но очень уютным двориком. Неля еще дальше, в Со (по-французски Sceaux, в два с половиной раза длиннее). У нее целый этаж в двухэтажном домике и сад не хуже эткиндского. Она всегда приглашает к себе, и всегда бывает хорошо, но опять же ездить, сначала метро, потом поездом. Вот и видишься редко.

У Максимова сада нет. Зато живет он в шикарном районе, рядом с Этуаль. Отличается Максимов от всех, кроме всего прочего, тем, что у него две очаровательные (даже я признаю, не большой любитель детей) девчонки, родившиеся уже в Париже, — Наташа и Оля. Олю мы недавно крестили. Было трогательно и торжественно. Не в церкви — там слишком холодно, — а дома. Крестный, всегда веселый и подвижный Ростропович, смирененько стоял со своей свечкой в руках, рядом кума, Володина сестра с младенцем, а свечку вместо нее держал наш Вадик, настолько обремененный важностью порученного, что даже не смеялся, хотя, вероятно, очень хотелось. Потом, после положенного ритуала, отец Николай Оболенский (брат Вики Оболенской) окунул нашу Олечку в купель, увы, простую голубую ванночку, и тут Оля впервые чуть-чуть пискнула, и не знаю почему, у меня навернулись слезы на глаза. Я впервые присутствовал на этом обряде (в Киеве, правда, видел, заглянув когда-то в церковь на Куреневке, советское коллективное крещение

— младенцев десять, не меньше), и, слушая как будто затверженное, непонятное мне бормотание священника и стройный хор, вторивший ему, я почувствовал вдруг, что есть в самом этом древнем обряде нечто значительное и необходимое, не знаю даже что. Что-то обязывающее к чему-то. К любви, что ли...

В том же доме, на четвертом этаже, редакция «Континента». Наконец-то обзавелись. До этого все делалось внизу, за обеденным столом, отвернув скатерть, на уголке. И всегда люди, непрекращающиеся посетители. Максимов, выпятив живот (а о Галиче один американец сказал: «Выглядит хорошо, только желудок немного вырос» — увы, потеряли мы стройность), шагает из угла в угол и «дает» по тоталитаризму и западным левакам. Непонятно, когда он успевает делать журнал, организатор и вдохновитель, душа и сердце, и все рукописи читает, и даже на письма вроде отвечает. А они идут. Со всех концов мира идут.

Журнал, дети, заграничные поездки... Когда все успеть? А успевает, потому что рядом, через три дома, люди, без которых все это было бы невысказано (даже дети!). Люди эти — Наталья Михайловна и Александр Александрович Ниссен. Добрее ее (правда, и ворчливее) нет человека на свете. Русская, из первой эмиграции еще, она из кожи вон лезет, чтобы помочь людям. Мрачный, неприветливый на первый взгляд Максимов и тихая его, все понимающая и почему-то все успевающая Таня сразу же стали предметом ее забот. Советчица, гувернантка, наставница, нянька, переводчица, она и квартиру нашла, и домработницу, и вообще, не было бы ее, не было бы и «Континента», ручаюсь. Ангел-хранитель! Я ее тоже люблю, хотя у нее ко мне никакого уважения (все-таки ж писатель!), шпыняет, как

мальчишку (хотя я старше ее на целый месяц), во время крестин даже за дверь выставила, увидев в зубах папиросу. Но я все переношу, даже язвительные, хотя, конечно, несправедливые, насмешки ее по моему адресу. За доброту прощаю.

Первая эмиграция (или, проще, белая эмиграция). Несколько слов о ней. Не скажу, чтоб в этом определении — первая, вторая, третья эмиграция — звучал какой-либо антагонизм, но нечто подобное отношению фронтовика к тыловику у этих, первых, к нам, третьим, есть. В этом нет ничего дурного, но звучит это примерно так — вам хорошо, вас мало, вы на готовенькое приехали, а нас было двести тысяч (а кто говорит, и четыреста), и приняли нас не с распростертыми объятиями, как вас, а в штыки. Да, это правда. Нам действительно хорошо. За эти три эмигрантских года я лично ничего, кроме заботы и внимания, не видел. Как со стороны русских, так и французов. Даже в префектуре, к которой (так уж воспитали дома) особого доверия питать не должен был бы. Все там делалось быстро, четко и доброжелательно.

Да, нам хорошо. Не буду обобщать — есть исключения, даже не одно и не два, — но что касается меня, пожаловаться не могу. Наоборот, только поблагодарить. И позволю себе — хочешь ты этого, читатель, или нет — сказать несколько слов о тех людях, которые так облегчили первые наши неуверенные шаги во Франции. (Чуть-чуть не сказал «на чужбине». Нет, не стоит.)

Итак, открываю Доску почета и благодарности.

Витя Hessel (не пишу Эссель, так как по-русски эта фамилия никогда не писалась). Писательница. Родители

привезли ее из России в начале революции. Во Франции выросла, вышла замуж. Муж Стефан Hessel, по профессии дипломат, по натуре же — человек мягчайший и обходительнейший. И, по-видимому, невероятной физической силы. В кабинете у него лежат два огромных слоновых бивня, подарок какого-то из африканских президентов. Оторвать их от земли нет никакой возможности. А вот он на собственном горбу втащил их на четвертый этаж, что под стать только Алексееву и Власову. Вите, правда, сложнее, она тащит на себе весь дом. Подвижная, маленькая, с полуслова все понимающая. В глазах всегда сочувствие и ирония. Убеждений левых, но тут уж ничего не поделаешь, росла в годы Народного фронта. Не видела меня никогда в глаза, позвонила по телефону и предложила на всю зиму, до лета, свой дом под Фонтенбло. Там, в Марлотт, среди королевских лесов, в тиши и комфорте, мы отходили от всех треволнений последних лет, вращались во французскую жизнь. Там же закончен был и «Зевака». Сам дом (художественный руководитель и вдохновитель Витя) — образец того, как человек должен обставлять свое жилище (два других примера — дом Волошина в Коктебеле и домик И.С. Соколова-Микитова в Карачарове). Все в этом доме удобно, красиво и немисливо уютно. На первом этаже (на втором спальня) одно большое помещение, состоящее из двух или трех зал, комнат, не знаю, как их назвать. Тут же ничуть не мешающая, даже придающая уют кухонька. Конечно же, камин. Даже два. Длинный, тяжеленный деревенский (а может быть, и барский) стол. Две лавки. Удобные, мягкие кресла, кушетки, шкафчики и бесконечное количество ламп, на всех столах лампы с абажурами. По вечерам мы зажигали их в разных концах дома,

устраивались у камина и под звуки Чайковского или хора Пятницкого предавались размышлениям о жизни и смерти, о превосходстве капиталистического образа жизни над социалистическим...

Кроме бытового — где что повесить, расставить, приклеить — у Вити прекрасный литературный вкус. Будь у нее больше времени (кроме работы муж, два сына, дочь и внук — всех их обслужи, обо всех подумай, жалобы всех выслушай), носил бы все свои писания на первый суд. Увы, нет здесь Аси Берзер,^[40] слово которой во всех литературных делах (и творческих, и практических) всегда было законом. Другая писательница — Натали Саррот (на этом круг моих писательских знакомств замыкается). С ней мы знакомы 15 лет, и в свое время в «Месяце во Франции» я позволил себе посвятить ей несколько строк, полюбив ее с первого взгляда. Тоже маленькая, тоже подвижная. В глазах меньше иронии, чем у Вити, но больше веселья. В свое время мы при встречах пропускали по маленькой, но после одного ничтожного случая, который она, как истая француженка (хотя и русская еврейка), не может мне простить, перешли на чай. Я обожаю сидеть за ее круглым столом возле высоченного окна с видом на что-то прекрасное, парижское, пить чай (!) со свежим багетом и ругать чопорные французские обеды, которым нет конца, где подают обязательно ненавистное мне мокрое мясо и водку пьют не в начале, а в конце. Кроме того, мы говорим о литературе, писателях, московских родственниках, КГБ, подлецах и героях (в основном в

⁴⁰ Стр.281 Увы, здесь нет Аси Берзер... — Анна Самойловна Берзер, редактор «Нового мира», с именем которой связаны публикации Некрасова, Шукшина и других авторов.

литературе), о сходстве и различии славянских, иудейских и французских душ и о путешествиях, в которых 75-летняя Наташа (она любит, когда ее именно так называют) заткнула меня за пояс.

— Когда ж мы увидимся? — говорю я, прощаясь.

— Когда? Сейчас скажу. Через неделю еду в Египет. Выступать. Не пугайся, в американском университете. Евреи, думаю, простят. Потом, в добавление к гонорару, Нил, пирамиды, сфинксы, всякие там Рамзесы и Тутанхамоны... Потом на несколько дней в Англию. Оксфорд, Кэмбридж. Потом? Потом домой. Недельку дома — и Нью-Йорк. Опять лекции. А из Нью-Йорка... Пригласили, понимаешь, на месяц в Калифорнию. Там что-то вроде литературного кемпинга. Молодежь. Хотели, чтоб я им курс о себе прочитала. Ты представляешь? О себе. Сказала, что не могу. Ладно, говорят, курс прочитает кто-нибудь другой, а вы так, что хотите. Ну, я и согласилась. На таких условиях почему бы и не пожить в кемпинге. Люблю американскую молодежь. Куда лучше нашей.

Да... Нет мамы, очень бы они сдружились...

С Витей Гашкелем — парижским психиатром — мы ровесники. Только я в четыре или пять лет вернулся из Парижа в Киев, а он, немного, правда, постарше, из Ленинграда (тогдашнего Петрограда) увезен был на Запад. Жизни наши сложились совсем по-разному. Но вот, разъезжая с ним по Парижу (он любит возить меня по городу, он его и знает, и любит) или сидя в кафе где-нибудь на Сен-Жермен или в «Каскаде» в Булонском лесу, в бесконечных наших разговорах («А скажи мне, пожалуйста» — так он начинает каждую беседу, если начинает ее он, а не я) выясняется, что почти во всем

(кроме психиатрии, пожалуй, кое-каких ее аспектов) у нас одни и те же взгляды, и вкусы, и понятия. В душе он, вероятно, немножко подсмеивается над моим «советским варварством», ну а я, как варвар, над его, назовем для простоты, западным снобизмом, непониманием наших дел.

— Вы заживевшая, богатая, любящая удобства и комфорт нация. И больше всего боитесь этого лишиться. И никогда никакого штурма Елисейского дворца у вас не будет, — сплеча рубая я. — Чего ж вы смотрите в нашу сторону и за коммунистов голосуете?

Витя улыбается.

— Да коммунисты боятся революции не меньше Жискара, поверь мне. Марше такой же буржуй, как и тот, только тот к тому же аристократ, и вилла у Марше, может быть, чуть похуже жискаровской. Вот и вся разница.

— Да, — говорю, — пожил б вы у нас.

— К счастью, Бог миловал. Но что поделаешь, социализм и все левое сейчас опять модно, сам знаешь.

— С человеческим лицом... А там брови...

— А в Швеции без бровей. Там даже король налоги платит.

— И тоже недовольны. Тоже с жиру бесятся. Бергман вот сказал, что его ноги в Швеции не будет.

— А это из-за налогов...

— А вы в Китай поезжайте, там налогов нет. Ты много платишь?

— Не спрашивай.

— Не утаиваешь? Азнавура судят уже второй год.^[41]

— Судят, но не осуждают. Во Франции считается хорошим тоном не платить государству...

— А у нас обворовывать его.

Так мы без конца в чем-то убеждаем друг друга, прекрасно оба понимая, что Франция разжирела, разленилась, часто теряет достоинство, но страна она прекрасная и оба мы ее любим.

Лафитты... Софи и Пьер. Софи — Софья Григорьевна — великий знаток русской литературы, кумир студентов, и Пьер, ее муж, директор одного из наиболее почитаемых научных учреждений Франции «Ecole des Mines». Люди, которым многие и многие обязаны. Обязаны и мы — их вниманию, заботам, радушию, их руке, протянутой нам в самое нужное время.

Вернаны... Лида и Жан-Пьер, сокращенно Жи-Пе. Он крупный ученый, в прошлом коммунист, и из влиятельных, сейчас, как всякий порядочный человек, из партии вышел. Она преподает русскую литературу в Венсене. Он француз, она вывезена из России. Во всем как будто разбирается, но левизной, как и все французские интеллигенты этого возраста, грешит. Россию и все русское любит, болеет за ее беды, но капитализм ненавидит не меньше коммунизма. А может, и больше, в чем, увы, — мы-то уж знаем — и ошибается. Человек прекрасных душевных качеств — моя жена особенно ощутила это во время моей болезни. В детстве,

⁴¹ Стр.282 Азнавура судят уже второй год. — Шарль Азнавур, французский певец, у которого (как, впрочем, у большинства эстрадных артистов) были проблемы с налоговыми службами.

до тринадцати лет, дружила с другой, таких же качеств, москвичкой. Потом, почти сорок лет, никаких сношений. В 67-м году дружба возобновилась — виновник — я! — и сейчас они видятся каждый год и друг друга заваливают подарками. Как Лидины подарки принимаются в Москве, я знаю очень хорошо, записал даже как-то на магнитофонную пленку — очень мы потом смеялись.

Из русских евреев (о Господи, почему так много евреев?) упомяну еще двух братьев Hoffman (или просто Гофманов), Бориса и Жору. Ребята молодые, обоим и тридцати нет. Получили в наследство от отца литературное агентство и что-то там делают, никак не пойму что — всегда заняты по горло, куда-то торопятся. Обоим я обязан очень и очень многим. Своей добротой и готовностью всегда появиться они здорово помогли на первых шагах, и во время проклятой этой болезни особенно. Когда в моей палате появлялась славная, смеющаяся Борькина физиономия, сразу становилось веселее. Но веселье длилось недолго — он, конечно ж, куда-то, как всегда, торопился и опаздывал.

Ровесница Гофманов — Ира Зайончик. О ней скажу кратко — мировая баба! Этим все сказано. Человек, на которого всегда и по любому поводу можно положиться. Не подведет! Кроме того, знает все монпарнасские кафе различных репутаций, качество, на мой взгляд, весьма существенное.

Жан-Мари Идатт. Врач. И чистойшей воды француз. Познакомились мы с ним еще в Москве, лет семнадцать тому назад, не меньше. Ему посвящено целых пять страниц в «Месяце во Франции». Заканчиваются эти страницы словами: «Я рад, что познакомился с Жан-Мари. И не только потому, что он умный, веселый,

обаятельный парень, а и потому, что всем своим обликом, темпераментом, строем мыслей, своей честностью и благородством он укрепил во мне веру во Францию, во французский народ... Настоящая Франция, ее будущее — а я верю в него — это Жан-Мари, это Коко (другой врач, с которым я познакомился тогда же в Москве), это люди широкого ума, горячего сердца и — без этого француз не будет французом — веселой, лукавой усмешки в глазах»... Сейчас в Париже мы встретились при довольно сложных обстоятельствах. Он явился ко мне в палату госпиталя Амбруаз Парэ, где я вроде отдавал концы, и с того же дня в течение без малого двух месяцев приходил ко мне ежедневно. И узнал я его еще и как врача. Он настоял на вторичной и оказавшейся необходимой операции и следил за мной как за собственным если не сыном, то отцом. А теперь — увы — будь проклята эта всеобщая занятость! — мы видимся редко. И оба друг о друге говорим — забыл! Я перестал быть его пациентом, я ему не нужен — говорю я. Он выздоровел и не интересуется врачами — говорит он. И оба мы не правы. Мы оба нужны друг другу, и скучаем, и по-прежнему любим один другого, но время, время, где найти его?

Наконец, под занавес, Степан Татищев. Из тех самых. Читает в университете, до этого работал в Москве в посольстве. Знакомы мы с ним тоже давно, я думаю, лет десять, не меньше, и я ему тоже обязан многим, уточнять не будем. В Париже он лучший консультант по французским делам и первый помощник при покупке чего-нибудь из мебели. К тому же на Пасху у него роскошный прием, и сам он, высокий и стройный, тоже прекрасен в русской косоворотке с кавказским наборным ремешком. У него чудная маленькая жена Анн, прекрасно

говорящая по-русски, и трое детей, которые с каждым годом становятся все красивее и красивее.

Ну вот как будто и исчерпан весь список. Нет, не исчерпан. Он будет неполон, если я не упомяну об Окутюрьях — Мишеле и Альфред. Русского в них, кроме языка, ничего нет — он наполовину чех, наполовину француз, она чистая француженка. Он преподает в университете и, вероятно, лучший во Франции переводчик с русского языка. Ему я обязан прекрасным переводом «Зеваки». Характера мягкого и доброго, поэтому я злоупотребляю различными просьбами. Живут они под Парижем в доме какого-то там века, XV или XVI, с балконами и лестницами, обилием книг и таким же длинным, тяжелым (а когда мы приходим, то и не пустым) столом, как у нас в Марлотт... В отличие от других французов, Окутюрье левизной не страдает. (Жан-Мари, забыл сказать, страдает.) Миша долго жил в Москве и многое понял. Возможно, именно поэтому и полюбил Россию.

(Написал бы я о Мише и больше, но он, негодяй, наотрез отказался переводить все то, что я сейчас пишу. Нет, и все! Какую-то там докторскую диссертацию надо защищать, времени, мол, нет. Ну и черт с тобой... Скажу, правда, по секрету, ему не передавайте, жалею. «Зеваку» он перевел первоклассно, все французы ахают. Ну, да Бог с ним. Плохой человек...)

На этом подведу черту. Не потому, что мне некого больше благодарить, а просто потому, что на Доску почета попали только те, кому я особенно благодарен и память о которых, хотя они все живы, и дай Бог, проживут еще долго, никогда не изгладится в наших сердцах.

Но мы слегка отклонились, вернее, нарушили некую стройность (но не стиль, спешу добавить) повествования.

Вернусь же к тому, с чего начал, — «и не дома, и как будто бы дома». Дома, но с каким-то коэффициентом, поправкой.

Утро. Тут и там. (Да, Киев — это уже там...) Все еще спят, а я за газетой, молоком, свежим багетом (там — батоном). Из почтового ящика вытаскиваю «Русскую мысль» или нью-йоркское «Новое русское слово» (там — «Правду»).

Здесь «Правду» покупаю у своего газетчика и как принудительный ассортимент «Фигаро» (с респектабельной «Монд» отношения несколько испортились, порозовела она малость). Если есть время и некуда торопиться, пристраиваюсь в глубине за столиком углового кафе, и Робер в своей неизменной красной курточке (Ca va? — Ca va! — обязательное французское при встрече: Идет? — Идет! Очевидно, жизнь, помаленьку...) подает мне кофе со свежайшим круассаном. Пью, разворачиваю газеты. Одна спешит меня уверить, что Корвалан обязан своей свободой давлению мировой прогрессивной общественности, КПСС и лично товарища Брежнева, другая же говорит что-то об инициативе Пиночета и каком-то событии на цюрихском аэродроме... Кому верить? В одной по-прежнему во весь рот улыбаются с первой страницы счастливые работяги в касках, а на третьей изможденный американский безработный валится с ног под тяжестью налогов, в другой бойкий на выдумку Жак Фезан все так же подтрунивает над своим Жискаром или Шираком. С одной вмиг справился, прочел, другую руки устали держать — 32 страницы, будь оно неладно.

Начитавшись, иду домой. По дороге пару пачек «Голуаз» (дома на полке нетронутые скучают московские подарки — «Беломор», а как боялся, что без него трудно...). Воскресенье. Все дома. Значит, в три голоса будут поучать Вадика и грозить, что, если он не исправится, мать пойдет к учительнице. Считается, что он нерадив, но, если по телефону невзначай позвонит какой-нибудь француз, сразу же прибегают к услугам лодыря Вадика, во французском языке родители остались далеко позади.

Потом, за кофе, обычный утренний разговор. Цены... Ох, эти цены! Правда, сейчас январь, новогодние soldes, скидки. На всех витринах аршинными буквами — Soldes! Fantastiques! Irreels! Фантастические! Нереальные... И женщины не находят себе места, нервничают, боятся заходить в магазины. Но заходят. И покупают...

К слову, о покупках. Цены ценами, но... «Ну что ж это такое? — сказала Мила, жена моего сына, когда тот ей купил в подарок ко дню рождения туфли. — Зашли в первый же магазин, примерили и купили. За двадцать минут! Никакого тебе удовольствия. То ли дело у нас — мечтать, потом искать, идти на толкучку, а то и в Одессу из Кривого Рога съездить, наконец «через людей» найти спекулянтку и, поторговавшись до седьмого пота, купить парижские (ну, пусть не совсем модные, но парижские) туфли... Вот это радость! А тут...» Теперь, правда, Мила за двадцать минут не покупает, это было в первые дни, теперь она не хуже иной парижанки знает, где, что и когда, на мякине (а в Париже она есть) не проведешь.

Быт... Не хочется говорить о нем. Мир потребления знаем с детства. Но и здесь, повторяю, цены растут (хотя и зарплата тоже), и здесь народ ворчит. И мы ворчим.

Они ворчат и объявляют забастовки. А мы ворчим и ругаем эти забастовки. Будучи людьми прогрессивными, мы понимаем, что забастовка — это оружие пролетарское, но когда от этого оружия страдаем мы — не работает метро, почта, бастуют железнодорожники, — мы злимся. Как только мы приехали сюда, забастовали почтовики. На полтора месяца прекратилась переписка (а мы ею на первых порах только и жили), международная телефонная связь. У каких-то там сортировщиков писем низкая оплата, почему же повышать ее надо за наш счет? Не сортируйте, не пересылайте правительственную почту, а мы-то тут при чем? Очень мы тогда негодовали... Вот этого-то у нас дома нет, говорили мы (а то, что у нас письма не доставляются по другим причинам, мы в тот момент забывали).

Когда бастует метро, трудно достать такси (совсем как в Москве), когда недовольны повышением цен крестьяне, стоим, в очереди за картошкой (да-да! в Париже, за картошкой!), бывает, что и без газет остаемся, одним словом, ожесточенные классовые бои...

К тому же проституция. И порнографические фильмы. И гомосексуальные журналы. И гоняющаяся за дешевой сенсацией (а за дорогой можно?) пресса, всякие там «Ici-Paris» с адюльтерными похождениями венценосцев, ну и вообще, мир контрастов, монополистический капитал, свобода умирать под мостом. Плохо!

А если говорить всерьез, повторю то, что внушал Вите Гашкелю и с чем он в общем-то соглашается, — сытая, богатая, привыкшая к комфорту и не желающая никаких перемен нация. А так как надо иметь какие-то

идеи и за что-то голосовать, будем же левыми, любить рабочих и не любить капиталистов, они бяки.

И, сидя где-нибудь в кафе на бульварах, я рассказываю обо всех этих ужасах своим москвичам, и они только иронически улыбаются. Иногда, больше для приличия, спрашивают: «Ну, а клошары?» Клошары! Самые счастливые в мире люди, как сказал мне как-то все тот же Витя Гашкель. Никаких у них забот, налогов не платят, о квартире не думают, свою бутылочку вина всегда имеют, муниципальными выборами и русскими диссидентами не интересуются, живут как птицы небесные. Раз в год полиция подбирает их в метро, моет в бане, дезинфицирует портки, и опять на все четыре стороны, парижская достопримечательность!

Ну а похищения, убийства, ограбления банков, музеев, бомбы, наконец? Таки плохо... И похищают, и убивают, и грабят, и поезда сходят с рельсов, и самолеты разбиваются, и засухи даже бывают, как этим летом. Но обо всем этом пишут и говорят во всеуслышание, и убийц судят и приговаривают к каторге (а женщины кричат: «Мало! На гильотину!»), а после засухи продуктовые магазины так же ломаются от яств, как и до нее.

Москвичи больше не задают вопросов. Вздыхают...

Парижане ненавидят автомобили. И чужие, и свои тоже. Горючее дорожает, пробки на улицах, часами ищешь, где бы припарковаться — «Ну ее! Загоню! Буду на метро ездить!» — но не загоняешь, надо же на уикенд вырваться из этого чертова Парижа, воздухом подышать. И вот в пятницу вечером миллионный поток машин, сверкая фарами (зрелище фантастическое), устремляется за город, в свои виллы, поместья, домики, халабуды — у каждого парижанина где-нибудь что-нибудь да есть. А в

августе (весь Париж, точно сговорившись, срывается именно в августе) рвутся на юг, и на дорогах десятками километров стоят застрявшие в пробках, embouteillages,^[42] машины, и опять же: «В последний раз! Поездом! Самолетом!», а на следующий год то же самое, и к концу недели бюллетень — столько-то убитых, столько-то раненых...

В каждом городишке, местечке, задрипанной дыре с какой-нибудь тысячей жителей — обязательно автомобильный салон (как и antiquites, антикварная лавочка), а то и два, и три. Нет, французы действительно ненавидят автомобили!

Мы с другом, бывшим киевлянином, шли как-то вечером вдоль моря в маленьком средиземноморском местечке Теуль. К концу прогулки он мне сказал: «Нет, о революции не может быть и речи!» На якорях, в гавани, тихо покачивалась сотня, если не две, таких умопомрачительных яхт, с такими мачтами, с такими деками, такими кнехтами, такими (не знаю я морских названий) сияющими, блестящими, начищенными штурвалами и компасами, что появись одна только из них где-нибудь у нас в Ялте, вокруг нее круглосуточно стояли бы толпы. Я согласился — революция исключена, или Франция состоит из одних миллионеров, или... Ей-Богу, стоит бастовать (профсоюзы-то простой оплачивают, совсем как у нас), чтоб купить себе потом вот эту вот яхту, поменьше.

И еще эпизод. Сидим в кафе на Сен-Жермен. В двух шагах от нас мальчишка лет семнадцати с шарманкой и обезьянкой. Как трогательно и как грустно. Ему бы

⁴² Затор, пробка в уличном движении (франц.).

учиться, а вот приходится таким вот образом на жизнь зарабатывать. Пьем апельсиновый джус и грустим. А шарманка все играет, обезьянка прыгает, мальчик улыбается, чего-то там острит. Становится жарко, припекает. Мальчик стягивает с себя поношенный свой свитерок и бросает его, нет, не на складной стульчик, на который он иногда присаживается, не на землю, а в машину... И в какую! Впрочем, говорят, подержанную машину можно и за несколько тысяч купить...

О, превратности судьбы... О! Безумный, безумный, безумный мир потребления!

А ты говоришь — и дома, и не дома. Яхты, автомобильные салоны, гомосексуальные журналы... Хорош дом! И все же говорю. Говорю, потому что, кроме иллюзии «дома», которую я создаю у себя дома, кроме московских газет («Трудовые коллективы конкретными действиями отвечают на призыв партии...») и ликующе-бодрых голосов дикторов — это уже другие иллюзии, — кроме милых и грустных бесед за столиками кафе с московскими друзьями, когда их, друзей, нет, я продолжаю думать о них, продолжаю думать о доме, в котором так все неблагополучно. О том, почему так много людей лишены того, что имею сейчас я? Хрен с ними, с товарами, с магазинами, — не хлебом единым, как говорится, — но почему до сих пор кладут эту идиотскую подушку на телефон, хотя давно известно, что это ничему не помогает, почему о том, что выходит за рамки работы или магазинных будней, говорят на лестнице или, еще лучше, на улице, озираясь по сторонам? Почему во всех учреждениях на субботу и воскресенье запечатывают семью печатями все пишущие машинки, а копировальные аппараты, которые здесь в каждом универмаге, в каждом почтовом отделении —

один франк лист, — у нас считаются подпольной типографией — тюрьма, и все? Почему, когда я пересекаю здесь границы, я просто не замечаю этого, а там иной раз и в задний проход заглядывают? Почему с таким остервенением врут? Обманывают с утра до вечера? А тех немногих, кто тщетно взывает к несуществующей совести вершителей, обзывают провокаторами и врагами? И все это под барабанный бой, звон литавр. «Барабаны эпохи бьют!» — из бессмертного «Платона Кречета» незабвенного моего Корнейчука.

Брежнева, маршала, с головы до ног увешивают орденами (кажется, только у Иди Амина больше), вручают золотое оружие, которое он обещает никогда не пускать в ход (где? когда? Буденный, что ли?), ставят ему памятник в Днепродзержинске («Есть дни, которые никогда не забываются. Так и этот день...» — сказал на митинге какой-то из работяг-депутатов, избранников народа, лучший из лучших), и на вокзалах и аэродромах старые, больные люди, в пургу и пекло, должны его скопом провожать, и встречать, и улыбаться (...и думать про себя: когда же черт возьмет тебя!).

Недавно я слушал по радио яркое и содержательное, глубоко принципиальное выступление Леонида Ильича (по утрам читаю «Правду», по вечерам слушаю Москву). Вручали орден городу-герою Туле. Через тридцать шесть лет! Почему? Ну, Киеву (не меньше миллиона попало в окружение!) под пьяную лавочку дал сам Хрущев. Он любил этот город, как говорится, освобождал его — ну почему не дать? И дал. Без всякой там даты, летом, с бухты-барахты. Как дал Героя Насеру, бедняжке Бен-Белле, томящемуся где-то в горах Атласа... Ну, Новороссийск, тоже понятно, там Брежнев проявлял

чудеса храбрости, собственным примером воодушевлял... А Тула? Оружейная мастерская? Почему столько лет никто о ней не вспомнил, об этой мастерской? А сейчас даже какого-то Жаворонкова, тогдашнего секретаря обкома, вытащили на сцену, вспомнили. Героя вручили. И на этот раз какая-то уже «оружейница» в «Последних известиях» говорила об этом дне, который запомнится на всю жизнь, дне вручения нашему славному городу-герою...

Кстати, а не настало ли наконец время вспомнить и о реках, морях и горах? Ордена Ленина Эльбрус! Разве плохо? А Волге уж сам Бог велел — ордена Ленина и Октябрьской Революции матушка-героиня Волга!

Ну, а Советский Союз, само собой разумеется, уж он-то действительно заслужил. Тут уж на полстраницы хватит. Ордена Ленина и прочая, и прочая, и прочая, Герой Советского Союза Союз Советских Социалистических Республик. Мне бы за такое предложение премию бы дать, ей-Богу.

Итак, утром «Правда», вечером «Последние известия», где-то посередине «Литературка». Та самая, которую бывший ее сотрудник, а ныне редактор журнала в Тель-Авиве Виктор Перельман неплохо окрестил «Гайд-Парк при социализме» — мели что хочешь (ну, не все), выполнять же необязательно. Что ни говори, но газета все-таки отличается от других. Потолще. Ну, не тридцать две, как в ежедневной «Фигаро», страницы, но все же шестнадцать. И на шестнадцатой есть даже над чем посмеяться. (Говорят, правда, что за «Их нравы: Карл у Клары украл кораллы» кто-то там пострадал. Но не каждую же неделю это случается.) Попадают и интересные статьи. Об отдельных, например, случаях

злоупотребления алкоголем и как с этим бороться. И об архитектуре, городах будущего, и на темы морали, внимательном отношении друг к другу, о человеческом достоинстве.

Достоинство... Сегодня как раз на глаза попалась статья Виталия Коротича,^[43] так и называемая «Достоинство». Напечатана она в номере от января 1977 года.

Есть в ней, в этой статье, такие прекрасные абзацы: «Начав говорить о школе гражданственности, я невольно обратился к высокому, политическому словарю. Но что делать, коль такое простое понятие, как ПОРЯДОЧНОСТЬ, числится в абстрактных и ими не принято выражать личность поэта. А надо бы! Помните, как толкуется это слово в «Словаре русского языка» С. Ожегова? «Порядочность — честность, неспособность к низким, аморальным, антиобщественным поступкам». Об этом пишут редко и застенчиво, но давайте условимся, что порядочность — качество жизненно важное...» Здесь я прерву на минуту писателя. О ком, вы думаете, в статье говорится? О Роберте Рождественском. Так и сказано! «Мне кажется, Роберт Рождественский вполне им (этим качеством то есть) наделен». В другом месте сказано: «Репутация его утвердилась, и, хорошо зная поэта, я всегда радуюсь постоянству его критериев, четкой гражданственности позиций, занимаемых им. Написав много лет назад «Это будет честная жизнь», Роберт Рождественский следует провозглашенному лозунгу...» И в конце: «...Мне в нем близко и дорого то, что он всегда

⁴³ Стр.291 Коротич — Виталий Алексеевич Коротич (род. в 1936), русский, украинский поэт и общественный деятель.

верен избранному пути, всегда определенен, последователен».

Вот что нравится, оказывается, Виталию Коротичу в Роберте Рождественском. Верность избранному пути. Не говорится только какому. Да, тому, что он избрал, приведшему в секретари Союза писателей, он верен. Здесь он определенен и последователен. Но оказалось ли это честной жизнью?

Я задержал тебя на этом примере, читатель, не потому, что я не люблю Роберта Рождественского, — лично я его почти не знаю и стихами его никогда не увлекался, попадаются иногда в «Правде», — я привел этот пример, чтоб показать тебе с горечью, как такие прекрасные слова, как ДОСТОИНСТВО, ПОРЯДОЧНОСТЬ, ЧЕСТНОСТЬ, приобретают свое противоположное значение. Жонглируя этими, существующими в этой системе только в словаре С. Ожегова понятиями, люди типа автора статьи «Достоинство» теряют и достоинство, и порядочность, иными словами, совершают антиморальные, антиобщественные (так и быть, не буду уж говорить низкие) поступки.

Да, эти встречи с «домом» не радуют, совсем не радуют. Я вижу, как гибнут люди, в свое время даже и неплохие, как все дороже приходится оплачивать заграничные поездки и прочие блага. Но за это когда-нибудь придется ответить. И руководителям, и руководимым.

Но есть, слава Богу, и другие люди. Не обязательно Сахаровы и Буковские. Люди, которыми мы по праву можем гордиться, люди, без которых Россия не была бы Россией...



Ночь. Я один в большущей комнате. Камин. Над ним узорчатое, в дубовой раме зеркало. В подсвечниках красные свечи.

За окном прямая как стрела улица. Она ведет к замку. Замок немыслимых размеров. Дворы, флигеля, арки, проходы, лестницы. И крутые крыши с высоченными трубами. На башнях флюгера.

Вокруг замка парк. Конца и края нет этому парку — столетние вязы и буки, обросшие плющом, вытянулись вдоль аллей. Им спиливают ветки, их берегут, а они тянутся все вверх, вверх. На них нет листьев, зима, и только кружево их крон отражается в прудах, тонко рисуется на фоне вечернего, чистого неба.

По вечерам я брожу по этому парку, мимо беседок и мраморных нимф, петляю по дорожкам, выхожу к озеру, ветви свисают к самой воде, пересекаю двор. Звенят шаги по гранитным плитам... Бьют часы на башне. Останавливаюсь у лестницы, двумя пологими полукружьями спускающейся вниз. По этой лестнице некогда спустился император. И гвардия плакала. Он прощался с ней...

Сегодня я тоже петлял по этим дворикам, сидел на лавочке, глядел на плавающих в пруду лебедей, до того белых, что даже не верится — может же быть такая чистота, — прошел через тот самый двор, Cour des Adieux,^[44] пошел домой. Купил по дороге что надо к ужину, открыл ключом массивные деревянные ворота,

⁴⁴ Двор прощания (франц.).

поднялся по витой лестнице к себе. Сел за стол. Зажег лампу. Взял книгу, и...

...История эта началась в исправительно-трудовой колонии северного города Н., в местах прекрасных и строгих.

Был вечер после трудового дня. Люди собрались в клубе.

На сцену вышел широкоплечий мужчина с обветренным лицом и объявил:

— А сейчас хор бывших рецидивистов споет нам задумчивую песню «Вечерний звон»!..

Так начинается печальная история про Егора Прокудина, героя повести «Калина красная» Василия Шукшина.

И просидел я всю ночь и читал Василия Шукшина. Васю Шукшина...

В первом томе «Избранных произведений в двух томах», купленном мною на рю де Бюси, в магазине «Глоб» за сколько-то там франков (а в Москве двухтомник стоит сейчас на черном рынке сорок рублей), с первой страницы глядит на меня немолодой уже человек с невеселыми под крутыми дугами бровей глазами, тремя морщинами на лбу, жилками на висках, резкими складками у рта, плотно сжатыми губами. Усталый человек... Когда снято, не знаю. Очевидно, в последние годы. Тогда я его уже не знал или почти не знал.

Знал я его молодым, когда ему не было и тридцати. Все было впереди...

Марлен Хуциев закончил свой второй фильм «Два Федора» и привез его сдавать в Киев (снят он был на Одесской студии) в Министерство или, может, это тогда называлось Комитет по делам кинематографии. Нужна была помощь, и я был приглашен (тогда я еще что-то значил) эту помощь оказать.

А через несколько дней Марлен праздновал свой день рождения. В гостинице «Украина», где жили он сам, оператор и директор картины, актеры же размещались в «Театральной», возле оперного театра.

Выпито было прилично, картину приняли с минимальными потерями (мрачность, иными словами достоверность, атмосферы удалось отстоять, и на вопрос «А почему дети без пионерских галстуков?» тоже что-то ответили), все были веселы, поздравляли именинника, потешались над кинематографическим начальством, наливали еще по одной, а так как в номере нечем уже было дышать, выходили на лестницу покурить. Там-то, на лестнице, я и столкнулся с Васей, молодым статным парнем в гимнастерке и сапогах. Был он, скажем так, чуть более чем навеселе. А потому разговорчив.

Не помню уже, о чем мы говорили (я тоже кое-что принял), помню только, что стояли мы долго, потом опять выпили, опять вышли на лестницу. Поразила меня тогда в нем какая-то напористость, бьющая через край, и в то же время какая-то застенчивая искренность. Он и по фильму мне понравился (смотрел я дважды), замкнутый, грубоватый и трогательный, неразговорчивый, а тут вдруг разговорился. Что-то его мучило и в то же время радовало, и чего-то ему не хватало, и чего-то не находил. Курил сигарету за сигаретой, сплевывал

поминутно табак, и глаза вдруг начинали сиять, ходили желваки... Потом опять пили...

Кончилось все тем, что мне пришлось на такси отвезти его в «Театральную» и на собственном горбу вволакивать его на четвертый этаж. Было это мне нелегко. «Тяжелый товарищ», — острил я потом, наутро, когда Марлен спросил, ну как мне понравился в жизни его Вася. Сам Вася был угрюм, смущен, не смотрел в глаза и вообще оказался человеком на редкость неразговорчивым.

Эту встречу помню хорошо, врезались в память — лестница, вернее две лестницы, в «Украине» и «Театральной», возбужденный вечером и похмельно-сумрачный Вася на следующее утро. Второй встречи не помню, очевидно у Марлена дома, в Москве. Вася влюбился в Марлена, как влюбляются ученики в наставников, и дневал и ночевал у него, приглянулся жене, теще, помогал по хозяйству, ремонтировал табуретки, стулья.

Там, в Москве, мы и сдружились.

Много и часто пили, мы тогда этим делом увлекались; Вася был дико застенчив, краснел, как девушка. Я не встречал больше в жизни человека, который так заливался бы краской, моментально, до ушей. Был ли он красив? Мне кажется, что да. Той простой деревенской красотой — открытое лицо, серьезный, внимательный взгляд — глаза сидели глубоко, всегда ясные, даже во хмелю, — крепкая шея, и вообще весь какой-то ладный, в туго подпоясанной гимнастерке, галифе, сапогах. Похожий на своих будущих героев — лихих шоферюг с алтайского тракта.

Пытлив был невероятно. Всем интересовался и все искал правду. И очень стеснялся своей нешибкой, как он говорил, культуры. Почему-то запомнился он мне, резко и четко, как на фотографии, в один из вечеров, когда после обычного в те дни возлияния он погрузился в кресло и стал листать Библию. Это было у моих друзей, которые его тоже полюбили, но, будучи немного культуртрегерами, подсовывали ему нужные книги — пусть читает, надо ему книги читать. Вряд ли кто-нибудь из нас тогда думал, глядя на него, с головой окунувшегося в Книгу книг, что лет через десяток его собственные книги будут нарасхват, а я всю ночь буду читать и перечитывать его рассказы в такой далекой от его Алтая Франции.

Его невозможно было оторвать от Библии, даже приглашением к столу.

— Да... Вот это книга, будь оно неладно... Книжища...

И потом, сидя все же за столом, повторял и повторял:

— Ну и книга... Железо! — и смотрел куда-то поверх нас.

Потом мы поссорились. Это было через год или полтора. Глупая, ненужная была ссора. Не хочется и вспоминать о ней. Долго не виделись. Встретились в Киеве. Он приехал туда, очевидно, на какую-то кинопробу и решился все же позвонить мне. И встретились мы в той самой «Украине», где и познакомились.

Он малость повзрослел, как-то окреп внутренне, но в то же время был какой-то встревоженный, чего-то все недоговаривал.

После второй или третьей рюмки вина («Давай вино, Платоныч, пить... Ну ее, водку») вдруг прорвало его. Мялся, мялся и бухнул:

— Повесть я написал, Платоныч... Ругать не будешь?

Вот это да! Где-то, когда-то, в каком-то полупьяном разговоре признавался он мне, что «к этому самому, к писанию тянет...» Ну, давай, тянись, сказал я что-то в этом роде и тут же забыл. Актер он был хороший, во втором фильме уже снялся, и все мы его видели актером. И вот, пожалуйста, повесть.

— О чем же она, твоя повесть?

— О жизни, о чем...

— Какой же?

— Деревенской, какой же...

— Где же она, повесть-то?

— Здесь, в портфеле. — Он повернулся к портфелю и вытащил оттуда нечто толстое и растрепанное.

Я взял в руки.

— Не многовато ли для начала?

— А Бог его знает. Такая уж написалась.

— Ну а дальше что?

Он, как обычно, залился краской.

— «Октябрь» вот берет. Товарищ Кочетов...

— Что??!

— Он мне уже и прописку в Москве устроил. Под эту повесть.

— Ты спятил...

Он еще пуще покраснел.

Я вскочил.

— Забрать! Немедленно забрать!

Без лишней скромности скажу — это был знаменательный день для русской литературы. И самая большая моя заслуга в ее истории. Клянусь!

Повесть я Васе не вернул. Отправил в «Новый мир» Асе Берзер, от нее все зависело в этом журнале. Повесть она прочла, увидела, что парень кое-что может, но для печати не взяла (кажется, это были «Любавины»), попросила, если есть, принести рассказы. Вася принес. Ася прочла и тут же дала в номер. Так родился писатель Шукшин.

А Кочетов, говорят, лютовал, велел отменить прописку, но было уже поздно — в паспорте стоял штамп.

И стал Вася писателем. И режиссером. Окончил ВГИК. Дипломная работа его «Живет такой парень» была одной из лучших советских картин тех лет. Привольная, веселая, трогательная и по-настоящему добрая — другого слова не нахожу. В картине этой родился и Куравлев. Родился он, правда, в «Мичмане Панине», но в этой картине прогремел.

Не помню уже, что было раньше, защита диплома или наше сидение в «Украине», думаю, что защита была позже. Волновался он на ней невероятно. Даже похудел как-то, осунулся. И вообще не похож был на себя. В

темном костюме, в белой рубашке, с ненавистным ему галстуком. Нет, не шел ему городской костюм. Гимнастерка, сапоги — это его...

Потом, на чьей-то квартире, вспрыскивали его «отлично». Когда я пришел, он уже лыка не вязал.

И долго мы опять не виделись.

О нем стали писать, стали спорить. Многие считали его «почвенником», русофилом, антиинтеллигентом. Подозревали и в самом страшном грехе — антисемитизме. Нет, ничего этого в нем не было. Была любовь к деревне, к ее укладу, патриархальности. Себя самого считал вроде предателем, изменником, променял, мол, деревню на город. И казнился. И... постепенно становился горожанином.

Последний раз по-настоящему мы виделись не помню уже в каком году. Сидели в «Марсе» на улице Горького, и я пил коньяк, а он кофе. Он был в зените своей славы. Но оставался таким же, для меня во всяком случае.

Встретились мы почти случайно. Я что-то делал в издательстве «Советский писатель» в Большом Гнездиновском и оттуда позвонил Асе Берзер в «Новый мир».

— А у меня тут Вася, — сказала она мне по телефону.

— Ох! Задержите. Я мигом.

Застенчивый Вася не стал ждать меня в редакции — придут тут всякие, начнутся разговоры, — прохаживался у подъезда, чуть в сторонке. Выглядел плохо.

Потом за столиком в «Марсе» говорил:

— Ты поймешь меня, Платоныч, не можешь не понять. Пить не пью, а веселее не стал... Ну почему русские пьют, почему?

— Потому что вкусная она, — попытался я состричь.

Он даже не улыбнулся.

— Вот бросил, Платоныч, пить и что-то отрезал я в себе. Точно руку или ногу. Лишился чего-то. Даже не чего-то, а точно знаю чего. Людей лишился, своих людей. Общества, если хочешь. Ну, есть у меня жена, хорошая, люблю ее. И детей люблю. По-настоящему люблю. А вот поговорить... Не в ЦДЛ же, не в ВТО... Бывало, зайдешь в кабак, нет, не в этот, а в простую забегаловку, рыгаловку обычную, гадюшник, подсядешь к столику... И такое тебе расскажут, такое разрисуют... Да ты пей, Платоныч, не стесняйся, я при деньгах, а я свой кофеек, по-интеллигентному, отпил уже свое...

Он прихлебывал кофе и курил сигарету за сигаретой.

— И лишен я теперь этого. Лишен теперь того самого общества, не профессоров там всяких и лауреатов — ты не обижайся, ты не лауреат, — а тех самых, с кем у меня общий язык, Ванек и Петек, калымщиков, не подсядешь же к ним трезвый, за стукача примут. А с ними мне просто и ясно... А Сергей Аполлинариевич — грех мне на него роптать, многим я ему обязан, — да разве мне интересно с ним выпить? Да ну их всех на фиг, всех этих киношников знатных, обрыдли. С одним Генкой Шпаликовым только и можно, а ему тоже нельзя, видал, как распух?

Он не жаловался на сложности в работе, а они были, не выходило что-то с «Разиным», его заветной

мечтой, снимался в каких-то ненужных картинах, играл хорошо, но картины были ненужные. Об этом не говорил. Его съедала человеческая тоска. И ложь окружающая.

— Поверь, Платоныч, я не лучше других. Самый что ни на есть обыкновенный человек. Со всеми там минусами. Пьяница, невоздержанный, иной раз срываюсь. Грешен, что и говорить. Но одного не переносу — вранья. А все врут. Все! Только Ася наша Берзер, Анна Самойловна дорогая не врет. Да, может, ты... А остальные все врут, делают вид, пыжятся. Коммунизм, мол, строим, светлое будущее... Где оно, это будущее? И прошлое, и настоящее вчистую пропили, а они про будущее... Тошнит, Платоныч, ух как тошнит... На рвоту тянет.

Грустный это был разговор, последний наш разговор по душам. Потом он снимался у Герасимова, того самого Сергея Аполлинариевича, получил за это даже премию, потом в «Освобождении», в лысом парике изображал Конева... Зачем? И тут же делал замечательные фильмы: «Печки-лавочки», «Странные люди», «Калину красную». Свою лебединую песнь...

Виделись мы с ним потом, мимоходом, один только раз. Он читал свои рассказы в Доме литераторов. Замечательно читал, просто, ясно, не по-актерски, а по-человечески. И сидел за столиком, на эстраде, нет, не в гимнастерке, он давно перестал ее носить, а в каком-то затрапезном пиджачишке, в рубашке без галстука, но не расстегнутой, а на пуговке. Ему много и долго аплодировали. Он раскланивался, слегка кивая головой, мол, понимаю, знаю, спасибо, стоит ли...

Потом где-то в проходе, около раздевалки, столкнулись нос к носу. Он вроде бы обрадовался. Стиснул в объятиях, так что хрустнуло во мне что-то...

— Эх, Платоныч, Платоныч... — и опять стиснул.

Рядом была его жена в каком-то очень мохнатом пальто. Познакомил с ней. Условились встретиться, обменялись телефонами и на этом расстались.

Больше я его не видел.

О смерти его узнал уже в Париже, от Марлена Хуциева...

До сих пор не могу отделаться от мысли — а не наложил ли он на себя руки? Принял лошадиную дозу снотворного, и всё, с концами.

А если не снотворное, то все окружающее. Не выдержало сердце.

В общем-то я его не знал в последние годы. Человек он был кристальной (прошу простить меня за штамп, но это так, другого слова не нахожу), кристальной честности. И правдивости. В его рассказах, фильмах, ролях ни признака вранья, желания схитрить, надуть, обмануть. Все правда. И талант заставлял эту правду глотать. Даже тех, кому она претила. Глотали ж, глотали...

Но зачем же были ему все эти Коневы, Герасимовы, Бондарчуки, Шолоховы? Говорят, единственное, что можно смотреть в «Они сражались за Родину», — это Шукшин. Я не видел, но верю. Он не умел плохо играть. Но зачем это ему было надо?

Я любил его. И он меня, по-моему, тоже. Но что-то нам мешало в последние годы. Мне кажется, он

стеснялся своей премии, своих Коневых. Не мог не стесняться. Я ему несколько раз звонил, когда был в Москве, не заставал. Как-то, когда меня не было в Киеве, откуда-то из Ялты звонил директор картины «Печки-лавочки», просил передать, что Василий Макарович очень хотел бы, чтоб я сыграл какой-то эпизод в фильме. Как выяснилось потом — врача в санатории. И что-то помешало, не получилось. Как я теперь жалею. Сняться в фильме Шукшина, подумать только...

Я эти странички написал в одну ночь.

Взял перед сном «Литературку» (случается и такое), увидел фотографию артиста Юрского, а рядом статью Ф. Комиссаржевского, как выяснилось, об этом самом прекрасном актере, о его исполнении шукшинского рассказа «Сапожки». Статья хорошая, и, видно, Юрский действительно прекрасно читает этот рассказик. А я его не читал. Потянулся за красным томиком на полке (точно предчувствовал, захватил его сюда из Парижа), «Сапожек» не нашел, но в конце увидел — «Калина красная». Тоже не читал, только видел. И не раз, а два или три. Один раз уже тут, во Франции.

...У Егора из-под прикрытых век по темени сползла слезинка, подождала, повиснув около уха, и сорвалась, и упала в траву. Егор умер.

И лежал он, русский крестьянин, в родной степи, вблизи от дома... Лежал, прикинув щекой к земле, как будто слушал что-то такое, одному ему слышное. Так он в детстве прижимался к телеграфным столбам...

Ушел из жизни Егор Прокудин, убили его злые люди.

Ушел из жизни и Василий Макарыч, а для друзей Вася Шукшин. Кто его убил, неизвестно, но убили.

А я сижу в каком-то далеком от всех городе с длинным названием Фонтенбло, держу в руках книжку в красном переплете, смотрю на усталое, усталое лицо Васи Шукшина, друга моего Васи Шукшина, и что-то во мне дрожит, и слезы текут по щекам...

До чего же длинный переход на станции метро «Франклин Рузвельт». Немыслимо длинный. Идешь, идешь, направо, налево, прямо, опять направо, опять налево... А где-то впереди музыка... Ближе, ближе. За поворотом смотрю — двое. Виолончель и аккордеон. Один черненький, тоненький, бородатый, другой — волосы до плеч, в свитерочке. На земле перед ними шапка, картуз. Бросают франки, довольно бойко. Человек десять, как и я, остановились, слушают. Хорошо играют. Что-то серьезное. Не знаю только что. И кто кому аккомпанирует, тоже не знаю. Виолончелист без смычка, щиплет струны пальцами, как на арфе. До сих пор звучит в ушах их музыка.

А напротив — во всю стену плакат. Жюльен Клерк. Певец. Во Дворце спорта. Молодая, улыбочатая, многозубая физиономия. Кудри до плеч. Такой же, как эти ребята. Только он во Дворце спорта, а они в метро «Франклин Рузвельт»...

Ах, ах, вздыхает моя жена, видишь? Вижу, говорю я, но сколько раз я тебе говорил, ребята собираются в Непал, там новый гуру, проповедник, появился, вот и собирают деньги... А рядом, как нарочно, почти вплоты к Жюльену Клерку реклама какого-то «Анти-клуба» — река Меконг или какая-то другая, а на ней джонка. И довольно мелкими буквами: Париж — Бангкок — 8 дней

— 3200 франков, Париж — Гонконг — 11 дней — 3800 франков... Мое месячное «континентское» жалованье, плюс у сына, Витьки, 800 франков одолжу — и в Гонконг! А? Теперь мне это куда легче сделать, чем в свой киевский гастроном сбегать за батоном к чаю...

Постоял я, бросил свой франк и пошел дальше... Нельзя больше стоять, тороплюсь на встречу с тобой, читатель. Давно уже пора прогуляться нам с тобой по Парижу. Но все, как говорится, недосуг. То Испания подвернется, то норвежский домик со своей библиотекой. Потом, после Норвегии, две недели в Израиле, а между ними еще несколько дней во Франкфурте — книжная ярмарка, тоже есть о чем поговорить, о советском павильоне, например. А до Испании еще Амстердам («Ночной дозор» Рембрандта, музей Ван Гога...) и совсем не мертвый, слишком даже не мертвый (смерть туристам!) Брюгге с почти неведомым нам Мемлингом.

Но сейчас мы в Париже. Стоит, блядь, мессы. Ей-Богу, стоит. И не сердись на меня, друг, за прорвавшееся словцо, вряд ли знал его Генрих IV, но в устах одного моего друга (не скажу какого, все этого барда знают) оно прозвучало так к месту и не вульгарно, что я на минуту подумал, а не назвать ли мне так свои записки. Но вовремя одернул себя. Хотя, если уж говорить о названиях, то, ей-Богу, нисколько не хуже хемингуэевского «Праздника, который...».^[45] Ладно, хватит, точка. За мной...

⁴⁵ Стр.302...ей-Богу, нисколько не хуже хемингуэевского «Праздника, который..... — Свои впечатления о Париже (1985 г.) Некрасов назвал «Праздник, который всегда и со мной». «Знамя», 1990 г., № 5.

Ни в какие музеи заходить не будем, просто доедем до Конкорд, от «Франклина Рузвельта» две остановки, там пересядем на direction Marie d'Issy^[46] и вылезем на рю дю Бак.

И дальше не торопясь, разглядывая витрины, останавливаясь у газетных киосков, сворачивая в боковые улочки, возвращаясь назад, пойдём по бульвару Сен-Жермен в сторону Буль-Миш, бульвара Сен-Мишель.

Сен-Жермен, самый, самый что ни на есть парижский бульвар. По нашему понятию это, конечно, просто улица (бульвар — это бульвар Шевченко в Киеве, аллея тополей посередине улицы, отгороженная решеткой, или Леси Украинки — это бульвары...), здесь же скромные липы вдоль тротуара, и вообще не верьте парижанам — у них есть avenue Franco-Russe — три дома слева, три дома справа — вот и всё. (Правда, в Ялте есть проспект Павленко — тупичок метров сто длиной...) Растут себе, значит, скромные липки, по одну сторону они, по другую магазины. С москвичками ходить невозможно. «Не отворачивай голову, когда с тобой разговаривают, шею свернешь». — «Ну и сверну, что поделаешь». И не слушает меня, не может оторваться от... От чего? От всего... Не будем разглядывать «шмотки» (оставим их какой-нибудь женщине-писательнице, у нее лучше получится), глянем лучше на то, от чего я сам до сих пор млею.

(Читатель, примиришься с тем, что ты сейчас обнаружишь, — я впал в детство... Совершенно серьезно, в определенном возрасте это наблюдается. По-французски называется *tomber en enfance*. Так вот, я

⁴⁶ Направление Мари д'Исси (франц.).

впал в enfance, и впереди тебе не раз придется сталкиваться с моим впадением.)

Корабли... Корветы, фелюги, каравеллы, клиперы, фрегаты, крейсера, авианосцы. Продаются в больших коробках с картинками такой реалистической, будоражащей кровь силы, что хочется тут же, немедленно, купить весь флот. Это желание — купить все — возникает и при созерцании всех марок существующих автомобилей — нет, не в салонах «Рено» и «Фиат» на Елисейских полях, я не хочу больших автомобилей, это хочет сын — я хочу маленькие, и маленькие мотоциклы, и паровозики, и электровозы, и спальные вагоны не существующего уже Orient-Express^[47] (Агата Кристи!), и «боинги», «миражи», «фантомы»... В Японии, говорят, даже «МиГ-25» есть.

Стоит всего два доллара. Здесь его нет, и я купил «раму», «Фокке-вульф» 189 А-2, ту самую, которую по утрам мы так ненавидели в Сталинграде, проклятый, все видящий, все снимающий рекогносцировщик-корректировщик.

Все вышеупомянутые корабли надо клеить самому. Об одной из таких Санта-Марий я как-то написал рассказ. Как привез я из Америки одному мальчику такую каравеллу, как с его папой мы долго ее клеили, а потом мальчик со своим товарищем стали играть в мяч, и каравелле крепко тогда досталось. У рассказа есть теперь продолжение. Оба мальчика выросли, у обоих теперь окладистые бороды, и вот один из них, оказавшись в Америке, решил искупить свою вину — прислал мне из Лос-Анджелеса такую же точно

⁴⁷ Восточный экспресс (англ.).

каравеллу. Через десять лет. Сейчас она украшает шкаф одной, увы, забывшей меня киевлянки. А вообще они, эти каравеллы, украшают не только шкафы, они украшают жизнь, поверьте мне...

Солдатики... Всех национальностей и всех эпох. У нас на Родине этот вид развлечения не популяризуется (каких делать солдатиков? Советских и каких? Кто с кем будет воевать? И кто победит? А вдруг не наши?), здесь же есть все, начиная от римских легионеров и наполеоновских гренадеров до... советских пехотинцев. Правда, на них можно разориться. Какой-нибудь маршал Даву или Ней (а есть и они) может стоить и сто, и двести франков.

Вчера в нашем доме был двойной праздник — 2 февраля — десять лет внуку, Вадику, и 34-я годовщина окончания Сталинградской битвы. Мне подарили солдатиков, идущих в атаку, и маленькую стреляющую пушку. Вадику же... Всего и не перечислишь. И какой-то электрический автодром, и авианосец «Клемансо», и набор чего-то оптического (мама с бабушкой, конечно, ничего лучшего не нашли, как купить шорты и кеды...), и верх ребячьего восторга (конечно, я придумал) — маска президента Французской республики Валери Жискард д'Эстена. Ее рвали из рук в руки, все примеряли и конечно же фотографировались. Я с грустью смотрел на это... Подумать только, я просто зашел в магазин, где продают всякие забавные нелепости, и спросил — combien coute Giscard? — почем Жискард? — тридцать шесть франков — ответили мне. Представляете себе такую же картинку в Москве — почем Брежнев?

Но свернем на одну из боковых улочек, ведущих к Сене, на рю Бонапарт, или рю Сен-Пер, или рю де ла

Сен. Старинные вещи... В этом магазине все морское: карты, астролябии, компасы, секстанты — полный набор Жюль Верна. В этом — оружие. Всех веков, кавалерии и инфантерии. И все настоящее. Панцири, шлемы, хвостатые каски, самурайские и Карла Великого мечи, шпаги, сабли, рапиры, пистолеты и арбалеты, мушкеты и мушкетеры. И бешено дорогие. Немецкая серая каска со шпирцем, периода первой войны, — шестьсот франков — прекрасное дамское пальто.

Магазины кукол — опять всех веков и народов... Магазин марионеток — нет, не Ли Сын Манов и Тхэу, а арлекинов и пьеро. Магазин будд, тотемов и африканских божков из эбенового дерева (вспомнился писатель Вадим Кожевников, привезший из Китая, по словам его жены, «мешок Будды»). Магазин морских чудищ — сушеных осьминогов, звезд, морских коньков и монстров — маленьких каких-то акул с открытым ртом, очень похожим, говорят, на мой. когда мне вырвали зубы, чтоб вставить новые, прекрасные. Магазин птичек, попугаев и колибри... Собачий магазин... Но это уже мы попали на набережную Сены, возле Пон-Неф. А если перебежать улицу, над самой Сенной, вдоль каменных парапетов — букинисты!

Букинисты!!! (восемь восклицательных знаков). Час, два, пять, десять, можно целый день бродить, разглядывать, листать, прицениваться, торговаться, уходить, возвращаться, опять торговаться и наконец купить «L'Illustration» за 1916 год (Верден!), «Signal», немецкий журнал, издававшийся во Франции в годы этой войны (присланные мне из Парижа номера, посвященные Сталинграду, хранятся в архивах КГБ, отобрали при обыске), открытки с видами Парижа времен Сары Бернар, картинки, гравюры, портреты киноактрис вплоть до Мери

Пикфорд и Пири Уайтт, когда они были еще хорошенькими, карты, ордена, деньги, марки (это, правда, лучше покупать по субботам и воскресеньям на рынке неподалеку от Champs Elysees^[48]), ну и книги, книги, книги... Книги, книги...

Стоп! Остановись, несчастный! Французы тебя на смех подымут. За это вот все, что ты написал... Зулусы приехали!

Витрин не видали, рты раззявили. Да, не видали! Да, раззявили! Да, дикари, скифы мы с раскосыми и жадными глазами. И всё хотим купить. И покупаем. Не так, правда, как эмиры с Персидского залива и их жены, но приходите как-нибудь на Gare du Nord к отходу московского поезда — зрелище, достойное кисти не знаю кого, не было такого художника... «Нет, нет, проводник не пропустит», — с тоской и ужасом во взоре стонут уезжающие, глядя на эвересты своих чемоданов, и тут же жалобно: «Знаешь, сколько заказов? Тому то, тому то. Без этого не приезжай. Одних джинсов на пол школы. О таможене и думать боюсь. Третью ночь снится...» А раскормленный, рыластый проводник только ухмыляется, знает все наперед, ждет, когда потная, потерявшая от волнения голос хозяйка всех этих памиров сунет дрожащими руками полста, а то и побольше ему в карман. Прожженные бестии, за своей пол-литрой тоже небось жалуются: «И тому надо, и тому надо...»

Да, книги, книги, книги...

Есть такой магазин FNAC. На рю де Ренн. Я боюсь его как огня. И как кролик в пасть к удаву. Где бы я ни

⁴⁸ Стр.305 Champs Elisees — иногда Некрасов использует кириллицу: Шанз-Элизе, Елисейские поля.

оказался, ноги всегда приводят меня в конце концов к нему — в этот трехэтажный, будь он трижды проклят, магазин, где книги на двадцать процентов дешевле. Вот и несут туда ноги, сами сворачивают на рю де Ренн.

Счастье, что у меня еще плохо с французским языком. Говорю об этом без тени улыбки. Ограничиваюсь пока книгами с картинками — фотоальбомами, путеводителями, справочниками, словарями и — о-о-ох! — по искусству. По искусству... Жить не хочется, когда видишь эти чудеса полиграфии, одной рукой и не подымешь. Я не говорю уже о всех Микеланджелах, Босхах и прочих Матиссах, а «Франция поверх крыш»? Летал, черт, на самолете со своим «каноном» над всеми Бургундиями, Пикардиями и Нормандиями и нащелкал, гад, так, что дух захватывает. А «Любимый Париж» («Paris que j'aime»)? А такая же любимая Флоренция, Венеция, Севилья, половина городов Европы? Ночной Париж... Таинственный Париж... Старый Париж... Мосты Парижа... Париж вчера и сегодня... Уходящий Париж... Стон рвется из моей груди. Сам хватаю себя за руку. Не надо! Не надо! И уже у кассы...

А детские книжки! Все эти Алисы в Стране Чудес, братья Гримм, Перро, русские сказки (Билибин!), шотландские, восточные, норвежские... И в немыслимом количестве комиксы.

О них, о bandes dessinees,^[49] отдельный разговор. Считается, что это гибель для детей. Начинается, мол, с комиксов и, минуя книги, кончается телевизором. А читают все, от мала до велика; стесняясь, подсмеиваясь над собой, но читают. Вот и я влип. Ах, куплю для Вадика

⁴⁹ Комиксы (франц.).

— купил и не смог оторваться. Увлёкся абсурдными историями — а я-то думал, что только стрельба и погони, — и не замечаешь, как время летит... Техника рисунка безукоризненна. От традиционной диснеевской до прекрасного иллюстративно-графического реализма, лаконичного, броского, с лихими ракурсами, полными динамики.

Рухнул я, взяв в руки «Необыкновенные похождения Адель Блан-Сек» — «Адель и чудовище»... Начинается все с того, что 4 ноября 1911 года, в Музее естествознания парижского Ботанического сада, в 23.45 вылупился из яйца цыпленок ихтиозавра. Вылупился, разбил окна и стал летать по Парижу. Подняты на ноги все, вплоть до Клемансо и Армана Фальера, президента республики. Газеты задыхаются от сенсации. Монстра видели там-то, он похитил того-то и того-то, кто-то его даже сфотографировал. А тем временем в Лионе... И пошло накручивание.

Фантазия у авторов неиссякаемая, но для меня прелесть всех этих нагромождений в самих рисунках. Очень конкретных, привязанных к месту. Узнаешь дома, улицы Парижа, Лионский вокзал, Jardin des Plantes, Pont-Neuf, и сделано все с превеликим знанием топографии и прочих городских архитектурностей, соткано из мельчайших деталей тех, бэльэпошных лет — такси, вывески, газеты, моды... Первый класс! Все вместе я назвал бы документальной фантастикой — милый моему сердцу жанр. Текст и рисунки Жана Тарди, надписи и цвет — Анны Делобель. Жму им руки. Покорили.

Но допустим, все это развлечение, всякие эти Адели, похождения пиратов, сыщики и разбойники, но в

таких же картинках, и отличнейших, «История Франции». Ну как ее не выучить. Сама в рот лезет. На прилавках появились крестовые походы. Куплю! Ну а заодно и новую Адель — «Демон Эйфелевой башни»...

Что подделаешь, *tomber en enfance*...^[50]

(Донос членов семьи: купил не только «Историю Франции» и эту идиотскую Адель, а еще и «Похождения лейтенанта Блюбери», где от сплошной стрельбы и всех этих «Vum!», «Bzzzt!», «Rumim!» голова кругом идет. И продолжает утверждать, что рисунки его, видите ли, пленили. Не меньше ста франков потратил, а тут соображаешь, как подешевле кофточку купить.)

Согласен! Виноват! Каюсь! Взорвать бы этот FNAC к чертовой матери! Подговорить, напоить бы какого-нибудь террориста — давай туда со своей бомбой. И что же? Ноги уже несут на угол Сен-Жермен и Сен-Бенуа в магазинчик поменьше, но не хуже. И таких «не хуже», думаю, не меньше тысячи в Париже, а то и побольше.

Но нет, мы не зайдём в магазинчик «не хуже» (называется он, кстати, «Hupе»), Бог с ними, со всеми этими комиксами, все мозги прожужжали, спасу нет, мы пойдём в «Deux Magot». Это рядом, сядем за столик где-нибудь в уголке, где потише, закажем кофейку, две порции *Croq'monsieur* (зажаренную в гренках яичницу с ветчиной) и тихонько себе побеседуем. О Париже... «Deux Magot» — место знаменитое. Сейчас слава несколько приупала, но в период Сартра и Бориса Виана здесь собиралось все самое интересное, философски-бурлящее в Париже, здесь и рядом, в кафе

⁵⁰ Впасть в детство (франц.).

«De Flore», родился знаменитый экзистенциализм. Не миновал этого уголка и Хемингуэй. Теперь же назначаю друзьям свидания — я.

Закурим по «Голуаз» и поговорим, значит, о Париже. Как таковом. Постараемся избежать банальностей, как то: древний и вечно молодой, красивый, притягательный, мечта и центр художников, жемчужно-перламутровые закаты, хотя это и действительно так.

Десятилетний Вадик, сидя как-то в такси и глядя по сторонам, сказал: «Маленький город, но хороший!» Я в этом «маленьком» городе прожил уже два с лишним года.

Какие-то районы знаю хорошо, какие-то люблю, какие-то нет. На моих глазах вторгалось уже и вторгается немало чужого, чуждого (только что открылся Центр Помпиду в Бобур, истинными парижанами встречен был в штыки, ну а как была встречена Эйфелева башня?), разрушаются, сносятся старые дома, нет больше «Чрева Парижа»^[51] — Les Halles, громадную дыру, «trou», на его месте до сих пор не знают, как и чем заткнуть, гибнут, сохнут старые деревья (газы, отходы!), заболели чем-то неизлечимым и были выкорчеваны старые липы на Place des Vosges, и все же... Дух, душа этого немолодого, но всегда юного (ай-ай-ай, и не стыдно?) города все та же.

Есть в нем, в этом городе, одно качество, которое ощущаешь с первой же минуты, первой секунды. В нем легко дышится. И сразу в нем становишься своим.

⁵¹ Стр.309 Нет больше «Чрева Парижа»... — снесенный центральный парижский рынок.

Можешь быть в чем угодно — в рваных штанах (ну, это модно, допустим), в бурнусе, сари, горностаевой мантии, просто в трусах, никто на тебя не обернется (только я оборачивался), никто к тебе не подойдет. Единственно, что осуждается, это если ты войдешь не в те двери в автобусе — вот тут осудят все.

Дух свободы! Вот чем дышишь в Париже. Посмотрите на прохожих, на эту парочку, сидящую на скамейке, а то и просто на траве, на работягу, принимающего свой аперитив у стойки, на школьников, бегущих из школы, на ярмарочного зазывалу, да, наконец, на этих пташек возле Пигаль — как естественны, непринужденны, по-парижски грациозны они. Только возраст, природный стыд и плохой французский останавливают меня, чтоб не пригласить вон ту, в высоких, выше колена, сапогах к столику, думаю, тем для разговора нашлось бы больше, чем, ну, допустим, с покойной мадам Фурцевой.

Напротив нас, на той стороне маленькой площади, на паперти Сен-Жермен де Прэ, старейшей парижской церкви, какие-то юнцы в масках разыгрывают средневековую мистерию. Стоит небольшая толпа, хлопают. А кончат они, появится фокусник. Смейтесь не смейтесь, но я не меньше часа стоял возле него и терялся в догадках, как он все это делает, а главное, почему его никто не гонит. Не гонят и художников, расставивших вдоль ограды, чуть подальше, увы, не очень-то оригинальные, такие же, как на Тэртр, на Монмартре, картины, не гонят и труппу молодых акробатов, кувыркающихся прямо на тротуаре (нарушая порядок и движение пешеходов!), и пожирателя огня, горячей пакли — никого не гонят... А в Киеве молодой, здоровый дружинник с красной повязкой вырывает из

рук жалкой старушки корзинку с фиалками, фиалки в урну (любит чистоту, порядок), а старушке: «Чтоб духу твоего здесь не было, спекулянтка чертова! Марш отсюда!»

Да-да! Я уже предвижу, слышу ваши возражения. Вы уже побывали на Пигаль, заглянули в секс-шопы, ахнули, развели руками, а может, и плюнули, возможно, даже и фильмец какой-нибудь «порно» посмотрели. Ну как же это можно? А вот, оказывается, можно. Крутят себе эти самые «порно», кто хочет, смотрит, кто не хочет, не смотрит. И никакого ажиотажа, никаких очередей, залы почти пустые. Не могу сказать, чтоб я был в особом восторге от этих фильмов — слишком уж все долго и однообразно, — а вот на американский «Секс о'клок» пошел бы и еще раз. Авторы фильма (он документальный) сидят в крохотной квартирке молодой негритянской или пуэрто-риканской семьи, задают вопросы. Рядом в колыбели попискивает дитё. Хозяева мило улыбаются, застенчиво отвечают на вопросы. «Ну как, — спрашивают жену, — как вы к работе своего мужа относитесь?» Та пожимает плечами: «Как? Да никак». — «Но приходит он, вероятно, усталый, утомленный?» Супруги переглядываются. «Да нет, — отвечает жена, — не жалуюсь...» А работа молодого человека заключается в том, что он всю ночь занимается на эстраде любовью, а зрители смотрят... И тут же отвечаю на ваш вопрос — и работу показывают тоже! Ну и что?.. Вот когда великий Пазолини^[52] в своем последнем фильме «Сало», смакующем зверства и издевательства фашистских изуверов, целую часть, которая так и называется

⁵² Стр.310...великий Пазолини в своем последнем фильме «Сало» — в русском прокате фильм назывался «Сорок дней Содома».

«Merde» («Дерьмо»), посвящает тому, как это самое вещество едят из тарелок, а потом, не вытерев ртов, целуются, — вот тут даже я, человек терпеливый и не очень брезгливый, развожу руками. А фильм, нужно сказать, был принят левой, добропорядочной прессой весьма одобрительно. А по-моему, это вне искусства, хотя и Пазолини. И мне жалко покойного режиссера и его адептов. Но запрещать, зачем запрещать?

М-да, — вижу я, как вы переглядываетесь, — странно как-то все у вас получается. Не очень-то прогрессивно. Все-то вам в этом капиталистическом мире нравится. Один только Пазолини не угодил. Вы что ж, за капитализм?

Я за свободу! И больше ни за что! И если выбирать между двумя мирами — тем, где прибыль получает Форд или Рокфеллер, эксплуатируя рабочих и давая им в то же время возможность иметь и машину, и собственный домик (да-да, в рассрочку!), и тем миром, где прибыль идет Бог знает кому, псу под хвост, а рабочий стоит в очереди за гнилыми помидорами и должен за это еще благодарить то отца и учителя, то верного ленинца, — я за тот, первый мир... А в социализм, с каким бы он ни был лицом, спиной или задницей, не верю ни одной минуты. Кто б его там ни делал — Миттеран, Пальме или сам Папа Римский, надумай и он увлечься этой модной игрушкой.

Я за свободу! И больше ни за что! За то, чтоб сесть в поезд, самолет, автокар, дилижанс и поехать куда глаза глядят, хоть на край света, хоть к самому Иди Амину. За то, чтоб русский рабочий, тот же оружейник из города-героя Тулы, не ковал оружия для этого самого Иди Амина, ангольского поэта или мозамбикского

марксиста-ленинца. За то, чтоб ученый, получивший премию Мира, мог подняться на трибуну университета в Осло и получить ее. И в конце концов я просто за то, чтоб подойти к газетному киоску и купить любую газету, которую тебе заблагорассудится, ну а если случайно не окажется «Блокнота агитатора», не обижаться и махнуть рукой, нет так нет... И, взяв в этом же киоске свеженькую «Франс-суар», направиться бесцельно гулять по Парижу...

За то, чтоб гулять по Парижу — всем, кому хочется!

И Генке Шпаликову тоже... Хотя он уже и не может этого.

— Вика, возьми меня с собой. Возьми меня в Париж...

Не взял я тебя, Генка, с собой. И как не хватает мне тебя здесь.

И почему так глупо устроена жизнь? Почему так редко виделись мы в последние годы? Почему?

Я помню последние месяцы нашей неожиданно опять вспыхнувшей дружбы. Долго-долго не виделись, и вдруг ты ввалился среди ночи, в каком-то плащике и, конечно же, на підпитку. Ты изменился, очень изменился. Нет, ты не был Дорианом Греем. Следы не очень правильной, не очень размеренной, разложенной по полочке жизни легко можно было прочесть на твоём лице. Ты, увы, потерял свою былую стройность, но глаза-щелочки были все те же — немножко меньше, чем раньше, но живые, ироничные и грустные.

Я помню эти весенние дни, последнюю мою весну в Киеве. Мы провели ее вместе. Неизвестно почему, но киевская студия Довженко заключила с тобой договор. И

даже заплатила деньги. И за что? За сценарий какого-то фильма о повзрослевших суворовцах, которые приехали на какую-то встречу, перепились, и никаких контактов ни с кем у них не получилось. И вот за это, за этот антисоциалистический антиреализм, тебе выдали аванс.

Ах, Генка, Генка... Я обращаюсь сейчас к тебе (нет, это не литературный оборот, я не буду перечислять твои заслуги, как это делается в юбилейных посланиях Союза писателей), нет, я просто хочу поговорить с тобой, прикоснуться к тебе. Давай что-нибудь вспомним...

Где и когда мы с тобой познакомились? Все у того же Марлена? Ну да. И опять же на каких-то именинах, любил он их, что поделаешь. Нас послали за пополнением. А может, мы и сами вызвались. Мчались по каким-то переулкам, боялись, что закроют магазин... Таким я тебя и запомнил — легким, быстрым, проворным, в эту очередь, в ту, в кассу, веселым, смеющимся. Мальчишка! Мальчишкой ты для меня и остался на всю жизнь.

Нам с тобой тогда было очень весело. Почему? Тебе от молодости, оттого, что работал вместе с Марленом, в которого был тогда влюблен. Мне? Бог знает отчего, может, оттого, что тебе было весело. Ох, как был ты тогда молод, как все у тебя было впереди. И ты верил. И я тогда еще (в сорок-то с лишним лет!) тоже.

А потом? Потом больше пьянствовали... Что бы поговорить об искусстве, о композиции сценария, о построении сюжета, так нет: «У тебя сколько есть? У меня десятка. Так... Заскочим к Люке, он, по-моему, вчера что-то получил. А потом к Лешке». И шли к Люке, потом к Лешке, на Южинский. Кривой переулок, всегда мокрый, в лужах, двор, две тесные комнатки, коридор с

телефоном, на котором всегда кто-то висит. Комнаты принадлежали Лешкиной маме, а она была режиссером у Марлена, поэтому там всегда кто-нибудь да околачивался.

Там же, в одной из этих комнат, и было сочинено (и написано на обоях!) знаменитое стихотворение, начинавшееся со слов: «Как-то все слегка острое...ело!» Дальше шло какое-то объяснение, почему же именно мы находимся в этом состоянии, и, насколько я помню, виновницей всего была все она, голубушка, дорогая наша и любимая... Ну а дальше стишок был под общий хохот переписан на бумажку, а бумажка оказалась потом почему-то в экземпляре сценария, который пошел куда-то на утверждение. Ох и смеху было...

А Малеевка?^[53] Тихая, заснеженная Малеевка? Вы с Марленом в двадцатый, сотый раз переписывали и дописывали злополучную «Заставу Ильича», иногда писали, но больше трепались,^[54] ходили на лыжах, у тебя это куда лучше, чем у меня, получалось, стремительно съезжал с разных горок, а я больше трюх-трюх среди кусточков. И на лыжах же отправлялись в сельпо, и Марлен пытался возмущаться, а мы говорили что-то насчет леса и волка и искали посуду, а мама, как всегда, волновалась, взяли ли мы со стола закуску. Взяли, взяли, не беспокойся...

Сельпо сельпом, но однажды мы, гады, распили Марленово средство, которым он зачем-то растирал ноги.

⁵³ Стр.313 А Малеевка? — «Малеевка», дом творчества писателей под Москвой.

⁵⁴ Все ищу, чем бы заменить это столь употребительное сейчас полужаргонное слово, и не нахожу. Болтали? Нет, не то. — Прим. авт.

Как, бедняжка, он потом сердился. Ничего, завтра восполним...

А Внуково... Ты об этом нашем милом Внукове где-то потом, в стихках своих, упомянул, а я даже рассказик написал. Зачем-то наврал в нем с три короба — как трудно, мол, было достать билет для какого-то лейтенанта с пацаном, как все отказывали, и в конце концов носильщик за пятерку все сделал. Билет достать действительно было невозможно, и достали мы его через носильщика, но никакого лейтенанта с пацаном не было, а было два бездельника, которые вздумали на денек смотаться в Киев, окунуться в Днепр. А потом был и Днепр, и теплая водка, и какие-то знакомства, пассажирский катер, спаивание команды и клятвы верности до гроба.

Да, Генка, теперь все только и говорят, ах, какой он был талантливый, ах, ах... Да, был талантливым. И писал стихи, которые нигде не печатал. И сценарии, которые иногда ставили, иногда и не ставили. И хорошие, и плохие. И фильм даже был поставлен. Режиссер Шпаликов — «Долгая счастливая жизнь» с Инной Гулая и Кириллом Лавровым. Один из лучших кинематографических дуэтов, которые я знаю. Он не имел успеха. У нас не любят грустных картин. Ни начальство, ни зрители. Там, в одной из массовок, где-то и я мелькаю. «Сядь, Вика, за столик, прошу тебя. Надо ж, чтобы они вели свой диалог на фоне какого-нибудь ханыги. Ну сядь, что тебе стоит...» И я сел. К Шукшину в фильм не попал, а к Шпаликову вот повезло.

А последняя наша прогулка с тобой по Киеву! «Ну вот, теперь ты мне покажешь Киев». И я водил тебя по тем самым киевским улочкам и переулочкам, не

загаженным еще последующими напластованиями, с двориками и лесенками, покосившимися заборами, скрипучими калитками, и в одном из таких двориков ты остановился вдруг перед врытым в землю столиком и сказал: «Ставлю ломаный цент против десятидолларовой бумажки, что не могло такого в жизни быть, что некий классик за этим столиком не опохмелялся...» И что ж, пришлось мне сбегать за бутылкой пива, и, кажется, это была наша последняя бутылка.

И вот Генки больше нет. Повесился. На полотенце. В своей комнате Дома творчества в Переделкине. В ноябре 1974 года.

Он пил. Много. Очень много. Лечился. Недолечивался. Вшивал. Потом с помощью «друзей» за тридцатку взрезывал. И опять пил... Тогда, весной 1974 года, я чуть ли не силком сводил его к врачу. Он обещал выдержать до конца. Не выдержал. Опять запил.

В последний раз, у стойки кафе в гостинице «Украина», он клялся мне, что пить больше не будет. Но... «Как не пить? Как? Вика, скажи, как это у тебя получилось? Не могу я... Не могу я ни ЦДЛ, ни ВТО, ни Дома журналиста, ни «Мосфильм», ничего...» — где-то мы уже это слышали, а? — и вдруг сквозь тоску улыбнулся: «Возьми меня в Париж. Ей-Богу, честное пионерское, завяжу. Ну, иногда только с тобой, в каком-нибудь бистро, пивца какого-нибудь ихнего, светлого...»

На этом мы и расстались. Я усадил его в такси и больше не видел.

О смерти его узнал уже в Париже. На похоронах были только его друзья, товарищи самые близкие. Те самые, о которых он писал:

Ах, утону я в Западной Двине
Или погибну как-нибудь иначе,
Страна не пожалеет обо мне,
Но обо мне товарищи заплачут.

Я не «взял» тебя, Генка, в Париж. И мне тебя здесь очень, очень не хватает. Не хватает твоего юмора, тонкого, иногда грубоватого, но такого нашего, русского, или московского, или пацанского шестидесятых годов, того, которого не понять им, моим французам или англичанам, считающимся королями юмора. Ты не был «хохмачом», сыплющим остротами, просто юмор был твоей природой и человек, лишенный его, сам собой выпадал из круга твоих друзей. Ты был хорошим поэтом — так, во всяком случае, говорят люди, знающие в этом толк. «Ни дня без строчки» не было твоим лозунгом, я даже не знаю, когда у тебя это все рождалось. По утрам, когда ты был в Киеве, я находил в почтовом ящике твои каракули на ресторанных салфетках. Они все у меня хранятся...

Сейчас, сидя за стаканом пива, того самого, светлого, ихнего, я вспоминаю многие наши с тобой вечера, ночи, утра и не могу вспомнить дня, часа, минуты, когда нам с тобой вместе было бы скучно. Даже когда изнывали по разного рода понятным причинам. Тоскливо, мучительно, но скучно?..

Последние наши дни в Киеве, несмотря на то что ты, негодяй, нарушая курс лечения, пил по секрету от

нас, несмотря на то что я кричал на тебя (а теперь жалею, не надо было бы кричать) и не давал выпить, я вспоминаю сейчас эти дни как дни радости. Радости, потому что после какого-то перерыва (ты в Москве, я в Киеве, я в Москву, ты — куда-то) мы опять были вместе. И я познакомил тебя с моими друзьями. И они полюбили тебя. А ты их... И все это без всяких ЦДЛ, ВТО, «Мосфильмов»...

Сидя у меня на кухне, ты пел свои песенки, стуча пальцами по столу. А ту самую, про Двину, мы почему-то записали под траурные звуки панихиды из Нотр-Дама. Нам тогда казалось это очень смешным. Тебе всегда хотелось смешного...

И не все понимали, что это желание несколько не обедняет человека, — быть серьезным не самое главное в жизни.

И только в последнюю нашу встречу у тебя что-то не получилось с юмором.

Не до него, не до юмора тебе было тогда.

Гена, милый мой Генка... Я не проводил тебя в последний путь и не поднял свой стакан на поминках, но здесь, в Париже, я часто вынимаю кассеты, записанные у меня в Киеве, на кухне...

И слушаю тебя... И вижу тебя.

Генка Шпаликов, Геннадий Федорович Шпаликов, талантливый, умный, тонкий, забулдыга, пьяница, человек, которому так много было дано и который умел давать нам, но недодал, Генка Шпаликов, который пил потому же, почему пили многие русские таланты, даже

гении, — ушел из жизни, сам себя увел, потому что не мог дышать.

Не хватало воздуха... Без него поэту жить нельзя.

Нет, не получилась наша прогулка по Парижу. Показал десятка два витрин, поахал, поохал, уселся за столик в кафе и, как всегда, ударился в рассуждения. И, как всегда, все кончилось на грустной ноте. И, как ни грустно, на ней же и продолжу.

Уходят, уходят, уходят друзья...

Вот и Севка Ведин ушел. Пришло письмо из Киева. Умер Сева Ведин. Вышел из больницы, напился и умер.

Севка Ведин... Хозяин Крещатика. Так он сам себя назвал. И таким он и был. Самый добрый из всех людей (мужчин, должен оговориться), которых я знал. А может, и единственный. Веселых, умных, обаятельных, талантливых на моем пути встречалось множество, а вот добрых? Севка был добрым, добрейшим, наидобрейшим. Все для других, все для друзей. А себе? Себе вот не очень получалось.

(Был еще один, нет, словом «добрый» там не отделаешься, но о нем впереди, когда заговорю о главных людях моей жизни.)

Выединого яйца не стоит! Знаменитая киевская «хохма». Сначала я узнал ее, а потом и его самого, журналиста, фронтовика, самого остроумного человека в Киеве и... заведующего киевским отделом АПН — Агентства печати «Новости».

АПН? Я вижу круглые глаза. Да ведь это ж самое что ни на есть... Да, самое что ни на есть. И вот он был заведующим этим «самым что ни на есть», и именно

потому, что оно было и остается таким, его вышвырнули за борт, и умер он если не под забором и не то что всеми отвергнутый (каждый по-своему его любил, его нельзя было не любить), но в общем-то почти в одиночестве.

Каким он был журналистом, я не знаю. Кажется, хорошим. Так говорят о нем друзья, которые с ним работали. Но это было давно. Очень давно. Когда я с ним познакомился, он уже не писал. Думаю, что просто разучился. То ли надоело, то ли лень-матушка одолела, то ли просто противно стало жевать эту жвачку — не знаю, но при мне он ни одной строчки не написал. А по секрету скажу, по-моему, и не прочитал. Тоже надоело. Но поговорить... Вот что он уж очень не прочь был.

Было в Киеве время (о! это блаженное время, даже не верится, что оно было...), когда можно было зайти в одну из маленьких контор, имеющих отношение к журналистике или к какому-нибудь другому виду массовой информации, и, взглянув в глаза присутствующим, промолвить:

— Ну так как?

И почему-то сразу же решалось «как».

Дальше шли вариации — гастроном, продмаг, соседняя пивная точка, буфет. Посуда из шкафа, сейфа или заветного ящика письменного стола... Закуска все та же — икры, семги и колбасы салями что-то не припомню. Сервировка тоже без серебра и фарфора. Настроение бодрое, почти как у космонавтов.

В любой стране представители самой древней профессии — журналистики и примыкающих к ней других профессий, как то: писатели, художники, артисты — любят поболтать. В нашей стране тоже любят, и

называется это потрепаться. Клубов, кафе фактически нет (о судьбе киевских «ливерпулей» я уже писал), дома мешают жены, дети, обычный семейный страх, вот и появились на свет такие точки. (Корбюзье, подразумевая, очевидно, нечто другое, называл их «точками высокой интенсивности».)

С годами количество их стало постепенно уменьшаться. Последней из них, этих точек, была резиденция Всеволода Бенедиктовича Веди́на на Крещатике, 8, — АПН — маленький бывший магазинчик (вход с парадного) большого, с лидвалевским фасадом дома, в котором в далекие, дореволюционные времена находился «Российский для внешней торговли банк».

Если не всегда инициатором, то вдохновителем, организатором, руководителем, королем, тамадой и душой всех этих встреч всегда был Севка. Грустить, ныть, на что-нибудь жаловаться в его компании было невозможно. Он излучал из себя нечто такое, что грусть, тоска и все прочие отрицательные эмоции сами по себе рассасывались.

Да и сама внешность его располагала к благодушию и терпимости. На старом языке это называлось сангвиник — рыхлый, крупный, со всегда улыбающейся и всегда розоватой физиономией, в пиджаке, с трудом стягивающемся на животе, он сидел за своим столом, засыпанным бумагами, и если не сыпал остротами, то звонил по телефону. За другим занятием застать его было трудно, если отбросить третье, основное.

Публика в его заведении была более чем разношерстной. В одном из таких заведений, давно умершем, на Большой Подвальной, все, в общем, друг друга хорошо знали — Севкино же находилось на самом

что ни на есть бойком месте города, как говорили в старину, на пересечении торговых путей, поэтому всякий, кому некуда было девать времени (а кто пощедрее, то и пятерки), заглядывал к Севке на огонек. А огонек всегда теплился, то вспыхивая, то притухая, но никогда не угасая.

Была еще одна (и довольно многочисленная) категория людей, кроме просто любителей выпить и потрепаться, — это те, кому Севка помогал. Он всегда кому-то в чем-то помогал. Всех он в Киеве знал, все его (в период просперити в основном) любили, и связями этими он пользовался для бесконечных прописок, устройств на работу, в институты, в университеты, для получения квартир, пенсий и, конечно же, в разного рода делах, связанных с вытрезвителями. Почти всегда в общей веселой, соперничающей в остротах и сыплющей анекдотами компании где-то в уголке сидел скромный, молчаливый, несколько ошарашенный всем происходящим бывший друг-однопольчанин, или друг этого друга, или его зять, или тесть и, терпеливо жуя селедочный хвост, покуривая, ждал своего часа. И этот час приходил. Забулдыжество забулдыжеством, но ни на одну минуту, ни на секунду, ни днем, ни ночью, не забывал Севка о своем друге-однопольчанине или его зяте, его тесте.

Одновременно этих зятей и тестей было несколько — два или три как минимум, — и где-то в разгар веселья, подмигнув в уголок, Севка брал трубку и с кем-то, прикрыв рот ладонью, тихо журчал по телефону. Кроме фронтовиков с Третьего и Четвертого Украинского или друзей по варшавской комендатуре Севка опекал целое семейство каких-то цыган музыкантов, юного эфиопа (Али из Сомали), у которого не хватило денег для

перепечатки своей юридической диссертации, какого-то прощелыгу-жука Жукова, которого приласкал, а тот его весьма бойко потом продал, брата знаменитого певца Паторжинского, державшего когда-то хор в Париже и приехавшего умирать в родной Киев, и бесконечное количество разных способностей художников, которым устраивал выставки в крохотном своем помещении. В кое-каких делах опекал он и меня. И моих друзей. И друзей моих друзей. Отказа не было. Никогда. Ни при каких обстоятельствах.

Сотрудников своих он тоже опекал. Было их немного — человек 6–8, но всех их без исключения он обеспечил квартирами. Только себя не обеспечил. Разойдясь с женой и сойдясь, на свое горе, с одной хамкой (при всей своей относительной доброте более мягкого определения найти ей не могу), жил с ней и ее довольно великовозрастным сыном в четырех метрах какой-то полуразвалюхи на Красноармейской улице.

Хозяин Крещатика... Да, хозяин. В солнечные весенние дни его всегда можно было обнаружить на отрезке Крещатика между бывшей Царской (потом III Интернационала, потом Сталина, потом Ленинского комсомола) площадью и площадью Калинина (ранее Думской), на правой его стороне, где знаменитые рыбный, винный и фруктовый магазины, два ресторана (один «Красный мак», другой, к стыду своему, забыл), газированные воды, есть автомат-пиво, комиссионный, булочная, писчебумажный магазин, а в самом начале еще и прокуратура. Вот здесь всегда он и прохаживался, держа кого-то под локоток или просто подпирая запрещающую что-то пешеходам перегородку и

посасывая пиво из уличного на этот раз автомата, в окружении полдюжины поклонников и поклонниц.

Иногда он вдруг исчезал. Стоял вот только что рядом с тобой, шутил, острил, и — вдруг! — нету. Был и нету. Растворился. И полчаса, час его нету. Объявляются поиски. Туда, сюда, в «Красный мак» — да, только что здесь был, выпил стаканчик вина и... Бежим на ту сторону, в «Столичный», в «Дніпро» — заходил, заходил, пропустил коньячок и... Через час, порозовевший, такой же приветливый и веселый, опять с кем-то под ручку на обычной своей стороне между прокуратурой и почтамтом.

Все завмаги были его друзьями. Рыбный, фруктовый и винный — главными. Рыба в нашей стране — это все! Селедка, вобла, все виды копченых. Деньги не имеют значения. Важно, чтоб была рыба. А она-то, проклятая, плавает себе где-то в Тихом океане и в руки не дается. В Севкины давалась. И очень он любил дарить ее друзьям. И за это его тоже любили.

Не любило его только ЦК. Ну что это за работник, что за руководитель? Все мы не прочь пропустить свой стаканчик, но нельзя же так уж открыто, вызывающе. И вообще — не контора, а проходной двор. Несolidно. Не по-партийному.

Расправиться с ним было трудно, уж очень был популярен. К тому же заслуги, неплохо воевал. И все же...

Рухнул Севка в общем-то на новом помещении для своего агентства. Оно долго и основательно строилось. И строилось на западный манер. Весь первый этаж бывшего адресного бюро на углу Трехсвятительской переоборудован был по первому разряду. Кабинеты,

вестибюль, холл с какими-то раздвижными стенками, несколько фотолабораторий, библиотека и даже собственный бар-ресторан в подвале, на который возлагались особые надежды. Все делалось художниками, архитекторами, со вкусом, со знанием дела, по всем правилам иностранных офисов. Ну и, само собой разумеется, на все это нужны были сметы, счета. А считать-то Сева не умел, да и не любил. Короче, повисло на нем что-то с некоторым количеством нулей, а заодно и всю старую мебель растаскали кто куда мог.

Да, все Севу любили. И ахали, что он много пьет, не бережет себя, что так нельзя, что надо, в конце концов, взяться за ум, надо как-то по-дружески... И ходили к нему в больницу, а он все чаще и чаще туда попадал, и по-прежнему в дни его разных юбилеев (а он любил их отмечать) выпускали забавную стенгазету со всевозможными фотомонтажами и коллажами, одним словом, любили... Но когда сверху дано было указание — Убрать! Назначить нового! — все сочли это вполне разумным, а новый начальник (бывший друг и собутыльник) прочитал ему нотацию, велел «прикрыть клуб» и начать работать, и на этом, став рядовым сотрудником, Севка кончился. Работать, т. е. писать нужное для АПН показушно-рекламное свинство, Севка уже не мог, да и не хотел.

В этот-то период, внешне еще более или менее благополучный — у него был еще собственный кабинет, но принимал он уже в нем озираясь, — я с ним и расстался.

Пить более или менее он перестал, острить еще пытался, рыбу доставал, но воздух из него вышел. Ходить ему уже было трудно, волочил ноги, поминутно

останавливался, потирал сердце (и что-то по поводу этого обязательно остря) друзья постепенно рассосались, бывшие подчиненные в рот ему уже не смотрели (надо было заглядывать в другой, сидевший в большом кабинете, сразу налево), выполнявшие все по его звонку начальники отделений милиции как-то к нему охладели, мэр города, товарищ Гусев, принимавший его раньше без очереди (даже когда «я в Совете Министров»), что-то все чаще и чаще оказывался то в этом самом Совете Министров, то в ЦК.

Я в наследство оставил ему свою квартиру. С мебелью, с обстановкой. Заключил с ним договор как с поднанимателем, все честь честью провел через нотариуса, ходил с ним к паспортистке, к управдому и скажу прямо — больно на него было смотреть. Он не умел быть просителем, это у него не получалось, это был не его стиль.

Он, конечно ж, провожал меня на аэродром, убивался, что забыл фотоаппарат (последнюю неделю он замучил меня своим фоторепортерством, снимал у всех подъездов, у каждой пивной, виноват, квасной бочки, на фоне всех гастрономов), и так же, как я, пустил слезу, и долго мы мяли друг друга в мужественных своих объятиях.

На этом все кончилось.

Ни на одно письмо, ни на одну открытку он мне не ответил, к телефону не подходил. Витька с Милкой раза два до своего отъезда в Париж заходили к нему, даже ночевали, но он совсем уже угас, обо мне старался не говорить, озирался по сторонам. Хамка его запустила квартиру, все завалено было грязным бельем, невытой посудой, работал он уже каким-то рядовым инспектором

в Управлении по охране авторских прав, и вот, попав в очередной раз в больницу, вышел из нее, за ним не углядели, выпил стаканчик-другой (с кем, кто эта сволочь?) и умер.

И не стало Севы. И лишился Крещатик своего хозяина.

Кто был на похоронах, не знаю. Известно только, что хамка его на поминках перепилась, веселилась, а друзья, или бывшие друзья, потихоньку растаскивали все, что под руку подвернулось, на память о... А Бог его знает, о чем, о ком.

А Севы нет. Не уберегли...

Грустно...

Что-то уж больно часто стало появляться это слово в моих записках.

Да, грустно... Вероятно, оттого, что вспоминаю больше о своих друзьях, которых нет уже на свете. А о живых? О живых не скажешь, они все там, дома. Один Сахаров из моих знакомых да Татьяна Ходорович ничего не боятся, а остальные...

Даже жена Сахарова, Елена Боннэр, на что уж бесстрашный человек, даже она на аэродроме Орли, перед посадкой в самолет, повела как-то плечами и вздохнула: «Ох! Как подумаешь только, что через три часа Москва...» Это не был страх, упаси Бог, но это была такая смертная тоска, такой понятный стон, а ведь она любит Москву, привыкла к ней и жить в ней будет до тех пор... До каких? Всему ведь есть предел.

В большом конференц-зале университета в Осло, когда я сидел и слушал такое спокойное, достойное

выступление Елены Георгиевны, а потом норвежский король, немолодой уже, симпатичный и немного даже застенчивый, жал ей руку, я думал — о Господи, да что же это за страна такая, в которой человек, так много сделавший для нее и награжденный за это тремя высочайшими наградами, вместо того чтоб находиться здесь, на торжестве, посвященном именно ему, должен вместо этого мокнуть где-то под дождем, у дверей суда, куда его не пускают, хотя там судят его товарища.

Сахаров... Андрей Дмитриевич Сахаров. Вот о ком можно и хочется сказать несколько слов, зная, что он не испугается, не огорчится, а может быть, ему будет даже приятно.

Как ни странно, но с ним и женой его, Люсей, как зовут ее ближайшие друзья, я познакомился не у них, а у себя дома. Как-то зазвонил у меня телефон. Снимаю трубку и слышу: «Говорит академик Сахаров. Мы вот собираемся с женой на один денек к вам, в Киев. Утром приехать, вечером уехать. Как вы на это смотрите?» На следующее утро они уже звонили у наших дверей.

Самое забавное в этом визите было то, что именно в этот день был куплен телевизор и принесли его целой оравой как раз в момент, когда вошли Сахаровы. А так как приехали они, как говорится, инкогнито, то весь этот час, пока устанавливали телевизор, мы втроем, прислушиваясь, сидели у меня в комнате, боясь даже нос высунуть.

Единственный из моих друзей, познакомившийся тогда с Сахаровым, был Славик Глузман. С ним же мы и провожали наших гостей в тот же вечер на вокзал. «Кто этот такой удивительно симпатичный мальчик?» — спросили меня Сахаровы. Тогда я мог только ответить,

что это действительно симпатичный молодой человек и что он мой друг. Было это, по-моему, в 1971 году. У Сахаровых можно уточнить — тот приезд их в Киев был просто-напросто их маленьким, однодневным свадебным путешествием.

С тех пор в каждый свой приезд в Москву я всегда заходил к ним, в их крохотную квартирку на улице Чкалова, и принимаем был в той самой знаменитой кухне, которая теперь уже обошла все телеэкраны мира. Это не очень удобно, понимаю, кухонька маленькая, а кроме меня еще какие-нибудь гости или родичи, но до чего ж это уютно, до чего по-московски. Кроме самого Андрея Дмитриевича, одна из составных этого уюта, неотъемлемая его часть — Руфь Григорьевна, Люсины мать, малюсенькая, поразительно неунывающая, с которой, если сам Сахаров занят, и ведутся длинные вечерние разговоры за чашечкой чая с вареньем.

А как-то я попал, то ли удачно, то ли неудачно, но как раз когда привезли из роддома появившегося на свет внука. По этому случаю пропущено было определенное количество граммов. Поскольку, кроме меня, гостей не было, а молодые родители куда-то ушли и Люся вместе с ними, допивать остался я один. Не думаю, чтоб я особенно переборщил, тем не менее Андрей Дмитриевич одного меня не отпустил. Метро уже не работало, такси тоже не было, и весь путь от Курского вокзала до проспекта Калинина мы проделали пешком. Не знаю, как Андрею Дмитриевичу (он человек деликатный, непьющий и на друзей не жалующийся), но мне эта ночная прогулка (как и всякая, а эта особенно) доставила только удовольствие. О том же, что весь обратный путь мой

любезный хозяин проделает в одиночестве, я, конечно, тогда не подумал. Все мы, пьяницы, в общем хамы.

Еще одна деталь. Может, и не очень значительная, но меня очень тронувшая. После двухсуточного обыска у меня на квартире первым, кто позвонил, был Сахаров. КГБисты ушли где-то около трех утра, а в восемь уже раздался звонок: «Как дела? Все мы беспокоимся».

Если меня спросят — какой же он, Сахаров? — я немного стану в тупик. Мягкий, скажу, деликатный, застенчивый, не болтливый, с юмором, очень приветливый. Но, по-моему, он все время находится где-то в себе. Он и слушает, и даже внимательно, и отвечает, и сам говорит, но где-то внутри идет своя жизнь, свои мысли. Думаю, что это своеобразная самооборона, некое ограждение, умение сосредоточиться даже в кругу людей. Люся как-то сказала: «Убьют его демократы. Не советская власть, а демократы. Ведь всем им надо с ним говорить. И их много, не сосчитаешь. А он всех выслушивает, отказывать не умеет...»

Кроме того, он не умеет еще массы вещей. Например, подойти к железнодорожной кассе, вынуть свою книжечку Героя Социалистического Труда (трижды!) и сказать — дайте мне билет. В Киеве, на вокзале, это пришлось делать мне («Упаси Бог, он лучше умрет!»), так же как уговаривать проводника, чтоб их двоих поместили в один вагон, билеты-то дали, но в разные вагоны...

Ну, и жить по лжи тоже не умеет...

Когда я был на фронте, я мечтал об ордене. Когда получил, очень ему радовался. Через десять лет, когда тов. Гречуха вручал мне орден «Знак Почета» вместе с другими писателями ко дню трехсотлетия воссоединения

Украины, мне было уже безразлично. За какой-то последующей медалью я уже просто не пошел в военкомат. А вот Брежневу в семьдесят лет не лень ежедневно, целую неделю подряд, напяливать на себя все эти монгольские и гдровские ленты да еще всех своих друзей-врагов вокруг этого ломберного столика собирать.

Думаю, Сахаров ни разу в жизни свои звездочки не надевал. Я, признаться, свою единственную лауреатскую медаль все-таки несколько раз привинчивал, правда, только в тех случаях, когда надо было идти к ректору университета или политехнического института, просить за детей моих еврейских друзей. А вот лучший мой друг, Александр Евдокимович Корнейчук, приглашая меня совершить поездку к знатным хлеборобам, очень удивился, когда я спросил его: «Что ж, сядем мы в ваш шикарный лимузин при всех орденах и медалях и поедем к труженикам жизнь узнавать?» — «А ты что, не заслужил эти медали, чего ты их стесняешься? Раз дали, носить надо. Я вот ношу».

(Ну и под занавес, в скобках, раз уж я коснулся своего любимца, эпизод, рассказанный мне Стейнбеком. Александр Евдокимович очень любил о себе так говорить: «Я как председатель Союза писателей могу сказать вам следующее...», или «Я как член Совета Мира утверждаю, что...», или «Как член ЦК КПСС, я не могу согласиться...», или «Как депутат Верховного Совета СССР, я могу вас уверить...», ну и т. д.

И вот переводчица Стейнбека, давась от смеха, рассказывала мне в присутствии самого Стейнбека, как он, выслушав какую-то бесконечную тираду Корнейчука, обратился к нему с вопросом: «А могу ли я спросить у Вас как у председателя Союза писателей, члена ЦК

КПСС, депутата Верховного Совета и члена Совета Мира, где у вас тут уборная?» Я ахнул: «Ну и что ж, вы так и перевели?» Переводчица улыбнулась: «Ну, не совсем, приблизительно».)

Сахаров еще молод, ему пятьдесят с чем-то, не больше. Но здоровьем особенно похвастаться не может. И те, кто считают его врагом № 1, делают все, чтобы расшатать его еще больше. Но не получится. В нем, таком мягком и скромном на вид, заключена такая внутренняя сила, такая целеустремленность и вера в правильность и нужность своего пути, что бороться с ним невозможно. Его нельзя запугать, застрашать, переубедить. Его нельзя сломить. Никому и никогда это не удастся...

И тут я опять возвращаюсь к тем, у кого не хватило сил бороться.

Вася Шукшин, Гена Шпаликов, Сева Ведин... Разные люди, разные судьбы, разные возрасты (44, 38, 50...) и почти одинаковые концы...

Первые два были писателями. Слава первого из них разлетелась по всему Союзу (похороны его превратились в некую молчаливую демонстрацию преклонения перед правдой), у второго славы вообще не было, была скорее известность, и то в своем тесном кругу, третий был просто выходящим из ряда вон рядовым. Но всех трех я знал. И любил.

Все трое не вписывались в рамки. Каждый по-своему. И все трое пили. Опять-таки каждый по-своему, но все неумеренно. Каждый из них что-то заглашал.

Заглушал и Есенин. Заглушал и Фадеев. Только Маяковский не пил...

Когда мне на Западе начинают говорить что-то насчет алкоголизма, я только пожимаю плечами. Нет его на Западе, что бы мне ни говорили. Приводите цифры, статистику, рассказывайте мне сколько угодно об автомобильных авариях, связанных с употреблением алкоголя, — я только пожимаю плечами, в спор не вступаю.

Да и вообще это интеллигентное слово — алкоголизм — к России неприменимо. Там просто черное, повальное пьянство...

В России пьют, потому что так веками заведено, говорят люди, верящие в силу традиций. В России пьют с горя, говорят ненавистники советской власти. В России пьют, потому что только выпивши человек чувствует, что ему все нипочем, говорят люди по натуре трусливые.

Кто прав? Все! А лучше всех подытожил эту неразрешимую проблему один старик, с которым меня свело знаменитое наше «на троих» в одной из московских «деревяшек» (тогда, в 50-х годах, не было еще этих отвратительных, у всех на виду, «стекляшек»). «Эх, сынок, сынок, — вздохнул он, по-отечески глядя на меня. — Душа просит, потому и пьем...»

Вот оно, душа, l'ame slave misterieuse,^[55] как говорят французы.

Но, может быть, самое страшное в этом нашем горе — это то, что народ спаивают. В Советском Союзе нет статистики. Но иногда какие-то цифры чудом

⁵⁵ Загадочная славянская душа (франц.).

пробиваются. На страницах хотя бы той же «Литературной газеты». Выясняется, что по сравнению с проклятым царским временем мы пьем чуть ли не в три-четыре раза больше. А ведь и тогда не одним квасом пробавлялись. Для нашего самого прогрессивного в мире правительства торговля водкой, спиртом — одна из основных статей дохода. А само всенародное пьянство — лучшее средство затуманить мозги. Ясный, трезвый мозг — вот чего больше всего в жизни боятся те, кто пытается из 250-миллионного народа сделать народ роботов. И вот тут-то они, руководители наши, где-то смыкаются с этим самым народом, который роботом быть отказывается, но к трезвому, непьющему человеку всегда относится с подозрением. Верно сказал Вася Шукшин: ну как я к ним трезвый подсяду, сразу за стукача примут...

И тут я делаю противоестественный, на первый взгляд неожиданный, вольт на 180°.

В странах, подобной нашей, а наша в этом смысле на первом месте, без водки просто нельзя, только она дает возможность поговорить по душам. И даже не наедине (а властям это, кстати, тоже надо). Зайдите как-нибудь вечером в Дом кино — сейчас это главный московский клуб — и послушайте... А если попадетесь вам в руки книга Л. Владимирова «Россия без прикрас и умолчаний», написанная лет десять тому назад, прочтите там странички, посвященные Дому журналиста, беседу автора с неким влиятельным международником.

За своей рюмкой видный журналист этот выворачивался наизнанку, издеваясь над своими собственными писаниями в газетах.

— И вообще, какие мы с тобой гнусные твари! Не обижаешься? Правильно. Про себя я точно знаю, что

тварь. Гнусная. Э, да и ты не лучше. Ты о достижениях передовой советской науки, а я о миролюбивой внешней политике. И за это нам дают здесь посидеть и покурить «Винстон». Или прокатиться в Париж, ужаснуться буржуазному разложению. Выпьем!

«Журналист этот, — заканчивает Л. Владимиров свой рассказ, — всегда говорил тихо, но я тем не менее постоянно оглядывался вокруг. Не может ли кто-нибудь с соседнего столика поймать хоть словцо из его страшных высказываний. Именно страшных, ибо подобные вещи не говорятся в СССР даже в семейном кругу. Человек находил мрачное удовлетворение, какой-то свой выход в том, чтобы высказать точку зрения, полярно противоположную официальной. И при этом смертельно рисковал».

Это все к тому же — душа просит...

И, наконец, рискую быть проклятым всеми порядочными людьми — не было бы водки, не было бы и Венедикта Ерофеева с его блистательной, страшной, умной, а где-то веселой, пропитанной насквозь юмором книгой «Москва-Петушки», по-французски переведенной (для пущей привлекательности) «Moscou sur Vodka» — Москва сквозь водку...

Да, стоит Москва водки добавлю я, перефразируя веселого французского короля, — и кладу голову на плаху. Тут Ерофеев имеет полное право гневно меня перебить: «Только ничего не понимающий в пьянстве француз может так бездарно озаглавить мою книгу. Ведь в книге-то моей водки как таковой в общем-то и нет. Господи, как они примитивны!» Согласен, не спорю, перевести надо было бы «Москва сквозь «слезу комсомолки»...

Но пока топор еще только занесен, разреши мне, читатель, поведать тебе еще одну историю из этого же цикла. Не то что очень уж веселую, скорее грустную, но поскольку речь в ней пойдет обо мне самом, а я тоже небезгрешен, каюсь и дальнейшим вину свою все же искупил, послушай-ка ее и посочувствуй, если ты человек пьющий, а если трезвенник, не очень осуждай. Называется эта история:

КАК Я ПРОПИЛ ВАЛЕГУ

Был у меня в армии связной, ординарец Валега. Ему было девятнадцать лет, мне тридцать три. Он простой деревенский хлопец, с Алтая, я городской, уже не хлопец, инженер, капитан. И оба мы друг друга очень полюбили. В книге «В окопах Сталинграда» я, как говорится, его увековечил. А Юра Соловьев, прекрасный ленинградский артист, сделал то же самое в фильме «Солдаты».

О том, как писался «образ» Валеги в повести, как воссоздавался в фильме, я давно уже рассказал в очерке «Три встречи». Потом, через несколько лет, появился в журнале «Советский экран» еще один очерк, как встретились мы, уже в жизни, с Валегой, через двадцать пять лет после разлуки в медсанбате под Люблином летом 44-го года. А вот о том, что произошло между этими двумя очерками, я никому до сих пор не рассказывал. Стеснялся.

Самое забавное, а может быть и трогательное, что произошло в моих отношениях с Валегой, это то, что после войны не я его обнаружил, а он меня. И вовсе не потому, что прочел «В окопах Сталинграда», а просто так, по старой памяти. «Что ж ты, батя, — говорили ему

подросшие дети, — все о каком-то там капитане рассказываешь, взял бы да и разыскал его». Вот он взял и разыскал. Через киевскую милицию — все, что он знал обо мне, это то, что я из Киева и мне столько-то лет. Я послал ему книгу, и завязалась переписка. Он мне, я ему. И вот настал наконец день, когда я получил от него письмо — мол, собираюсь в отпуск к вам в гости. Я в восторге, жду. Выехал. С женой и внуком. Пересекает Сибирь (а живет он в поселке Бурла Алтайского края), приезжает в Москву. Из Москвы телеграмма — выезжаю поездом таким-то... И вот тут-то вся вина в наших идиотских железнодорожных расписаниях. Выбрал он поезд, приходящий в Киев в семь утра. Я всю ночь не спал, ворочался с боку на бок. Подумать только, завтра сожму в своих объятиях того самого Валету, с которым, ну и т. д. В шесть часов я уже был на вокзале.

Ну, вокзал, сами знаете, что такое вокзал. Жду, томлюсь, маюсь, поглядываю на часы. Время ползет. Подошел к стойке. А за стойкой, как обычно, и собеседник. Делюсь своей радостью. Ну, раз так, давай еще по одной. Короче, к приходу поезда я уже был более или менее готов.

Дальше восстанавливаю по рассказу самого Валеги, рассказанному мне уже потом, когда я приехал к нему на Алтай.

— Ну что ж, идем мы, значит, по перрону, и вижу, бежите вы нам навстречу. Я сразу вас признал, хоть и изменились малость и в гражданском, а не военном. Бежите, значит, улыбаетесь, смеетесь, рубашка расстегнута... А я чемоданы тащу. А вы, значит, брось ты свои чемоданы, пускай хозяйка постережет, а мы с тобой сейчас, сразу же, пока там дома соберут, свои первые сто

грамм, фронтовые, за друзей, так сказать. Я говорю — хорошо, но все же чемоданы, жена, пацан... А ну их на х..., говорите вы, подождут, не умрут! Я вот уже очередь занял. Ты стой, я сейчас принесу, не уходи... И побежали... Ну а жена, сами понимаете, как увидела, говорит: это что ж, и есть твой хваленый капитан, писатель... Ханыга это, а не писатель. Видали мы таких. Ну и повернула меня на 180° — к сестре своей двоюродной, она тут же, неподалеку, в Белой Церкви, тоже собирались к ней заехать... Так я вас и видел, а вы меня... Жены, что поделаешь, они-то уж все знают.

Когда рассказывалась мне эта печальная история, все было уже позади, сейчас я уже был сам гостем Валеги, приехал в Бурлу, и не один, а с Юрой Соловьевым и фотокорреспондентом «Советского экрана». Все вспоминалось с юмором, даже той самой женой, которая все знает, но тогда, в тот день, на вокзале... Я метался по всем залам, по перронам, дал объявление по радио. Короче, с той самой проклятой рюмочки завелся я на три дня, и клял себя, и проклинал, и готов был прямо в Днепр. Головой вперед...

Вот такие бывают истории. А теперь подвиньте корзину. Палач, я готов, руби голову.

* * *

Нет, не топор, лезвие гильотины опустилось на мою шею (я все же во Франции), и голова полетела в корзину. А душа на небо.

Многие думали, что я попаду в ад, но я очутился в раю. Писать о нем не буду, хотя и соблазнительно, посоперничал бы с Данте Алигьери (пытаюсь же с

Герценом), и в роли Вергилия не отказался бы выступить Твардовский (я его там видел под каким-то райским кущем со стаканчиком безалкогольного нектара в руках, но он с кем-то беседовал, не хотелось мешать), расскажу-ка лучше о другом.

Без толку бродя по скучным, подстриженным почти как здесь, в Фонтенбло, аллеям, наткнулся я на местный ОВИР.^[56] Слово за слово, и попросился я на землю. В командировку, так сказать, дней на десяток, с обязательством вернуться. Разрешили. А так как день в раю приравнивается чуть ли не к десяти годам, попал я на свою родную планету где-то уже к концу столетия. И попал в очень интересный период.

Совсем недавно умерли наследники Андропова, ставшего после смерти Брежнева Генеральным секретарем, и к власти наконец-то пришли технократы. И в этот-то период, когда они только поделили между собой посты и стали выпускать свои первые директивы, я-то и спустился на землю.

Спустился где-то под утро, прямо на Красную площадь. И что ж я вижу? Мавзолея нет. Вместо него детская площадка, качели, всякие там горки. И дворник поливает дорожки.

Подхожу я к нему.

— А где, — говорю, — Владим Ильич покоится сейчас?

— А в Пекине, — говорит, — поменяли его на какую-то «пятерку разбойников». Вместе с мавзолеем. Разобрали его в одну ночь и туда, в Китай.

⁵⁶ Стр.331 ОВИР — отдел виз и регистрации. Культурное учреждение в СССР.

— Хорошо, — говорю, — значит, отношения с Китаем приличные?

— Да как вам сказать. Ругаются по-прежнему, но воевать не воюем.

Сразу стало легко на душе.

— Спасибо, — говорю, — дедушка, успокоил... А где тут, прости за нескромный вопрос, выпить можно?

Он с удивлением на меня посмотрел.

— Ты что, сынок, с луны свалился?

— Почти что, — отвечаю, — из дальних краев я.

— То-то и видно... В России теперь не пьют. Все спортом занимаются.^[57] Даже вытрезвители все позакрывали. Клиентов нет. Один только на всю Москву и остался, около Казанского вокзала, так, на всякий случай...

— Значит, случаи все-таки бывают?

— А почему нет, бывают, конечно... А ты что очень выпить хочешь?

— Да. Не прочь.

— Нет, брат, — говорит, — не получится. Забудь. Погуляй лучше по Москве, достопримечательности посмотри.

И пошел я гулять по утренней Москве.

Вышел на Театральную площадь. Все как будто на месте. И Большой театр, и Малый. И Островский по-прежнему в своем кресле сидит. А вот Маркса нет. На

⁵⁷ Стр.332 Все спортом занимаются — Некрасов предвосхитил ситуацию, провозглашенную в России в начале 2002 г.

его месте что-то из светящихся лучей крутится. Подошел поближе. Откуда лучи идут, непонятно, но очень красиво переплетаются. И вдруг вижу — в какой-то момент, в переплетении этих разноцветных лучей появляется лицо — кого бы вы думали? — Сахарова. Улыбается и говорит, совсем своим голосом, что-то про то, что все достижения науки должны идти на благо человека, а человек должен этими благами разумно пользоваться, ну и еще что-то в этом роде... Погас Сахаров, медленно растаял в своей улыбке, вроде как кот из «Алисы в стране чудес», лучи опять стали крутиться, и вскоре на месте Сахарова появился Солженицын. С бородой, как у Черномора, до самой земли, я сразу и не узнал. А голова, как бильярдный шар, совсем лысая. Голос его высокий я сразу узнал, но что он говорил, не понял, говорил он по-английски, русский, очевидно, забыл...

Постоял я около этих лучей минут десять, все ждал, не появлюсь ли я, но так и не дождался. Появлялись какие-то незнакомые мне физиономии, и среди них один раз только Буковский промелькнул.

Так и не дождавшись себя, пошел я мимо Александровского сада в сторону Москвы-реки. Прохожу мимо Манежа и вижу: громадная, через весь фронтон, вывеска-плакат «Всероссийская выставка социалистических художников-нонреалистов». Кассы еще закрыты, посмотреть не удалось, но около входа висит объявление: «Филиал выставки — Кузнецкий мост — в 10 ч. вернисаж художников конформистов-сюрреалистов». Ну и ну, думаю, развивается искусство. Подождем до десяти часов, посмотрим.

Вышел я к Москве-реке, она все такая же, течет между гранитных берегов, а по бокам все высокие стеклянные небоскребы, совсем как на пляс Дефанс в Париже. Постоял я на мосту, поплевал в воду и стал искать, где же метро. Метро не нашел, но обнаружил на набережной газетный киоск, открылся уже. Подошел. Опять-таки почти как в Париже. Тут тебе и «Монд», и «Экспресс», и «Нью-Йорк Таймс»... Попросил по привычке «Фигаро» и «Правду». «Фигаро» подает, а «Правды», говорит, нету.

— То есть как нету?

— А вот так, нету.

— Почему ж это нету?

— Как почему? Не выходит «Правда», и все.

— А что ж выходит?

— Вот, пожалуйста, выбирайте. «Социалистический вестник», «Голос солидарности», «Русский инвалид», «Благонамеренный», «Свобода», «Социал-демократ», «Русь», «Свободный конституционалист», «Вольный крестьянин», «Маяк демократии», «Степь донецкая», «Черное знамя», «Бакунинец», «Болтун», «Русский космополит», «Сионист-ассимилянт», «Литературная газета».

— О! Дайте мне «Литературку».

— Берите. Как раз свеженькая. С продолжением мемуаров Дымшица.

— Какого еще Дымшица? Критика или...

— Да был такой лет двадцать тому назад. Единственный еврей на все правительство. Драпанул

потом в Израиль. А вот сейчас его записки вышли. Очень любопытно...

Взял я «Литературку».

— Что ж, — говорю, — «Правда» совсем не выходит?

— Совсем.

— А как же орган Компартии называется?

— Компартии? Вот это да... Нет ее больше. Разбежались все.

Я почувствовал, что у меня шевелятся волосы.

— Как это так, разбежались?

— Вы что, с того света?

— Из рая я. Вот откуда я, — и даже малость рассердился.

— То-то и видно... Взяли газету и идите. Не мешайте тут людям.

Люди, действительно, стали подходить и брать, кто «Русь», кто «Свободу», кто этот самый «Маяк». Какой-то явно еврейской внешности человек подошел и купил «Сиониста-ассимилянта». Я не выдержал и подошел к нему.

— Простите, не можете ли вы мне объяснить, что это такое — сионист-ассимилянт? За что ваша газета воюет?

— Воюет? Почему воюет? Никто ни с кем не воюет, — удивился человек с явно еврейской внешностью.

— А евреи с арабами?

— Виноват, вы что, из психбольницы?

— А они еще есть, психушки? Для кого же?

— Для таких, как вы...

Я пошел на мировую.

— Ну зачем же раздражаться? К вам подходят и вежливо спрашивают...

— Что же вас интересует? — смилостивился человек с внешностью.

— Вот это непонятное мне сочетание сиониста и ассимилянта.

— Что ж тут непонятного. Это орган евреев, мирных, добропорядочных евреев, которые понимают, что сионизм вещь серьезная и как добропорядочному еврею надо его уважать, за это отцы и деды боролись, но там, на земле отцов, они поняли, что будет сложно, надо в синагогу ходить, по субботам свечи зажигать, входить в какую-то из партий, а они в них не разбираются, а здесь теперь пятая графа уничтожена, в университеты детей принимают, чего ж не ассимилироваться. У меня вот зять полгода как уже в Копенгагене в посольстве работает...

— Спасибо, — сказал я, — теперь понятно. А если не трудно, еще один вопрос. «Русский космополит» — что вот это значит?

— Тот же еврей. Из потомков тех, кто был при Сталине. В честь их газета так и называется. Они отличаются от нас только тем, что добиваются, чтоб еврейский театр опять открыли, Госет,^[58] а по-нашему, и в Таганку ходить уже неинтересно.

⁵⁸ Стр.334 Госет — Государственный еврейский театр.

Сделав вид, что все понял, я поблагодарил, спросил, где станция метро, и потихоньку пошел.

По ошибке из метро вышел не в Охотном ряду, а на следующей станции. К моему удивлению, она оказалась не «Дзержинской», а «Никольскими воротами».^[59]

Поднялся я наверх и вышел прямо к первопечатнику Федорову.

Место знаменитое. Когда-то здесь недозволенной литературой торговали. Интересно, где теперь продают. Какие «ГУЛАГи» в моде.

Не успел я сесть на скамейку, развернуть «Литературку» и начать читать статью «Константин Федин и Николай Тихонов. Еще раз к вопросу о гибели русской интеллигенции», как рядом со мной на скамеечку присел молодой человек в черной на молниях курточке, в которой на Западе ходят плейбои и педерасты.

Закурив нечто марихуанное, не глядя на меня, спросил:

- Интересуетесь?
- Чем?
- По глазам, что ли, не видно? Имею.
- Самиздат? — робко спросил я.
- Так точно.
- Ну что ж...
- Тогда за мной.

⁵⁹ Стр.335...она оказалась не «Дзержинской», а «Никольскими воротами» — в 1991 году станцию метро «Дзержинская» действительно переименовали, однако она называется «Лубянка».

Мы поднялись по лестнице под аркой. Не дойдя до Никольской, свернули в подворотню.

— Держи, — он вынул из-за пазухи пол-литра. Родную нашу, с бело-зеленой этикеткой поллитровку.

— Два восемьдесят семь плюс рупь.

— Как, по-старому? — удивился я.

Он тоже удивился.

— Можно подумать, что ты из Новой Каледонии. Я отсчитал положенную сумму из выданных мне командировочных и малость замялся.

— Видите ли, я не москвич...

— Был бы москвичом, к дяде Феде не приходил бы... Интересуешься «Де маго»? Могу помочь.

Мы вышли на Никольскую, свернули направо, потом налево, еще раз направо, юркнули в какое-то парадное, прошли через заднюю дверь, длинный какой-то коридор и совершенно неожиданно оказались в просторном, очень уютном дворике. В дворике стояли вкопанные в землю столы, а за столами сидели тихие, улыбающиеся люди, а милая, уютная бабушка разносила им по кусочку хлеба и половинке луковицы.

Господи ты Боже мой... Как в старое доброе время у Киевского вокзала. Коммунизм не коммунизм, но просто как при Александре свет Трифоновиче в юные наши годы.

Подошла к нам бабушка, дала один стакан на двоих, «больше, детки, нету, рада бы, да побили все», и по ломтику хлеба с солью и луком.

— Так что, с приездом, дядя? — Парень налил полстакана. — Ну, как у вас там на Соломоновых островах?

— Скучно, — сказал я, — амброзией закусываем. Будь здоров!

Он тоже выпил. Вынул пачку.

— Закуривай. «Хуан-Мари».

— Спасибо. Я «Голуаз».

Выпили еще по маленькой.

— Так что, — говорю, — сухой закон у вас?

— Да вроде. Дирижаны наши решили больше народ не спаивать.

— А как же концы с концами сводят?

— Частная торговля. Колхозы распустили, вот и сводят.

— Капитализм, значит, или нэп?

— Называется это теперь децентрализованный демократизм.

— А кто же руководит этим демократизмом?

— А никто. У вас там, на островах Туамоту, газет, что ль, не читают?

— Да далеко они, — ответил я неопределенно.

— У нас теперь электронные машины всем заведуют.

— Ну и как?

— Как положено. Жалуемся. Русский человек своими хозяевами всегда недоволен.

— И ты недоволен?

— Мне-то что. На мне еще пятна социализма. Таким, как ты, божьим одуванчикам помогаю. Иллюзию незабываемого прошлого создаю... А жена, конечно, ноет.

— Чего ж ей не хватает?

— А ты сказку про рыбака и рыбку знаешь, товарища Пушкина?

— Столбовой дворянкой хочет она стать или царицей?

— Да это полбебеды бы... Поедом меня ест, что я дешевый участок на той стороне Луны прозевал.

— Нужна ей та сторона! Там же холодно.

— Вот и я говорю. А она уперлась. Новожиловы и Петрики получили, чем же мы хуже? Да и вообще... Принести еще, что ли? За мой уже счет.

Он вскочил и исчез.

Я огляделся вокруг. Рядом оказался немолодой уже человек, разрезавший ножом кусочек творога, очевидно, из дома принес.

— Угощайтесь, — приветливо сказал он. — Молодой человек за подкреплением, что ли, пошел? — Он посмотрел на часы. — Через четверть часа участковый уже придет. Вы не из Киева?

— Был когда-то киевлянином. Вы как догадались?

— Южные у вас интонации. По акценту.

— Неужели до сих пор? А я уже давно оттуда. Собираюсь вот съездить.

— Виза уже есть?

— Какая виза?

— Как какая? В Украинскую Народную Республику.^[60]

Лихой парень в курточке уже открывал вторую бутылку.

— Круг друзей расширяется?

Мой сосед замотал головой.

— Я — точка. Свое выпил. Хватит. Закусывайте творожком.

Мы выпили, закусили творожком. Парня, как оказалось, зовут Валерой, и кроме водки он промышляет еще билетами на порнофильмы.

— С этим у нас еще плохо. Своей кинопромышленности еще нету, не знаем, с какой стороны подойти, а на западные всех сразу не пропустишь. Ввели ограничения. Вроде карточной системы.

— Кто ж ввел? Электронные машины?

— Да все они, проклятые. Что-то там подсчитали, и получилось по 2,37 койкоместа на рыло.

— Как же это понять?

— А вот понимай как хочешь. Есть еще вопросы?

— Есть. Как у вас, например, с выборами. За кого голосуете?

⁶⁰ Стр.337 Как какая (виза)?В Украинскую Народную Республику. — Некрасов предвосхитил визовые отношения между Россией и Украиной.

— А за кого хочешь. Только никто не хочет. На прошлых выборах — когда они были, кореш, в прошлом сентябре, что ли? — списков было сто с чем-то, куда ни кинь, везде избирательные участки, выбирай за того, выбирай за этого, а к концу дня, смотришь, никто не пришел.

— Кто ж победил?

— Тетя Маша победила. Знаешь, сколько бутылок собрала?.. Ну, давай по последней. Товарищ Безмолвных на горизонте.

В конце двора действительно появился некто в милицейской форме.

— Прости, пока он не подошел еще. А с армией как у вас?

— С армией как положено. Наводчик зорек, разведчик смел.

— Ясно. Ну и последнее. Как это у вас вместе взятое называется?

— Россия...

Эксцессов не было никаких. Разошлись тихо, степенно, растыкав по карманам окурки.

Я распрощался со своими приятелями.

— Спасибо за компанию, — сказал хозяин творога.

— Будь, — сказал парень в курточке, — привет президенту Филиппин.

Мы разошлись в разные стороны. Я пошел по Никольской в сторону Кузнецкого моста, авось открылась выставка сюрреалистов-конформистов. Вышел на Лубянку, или, как она в мое время называлась, на

площадь Дзержинского. Посмотрел налево, все честь честью, «Детский мир», направо — Политехнический музей. Посмотрел прямо. А где же Железный Феликс? Нет его.^[61] Вместо него скверик, а в скверике столб, кол. А на колу мочало...

Начинай сказку сначала.

— Виктор Платонович, а Виктор Платонович!

— М-м-м...

— Проснитесь...

— А я что? Заснул?

— Да вроде бы... Мы решили вас уже не тревожить. Немножко прогулялись, сходили к Сене.

Я потрянул головой. Слегка гудит. Все то же «Де маго», все те же китайские болванчики у стенки, на улице солнечно, людно.

— Приснилось что-нибудь хорошее?

— А Бог его знает, хорошее ли. Выпил, по-моему, лишнего.

— А ну, дыхните.

Дыхнул.

— Что-то родное...

— Родное... Для того чтоб в свой Егупец поехать, нужна виза.

— Ничего не понятно.

⁶¹ Стр.338 А где же Железный Феликс? Нет его. — Памятник Ф.Э. Дзержинскому на одноименной площади действительно был снесен в 1991 г.

— Думаете, мне понятно? Даже на всех пресс-конференциях я всегда начинаю с того, что прошу не спрашивать меня о будущем России, это, мол, специальность Роя Медведева и других, поумнее меня. А тут вдруг, бац, футурологические сны, да еще такие розово-идиллические...

И понял я в то утро, после того сна или видения, Бог его знает, как это назвать, что ничего в будущем понять невозможно, а мне-то уж во всяком случае устройством грядущей государственной системы заниматься не стоит.

И пошел я, с горя, в то утро в Бобур — самое замечательное, самое знаменитое, самое интересное сейчас в Париже место.

В самом центре Парижа, в двух шагах от башни Сен-Жак и Отель де Виль, на бывшем пустыре (паркинге), сейчас нечто очень странное, кубическое, вернее параллелепипедное, состоящее из труб (ярчайших цветов), стекла и каких-то растяжек. Называется это — Культурный центр Жоржа Помпиду. Сколько в нем этажей, я не совсем понял, то ли пять, то ли четыре. Во всяком случае, на втором и третьем — Музей современного искусства, на четвертом — какая-нибудь выставка, сейчас Марселя Дюшана (Duchamp). На других этажах что-то техническое, что-то для детей (говорят, очень интересное и веселое) и громадная библиотека, в которой, и говорят и пишут, есть ВСЕ. Подходи к полкам, бери, что хочешь. Выносить нельзя — книги наэлектризованы или намагнетизированы, выносишь — начинают гудеть!

В эти, другие отделы, я не заходил, знакомился только с искусством. И посмотрел еще «Археологию

города», вещь очень и странную, и непонятную. В центре колоссального холла-вестибюля на весь этаж открытый подвал (sous-sol), в нем узенькие коридорчики, в которые ведут железные лестники. В коридорах разные вещи. В одном, например, масса разнообразнейшей обуви. За стеклом. В другом — хирургические инструменты. В третьем — оружие, разные винтовки и ружья. В четвертом ты ходишь по прозрачным ящикам, в которых, как камешки на пляже, пилюли, лекарства. А в одном из коридоров в стеклянном кубике на веревочках — маленькая счетная машинка франков на сто пятьдесят. Говорят, это то, что останется от двадцатого века. Может быть... Неинтересно. Все ходят и пожимают плечами. Я тоже.

А на втором и третьем этаже — искусство. Живопись и скульптура.

— Ну, были вы уже в Центре Помпиду?

— Был.

— Ну и как?

— Интересно.

— Неужели нравится?

— Я не сказал, что нравится... Интересно. Очень даже.

Главное, просторно и много воздуха. И вокруг Париж. Со всех сторон Париж. Крыши, крыши, крыши, Эйфелева башня, Сакрэ-Кёр, Монпарнасская башня, одним словом, весь Париж.

Ну а искусство?

Начнем с того, что у каждого свой вкус. Свой вкус и свой образчик, кто любит попадью, кто свиной хрящик...

Я человек в летах и консервативный. Когда-то любил все левое, боготворил КORBюзье, сейчас больше люблю Левитана, «Мир искусства» и помещицьи виллы-ампир, с колоннами, круглой клумбой, тополевой аллеей и видом на вьющуюся внизу речку и дальние, голубые леса. И вечерний звон...

Тут, в Бобур, в Центре Помпиду, ничего этого нет. Но есть другое, тоже заслуживающее внимания. А иногда и не заслуживающее, но забавное, или непонятное, или совсем уже непонятное, но ходишь, смотришь.

За последние два года я повидал достаточное уже количество выставок. Видал и немецких романтиков, и символизм нашего века, и множество «arts contemporains» — современного искусства. И, рискнув быть обвиненным во всех мыслимых грехах (отсталость, узость, неспевание за веком, то самое впадение в детство, просто некультурность), со всей ответственностью признаюсь — что-то не очень мне это новое нравится. Искусство, конечно, развивается и шагает, может быть даже семимильными шагами, но куда — не знаю. И зачем, тоже не знаю.

На этих двух огромных, окруженных Парижем этажах много прекрасного. И того, что у нас дома не увидишь. И ранний Пикассо, и Матисс, и Кандинский, Малевич, Ларионов, Гончарова, даже Петров-Водкин и кустодиевская купчиха (ей-Богу, лучшее из всего!), и ходишь по этому просторному пространству, и ни на кого не натыкаешься (и не потому, что мало публики, ее много, но и пространства много), и садишься в кресла, смотришь, задумываешься...

Удивляешься все-таки, до чего ж изобретательна человеческая башка. Казалось бы, дальше уже некуда, а

вот, оказывается, есть. На одной выставке (не на этой, на другой) я видел, например, некое устройство, где на какую-то раскаленную сковородку капала вода и, конечно же, шипела. А рядом — трубы: проведешь пальцем — гудят. А в другой скульптуре нажмешь кнопку, и откуда-то доносится голос... Ганди. При посредстве лазера, как выяснил я из висевшего рядом объявления. И, наконец, идет человек и толкает перед собой столик на колесиках и продает пирожные, розовые какие-то. Ты покупаешь, и оказывается, это тоже экспонат выставки. Ну и так далее, корреспонденту «Советской культуры» есть где порезвиться... Но вот перед одним произведением швейцарского скульптора Tinguely я даже сел в кресло и долго его рассматривал.

На большой террасе, за стеклом (подойти нельзя), на фоне парижских крыш и труб, стояла машина. Немыслимое количество разных размеров колес, зубчаток, рычагов и поршней. И все это движется. На месте. И скрежещет. И к тому же ржавое. Крутится, суетится, взад-вперед, и какая-то еще цепь болтается... Сидел и смотрел на это сооружение и думал — что ж это напоминает? И сострил потом. Вот так мы, русские, в Париже. Все куда-то спешим, стремимся, ссоримся, и все на месте! Сострил и испугался. Нет! Не надо. Зло и несправедливо. Отказываюсь от своих слов... И все же сидел и смотрел, до чего ж все-таки швейцарец додумался.

И захотелось мне вдруг Репина. Да, да, Репина! Нет, не «Запорожцев» (Сталин, кстати, очень любил и острил, и картинку из «Огонька» у себя повесил), не Ивана Грозного, убивающего своего сына, не «Крестный ход» («Вернулся» же я люблю до сих пор), а репинские рисунки, наброски Льва Толстого. Мне они бесконечно

дороги. Да, думаю, и всем. Толстой на пашне, за столом (тем самым!), просто так, в толстовке («А кто этот старый хрен в толстовке?» — карикатура из старого «Крокодила» или «Смехача»).

Последняя четверть двадцатого века. «Страна готовится к 60-летию Великого Октября». Чего только не было за эти шестьдесят лет... Литература все-таки что-то дала, не прошло мимо, не буду перечислять. А живопись? Я уважаю и Ларионова, и Гончарову, и многих из ныне здравствующих художников, но мне очень нужен портрет Пастернака последних его лет (в Оксфордской галерее есть он молоденький, в голубой косоворотке, работы его отца), Анны Ахматовой, Мандельштама, Сахарова, наконец...

Война дала все-таки прекрасных художников (больше, правда, в графике, в иллюстрации) — Ореста Верейского, Богаткина, Климашина, метчайшего из метких, снайпера Сойфертиса. А коллективизация, ГУЛАГи? Может, один только Свешников в какой-то степени.

Ходишь здесь по всем этим contemporain'ным^[62] выставкам, больше посмеиваешься. Ходишь по московскому Манежу — голова пухнет. А ведь есть все же и неплохие портреты, и милые пейзажи. А жизнь? А жизнь? Можно двадцать раз критиковать передвижников и считать, что Миро лучше Федотова, но в живописи кроме цветowych пятен, самовыражения и эмоциональных воздействий должно быть то, чем мы живем, чем мучаемся, о чем думаем, о чем без конца говорим на своих кухнях. Я ищу этого художника. Где он?

⁶² Contemporary — современный (англ.).

Мне дорог художник, который любит жизнь. Я долго ходил по громадному парку Густава Вигеланда в Осло. Сотни скульптур. Дело всей его жизни. Может быть, их даже слишком много. Может, они даже напоминают (количеством, композицией, но не безвкусицей) вучетичевский Мамаев курган, но, пожалуй, нет в этом парке ни одной скульптуры, перед которой бы не хотелось постоять, посмотреть, подумать. Человеческая жизнь. Детство, отрочество, юность. Любовь, дружба, ссоры, обиды, радость, счастье, горе, старость... Смерть.

Пусть не обязательно эпопея, не сага, не философия. Пусть собственная жизнь, свой мирок. Грейнд-Ма Мозес... Всю жизнь (до ста лет!) рисовала свою ферму, свой дом, двор, домашние праздники, ловлю индюшек для рождественского стола... Или открытый мною только сейчас в Стокгольме Карл Ларсен.

Идея? Да никакой. Опять-таки свой дом, крылечки, комнаты, кухня, дворик, куры топчутся, столяр, какой-то Олаф, строгает доски. Уют, благополучие, цветочки на столе, сына в угол поставили, крохотная, маленькая, замкнутая, но жизнь... И неправдоподобная какая-то достоверность. И как нужно это нам, отученным от правды.

Я нарочно взял крайность — Грейнд-Ма Мозес, Ларсена. Но как может искусство, художник пройти мимо жизни страны, тоже где-то с цветочками и лужайками, но омытой слезами и кровью последних лет. Я люблю Ореста Верейского, считаю его в чем-то не уступающим (конгениальным?) Твардовскому (как далекий пример — Доре Сервантесу или Джон Тенниел Кэрроллу, автору «Алисы»), и все же прекрасный фронтовой быт Верейского, улыбка Теркина не могут заменить убитых,

сотнями замерзших и занесенных снегом на крохотном пространстве между нашими окопами и водонапорными баками на Мамаевом кургане; не могут заменить вереницы наших пленных сорок первого года, оборванных, худых, еле волочащих ноги; евреев, стариков и старух в Бабьем Яру; пожары Восточной Пруссии...

Мы заговорили о войне. Пожалуй, стоит еще раз о ней вспомнить.

Я как будто знаю ее хорошо. Провоевал с августа сорок первого до июля сорок четвертого. Знаю и окопы, и блиндажи, и госпитальные койки, промесил ногами песок и грязь бесконечных дорог отступления от Харькова до Сталинграда. Но я не знаю двух вещей, из которых тоже состояла война, — плена и покорения побежденной страны. Ни того ни другого в нашей, советской литературе в общем-то не было (лучшее о плене — рассказ Леонида Волынского «Сквозь ночь»). И на то и на другое наложено было наше обычное «табу». Пленные — изменники и предатели, а не жертвы предательства Сталина, а о мародерстве и насилии армии-освободительницы, само собой, писать как-то не к лицу.

Скажу о себе. Я был офицером Красной Армии и до сих пор питаю к ней любовь и уважение. Более того, она для меня родная. Нет ничего ближе для меня, чем мой друг-фронтник, чем Ванька-взводный, чем красноармеец, боец, «колышек», как называли мы его на своем идиотском телефонном коде. Солдат! (Первое время после введения этого старорежимного термина мы относились к нему иронически, как к погонам, — «Эй, солдат, иди сюда!» — это несерьезно, шутливо.) Солдат!

Как много в этом слове. И смелость, и добродушие, и хитрость, и любовь к жизни, и презрение к смерти, и желание обмануть ее, а заодно и тебя, свое начальство, и само отношение к начальству, человеку городскому, пусть образованному, но не умеющему отличить рожь от пшеницы (я, во всяком случае), и отношение к врагу, немцу, «фрицу» — непонятному и злему, когда он в своих окопах или в кабине «мессера», и жалкому, вызывающему сострадание пленному, в обнимку со своим набитым черт знает чем сидором сидящему у костра на берегу Волги...

Родной ты мой «березовый колышек» (в отличие от «горелого», не в обиду ему будь сказано, не понимающего по-русски узбека или казаха). Я навеки полюбил тебя, деревенского парнишку в нелепо торчащей на голове пилотке или серой ушанке в майскую жару (во время харьковского наступления 42-го года мы все были в ушанках, а до того в лютую зиму, в запасном батальоне, под Сталинградом, обмундирование было х/б — хлопчатобумажное — и ни признака белья), в ботинках на два номера больше и вечно разматывающихся обмотках, ленивого, всегда голодного и «не перекурить ли нам этого дела, товарищ капитан?», а в общем-то, вытянувшего всю войну и водрузившего знамя (я знал потом их обоих — и Егорова, и Кантарию — хитрые мужички) на самом Рейхстаге. Ну как тебя не полюбить, защитничка нашего, победителя?

И вот, когда до меня, до моего киевского окружного госпиталя, донеслось, что ты, мой «колышек», где-то там, в Восточной Пруссии, ведешь себя не так, как мне хотелось бы, насилуешь «фрау», вспарываешь перины и

тащишь все, что ни попадет тебе под руку, — мне стало как-то не по себе.

Я не видел всего этого, я только слышал. И не верил своим ушам. Потом понял, что это было. И стал искать оправдание. Мол, победители, дорвались до вражеского стана, всплыло все поруганное немцами у тебя дома. И все-таки не верилось. Хотя... Я помню случай в Сталинграде. После конца нашей Сталинградской войны я бродил по местам бывших боев. И наткнулся на какой-то разрушенный дом. В нем вповалку лежали человек двадцать раненых немцев. Жалкие, слабые, в окровавленных повязках. Я дал им закурить, что-то там сказал утешительное и пошел. На обратном пути я опять зашел к ним. Все они были мертвы. Убиты. Кто-то из наших пришел, увидел и — «ах, гады!» — автоматной очередью вдоль и поперек... Это единственный акт жестокости, который я видел за всю войну. Бессмысленный, тупой, бесчеловечный...

Ну а там, в Восточной Пруссии?

Да, было... Но стоит ли об этом писать?

И вот, пожалуйста, я перешел в стан своих врагов. Об этом можно, об этом нельзя! Соцреализм во всей своей красе.

И с понятной тревогой уже здесь, через тридцать лет после войны, взял я в руки «кирпич» Левы Копелева «Хранить вечно» (до этого я без всякого восторга, с трудом прочел солженицынские «Прусские ночи»). Я не одолел всего «кирпича» (хотя он этого заслуживает) и прочел только военные страницы. И должен признаться, читал захлеб. Я не думал уже о том, можно или нельзя, передо мной проходила жизнь, та самая жизнь, от которой никуда не денешься. Страшная, как сама война.

Думаю, нет в мировой литературе книги, которая так ярко и безжалостно нарисовала бы нам образ советского политработника во весь его рост, тупого, лицемерного, жестокого и жадного. На фоне этого трусливого, надутого, как индюк, солдафона-алкоголика бледнеют все жестокости дорвавшегося до бабы, сующего в свой вещмешок часы и тряпки костромского или рязанского пацана, впервые увидевшего Европу.

Миля Забаштанский, полковник, копелевский начальник — хитрый, неглупый и сволочной, — это уже литературный образ. А рассказ его, как он женился («Ну, в личных делах есть фотокарточки, так что не вслепую выбирал. Скоро надыбал одну — работает в промкооперации, техсекретарь, машинистка, член бюро ячейки, анкета подходящая, родители из бедняков, вся семья без пятнышка, характеристика хорошая, на личность приятная...»), прямо хоть по радио читай, в любую хрестоматию не стыдно вставить.

И тем обиднее мне было читать в «собственном» «Континенте» (№ 8) статью М.В. «О времени и о себе», так поверхностно, недоброжелательно и оскорбительно пишущего о человеке такой нелегкой судьбы, о страшной эпохе предвоенных лет, о которой М.В. слышал-то краем уха.

Книга Л. Копелева именно и ценна тем, что написана она бывшим идейным комсомольцем, ставшим на войне идейным политработником, — были и такие.

Сила книги в ее невероятной искренности, в умении и бесстрашии (а как это трудно!) рассказать о себе то, в чем не всегда и себе признаешься. Исповедь, может быть, самое прекрасное, что только может дать литература.

И я удивляюсь, как не выпало перо из руки автора статьи о Копелеве, когда он писал: «Методы разложения противника — главная специальность героя — все те же: демагогия и ложь, хотя б он в них и верил... Автор вынужден пересказывать нам многочисленные споры, разговоры, где герой выступает человеком чуть более разумным, чуть более порядочным и чуть более жалостливым к тем, кто и так уже разгромлен. Но это «чуть» такое малое, а разговоры и мелкие стычки столь отвратительно советские, коммунистические — с обеих сторон, — что читатель словно купается в грязи».

Да, скажу я, все мы были тогда советские. И не стеснялись этого слова, этого понятия, а гордились им. Не будем лгать. Гордились им! Для нас ТОГДА (трижды подчеркиваю это слово) «советское» было синонимом борьбы за справедливость, синонимом всего героического и несокрушимого, иными словами — ПРАВДЫ, и на пилотках у нас была красная звездочка, та самая, что и на крыльях наших «Илов», насквозь прошитых вражескими пулями штурмовиков, так смело проносящихся над нашими головами навстречу почти верной смерти — из десяти в лучшем случае только пять возвращались потом домой, дымящиеся, дырявые... И тем горше, что это слово стало сейчас синонимом лжи, обмана и насилия, — во время войны мы об этом забыли, закрывали на это глаза, вспоминали в прошлом не 37-й год, а молодость нашу, которую хотели у нас отнять те, с ненавистной нам свастикой.

Но писать сейчас, через тридцать лет, о Копелеве как о лжеце и демагоге, оперируя к тому же словом «чуть» (а за что, позволительно спросить, он сел, этот

демагог?), писать о каком-то «купании в грязи» — просто неприлично.

Я знаю фронт, но я не знаю тюрьмы и лагеря. И никогда я не позволю себе, например, судить и тем более осудить человека, который, сидя еще за решеткой, вынужден говорить или писать не то, что мне хотелось бы. Я не имею на это права.

Впрочем, в какой-то степени имею. Повторяя слова Буковского, скажу — все мы были за решеткой. А я еще и за двойной. Партия — тоже тюрьма. Очень своеобразная, но тюрьма.

Я только что закончил книгу Говарда Фаста «Голый бог». Она всколыхнула во мне многое. И хотя я касался уже этого в первой части моей книги, я вынужден опять вернуться к тому, что было самым сложным в моей (моей ли только?) жизни, — к партии, к коммунизму.

Нынешнее русское поколение не помнит уже Говарда Фаста. А может, и просто не знает. В Советском Союзе сделано все, чтоб этот популярный американский писатель, в свое время у нас издававшийся миллионными тиражами, лауреат международной Сталинской премии Мира, навеки был забыт, вычеркнут из литературы.

Почему?

Приведу просто два абзаца из предисловия к русскому (мюнхенскому!) изданию «Голого бога»:

«В советском «Энциклопедическом словаре» в 1955 году об авторе этой книги — американском писателе Говарде Фасте — написано:

«Родился в 1914 г., видный общественный деятель, коммунист. Автор исторической трилогии, посвященной

войне за независимость Америки (1775–1783), — «Гражданин Том Пейн» (1943) и других. На материале истории США XIX века написан его роман «Последняя граница» (1941), описывающий зверское истребление индейцев американскими властями. В романе «Дорога свободы» (1944) показана мужественная борьба негритянского народа... Романы «Кларктон» (1947), «Подвиг Сакко и Ванцетти» (1953) и пьеса «30 серебряников» (1951) рисуют классовую борьбу в современной Америке. В романе «Сайлес Тиберман» (1954) показана судьба честного американца, профессора, ставшего борцом против пропаганды войны, организуемой правительственными кругами США. Фаст — смелый борец за мир и демократию, автор боевых статей и очерков по важнейшим вопросам политики и литературы. В 1953 г. Фасту присуждена международная Сталинская премия «За укрепление мира между народами»...»

А 30 января 1958 года о том же Говарде Фасте московская «Литературная газета» пишет:

«Говард Фаст, картинно, в расчете на шумную рекламу... пишет письма, статьи, целые книги, доказывая, что он был слеп, но прозрел... «На! — сует он самодельный микроскоп в руки истории, — гляди, как раздеваюсь я догола и ковыряю душевные нарывы свои!»... Он прямо заявляет, что не терпит демократию социалистическую и обожает капиталистическую, он отказывается от революционной борьбы, предпочитая ей, да и то робковато, гомеопатические дозы реформизма, он не доверяет социалистической законности... а сверх всего, уснащает платонические разговоры о «братстве» прокисшим соусом национал-шовинизма... Он в бешеном экстазе оплевывает

бога, которому только что поклонялся... И некому сказать ему при этом: послушайте, Говард Фаст, выпейте бутылку кока-колы... погуляйте по Бродвею... и, приведя нервы хотя бы в относительный порядок, поймите: в области художественного творчества вы человек не без таланта, но до титанов общественной мысли вам далековато... Меняйте себе партийный билет на чековую книжку Манхэттен-банка и живите как можете, не впадая в дешевку самопреувеличения... Но до Говарда Фаста доводы разума дойти не могут... Он никогда сильным логическим мышлением не обладал».

Что же произошло? Почему советская печать сменила свое отношение к писателю? Произошло то, что, пробыв 13 лет в рядах коммунистической партии США, Говард Фаст в 1957 году окончательно порвал с интернациональным коммунизмом и вышел из партии...

Мы после войны зачитывались Фастом. «Последняя граница», «Дорога свободы»... Его издавали, переиздавали, инсценировали. Потом он попал в тюрьму. Свою, американскую. В годы расследования «антиамериканской деятельности». «Где Говард Фаст?» — гневно восклицал тогда Эренбург, пригвождая к позорному столбу американскую общественность. А потом XX съезд. И Фаст исчез. У нас, конечно. Только через два года появилась та самая статья в «Литературке», которая приведена выше. Потом опять ни слова. Пропал. И навсегда...

Через двадцать лет после ее написания я прочитал книгу Фаста. Пожалуй, никогда не читал я подобного. Да, он оплевывает бога, которому только что поклонялся, но не в «бешеном экстазе». Никакого экстаза нет, есть горечь и сознание совершенной чудовищной ошибки. Ему

невероятно тяжело. Тринадцать лет он был коммунистом, причем более чем идейным. Искренним, прямым, мучительно переносившим всю тупость и ограниченность своей партии и ее вождей. И вот, после «секретного доклада» Хрущева, все окончательно рухнуло. Он вышел из партии. Это было скандалом, сенсацией. Но мы об этом ничего не знали.

И вот сейчас я узнал. Через двадцать лет!

Что делает, что пишет сейчас Фаст, я не знаю. Возможно, до сдачи этих строк в печать узнаю, но пока не знаю.

Почему меня так взволновала эта книга? Да потому, что мы оба, я и Фаст, писатели, ровесники (он 1914 года, я 1911-го), оба совершили одну и ту же ошибку, вступили в партию в одном и том же 1943 году, оба выбыли из нее — он в 1958 году сам, а я в 1973 году не совсем сам, оба почувствовали невероятное облегчение и... Вот тут-то и начинается различие. И основное — американская компартия и КПСС, США и СССР.

«Голый бог» имеет подзаголовок — «Писатель и коммунистическая партия». Но в книге не только об этом — о человеке, писателе и тупой машине. Там и о самой этой машине. Американском ее варианте. Я же позволю себе сказать кое-что о советском ее существовании. Когда моя книга будет переведена на иностранные языки (а я думаю, что так будет), надеюсь, что прочитавшие ее коммунисты многое поймут и решатся на нелегкий, но единственно возможный для честного человека шаг — вернуть свой партбилет.

Прочитав книгу Фаста, я понял, что американская компартия так же тупа, ограничена, догматична и жестока (нет, тут не угнаться!), как и наша. Она

микроскопична, но влиятельна, к ней прислушиваются так называемые прогрессивные круги. Вожди ее так же напыщенны, самоуверенны и аморальны, как наши. С той только разницей, что у них есть старший брат, от которого они не хотят отстать, а у старшего брата есть бывший младший, но по размерам куда больше его, ставший заклятым врагом. Кроме того, старший брат сильнее, подчинил себе целую страну, а потому и опаснее.

Теперь по существу. О нашей партии. Той самой, в которой я пробыл тридцать лет (Фаст только тринадцать и не выдержал) и знаю все ее тайны, всю подоплеку, все фарисейство, грубо выражаясь, знаю как облупленную.

Нет в мире партии более сильной, чем Коммунистическая партия Советского Союза, и в то же время более слабой.

Нет в мире партии более беспринципной и лживой.

Нет в мире партии более дисциплинированной и в то же время растленной, хотя и сказал о ней когда-то Роберт Рождественский «самая поэтичная партия»!

И, наконец, нет в мире партии, которую так бы дружно ненавидели в народе, даже сами члены партии.

(Спешу в скобках оговориться — когда я говорю «нет в мире партии», я вычеркиваю из этого мира Китай, т. к. ничего ни о нем, ни о его партии не знаю, кроме того, что она во много раз больше нашей. А насколько и как она сильна и растленна — в этом не сомневаюсь! — не знаю.)

Итак, поговорим о каждом из перечисленных выше утверждений отдельно.

Да — партия сильна. Сильна, потому что проникла во все поры жизни. Советов, тех самых, от которых пошло слово «советский» и в которые каждые сколько-то там лет выбирают депутатов, — нет. Есть рай-, гор-, обл- и крайисполкомы этих Советов со своими секретарями и чиновниками, но самих Советов нет. Ни трудящихся, ни рабоче-крестьянских, ни красноармейских, никаких. Вместо них рай-, гор-, обл-, крайкомы партии. Они все решают. Верховных Советов тоже нет. Есть президиумы, председатели этих президиумов, есть ничего и никогда не решающие депутаты, в Киеве есть даже очень помпезное здание с куполом, построенное Наташей Чмутиной, моей однокурсницей (хотя автором проекта считается академик В. Заболотный), называемое сессионным залом Верховного Совета, но в нем в основном, чтоб не пустовало, проходят разные конференции и съезды, в том числе и писателей. Верховный Совет выпускает указы, но составляются они в ЦК партии — в Киеве в длинном, сером, с беззвучными коридорами и громадными кабинетами здании на Банковой (ныне Орджоникидзе) улице.

Одним словом, советской власти — нет. Понятие это — анахронизм.

Есть Партия. Та самая, которую не принято даже называть Коммунистической. Партия, и все!

Сильна она еще и тем, что есть у нее то, чего нет ни у американской, ни у какой-либо другой компартии буржуазного мира, — у нее есть КГБ. Что это такое, объяснять не будем. Ясно.

Все вопросы в стране решаются (и разрешаются) партийными руководителями. На всех этапах. От секретарей первичных парторганизаций (одним из

которых и я был когда-то), но это по мелочам, до Генерального секретаря (что он решает сам, что ему подсказывают, а что заставляют делать — не знаю, туда не проникнешь). Партия везде. Она все видит, все знает, все решает. Заодно и думает за всех. Твое дело — выполнять.

В этом сила Партии.

В чем же ее слабость? Не задумываясь, отвечаю — в ее трусости. Она боится всего. Прежде всего народа. Своего собственного народа. Боится, чтоб он, Боже упаси, не узнал того, что ему не положено. Поэтому читай, что дают, и слушай нашу очередную передачу «О делах сельских тружеников» или «Дневник соцсоревнования». (По абсолютно непонятным причинам не глушат сейчас Би-би-си и «Голос Америки». Загадка. Я бы глушил...) Кроме того, она боится диссидентов, молодых поэтов, Пушкинскую площадь, а до этого «Маяковку», и, конечно же, Сахарова. Солженицына выдворила тоже из страха. Но больше всего она, они (руководители) боятся друг друга. Брежнев Сулова, Сулов Кириленко, Кириленко Андропова, ну и т. д. Не боятся только Подгорного, а он, бедняжка, боится всех. Уж больно он, как у нас говорилось, не Спиноза. Думаю, что даже не Ванька Жуков, ни в каком возрасте ему такого письма на деревню дедушке не написать... Как его пускают в разные Египты и прочие африканские Сомали, одному Богу ведомо. Возможно, в последний раз он чего-то там напутал, а Кастро наябедничал, вот и прогнали. И как — без всяких объяснений! А народ? А что народ? Чего там ему объяснять. Был Подгорный и нету — один черт. В общем-то, верно.

Кроме того, партия (она же Советский Союз) боится Китая. И Америки тоже. Дорогой Дж. Картер, знайте это. Ужасно как боится. До дрожи в коленках. Но хорохорятся. Не верьте приличной внешности Добрынина. Он вручает вам ноту протеста, а коленки дрожат, и ладони потеют.

(Ниже я расскажу об одной встрече с довольно крупным партийным чиновником ЦК партии, и как он испугался, когда я на него прикрикнул. Но это позже.)

Второе — нет в мире партии более беспринципной и лживой.

Принципов у этой партии никаких. Есть «учение Маркса — Ленина» (Сталин, шедший через следующий дефис, отпал — вот вам и принципиальность), которое с удручающим однообразием, ежегодно, в который раз, изучают все снизу доверху и на которое всем (и руководителям тоже) в высшей степени наплевать. Кроме него, ничего нет. Был когда-то «Краткий курс» — святая святых, коран коранов, но сейчас о нем и вспоминать неприлично. Теорий никаких ни в каких областях нет. Соцреализм? К определению Энгельса «Типические характеры в типических обстоятельствах» добавлено «в своем развитии», а на съездах с трибуны призывают к тому же «правдиво освещать и воспевать ратный или мирный созидательный труд самого передового в мире советского человека».^[63] Вот вам и вся теория литературного процесса. В архитектуре же (тоже ведь искусство) и вовсе исчезла теория. Был когда-то конструктивизм, функционализм, а сейчас? Не

⁶³ Кто-то где-то спросил: «А если нечто героическое сделает, допустим, голландец, будут ли говорить: «Это мог сделать только голландский человек»? — Прим. авт.

помню уже, на каком съезде архитекторов и кто из архитектурных руководителей сказал: «Социалистический реализм в архитектуре — это строить быстро, хорошо и экономично». Что говорят сейчас, не знаю. Думаю, что ничего. Проектируют и строят, заглядывая в иностранные журналы. Пожалуй, лучший выход из положения.

К вопросу о принципиальности относятся и принципы политические. Всю жизнь мы поносили Гитлера и фашизм, точнее, с начала тридцатых годов. Потом на сессии Верховного Совета в сентябре или октябре 1939 года тов. Молотов сказал, избегая слова «фашизм»: «Западные державы объявили войну национал-социализму. Но национал-социализм — это уже идейная категория. Разве можно воевать с идеей?» Потом эта идея, ставшая опять фашизмом, захватила пол-России и дошла до Сталинграда.

Последовательности нашей («последовательная миролюбивая внешняя политика») диву даешься. Покоренная Прибалтика — самоизъявление народа, Западная Украина, Белоруссия и Буковина — воссоединение, а Газа и Иерусалим — оккупация. Корея искусственно расколота, Вьетнам после тяжелой войны воссоединился, а Германия — упаси Бог! — два суверенных государства, и единой немецкой нации нет! Нет, и все! Две немецкие нации. А между ними стенка и пулеметы.

О лжи... Ею пропитано все. Газеты, радио, художественная литература (за очень малым исключением), собрания, митинги, школа, вся жизнь.

Не буду вдаваться в подробности, советскому читателю это известно, для западного же не хватит

страниц, расскажу лучше о том, что советский читатель не знает. И я не знал. Узнал, прочитав Говарда Фаста.

Я позволю себе привести довольно большой кусок из «Голого бога», он стоит того, чтобы его прочесть:

«На вечере я был в числе маленькой группы, которая разговаривала с Борисом Полевым. Разговор касался советских писателей и того, что они делают в настоящее время, — и так как Полевой не говорил по-английски, то переводил мой старый друг, русский язык которого был безукоризненным. Безукоризненность его языка в данном случае была очень важна, потому что после этого я несколько раз проверял точность всего сказанного. Кто-то спросил Полевого, не может ли он нам сообщить какие-нибудь сведения о еврейском писателе Квитко. Мы объяснили Полевому, что уже некоторое время ходят слухи о его аресте в числе других еврейских писателей и даже о его насильственной смерти. Может ли Полевой рассеять эти слухи раз и навсегда?

Полевой сказал, что может и что слухи эти, конечно, обычная антисоветская клевета. К счастью, он, Полевой, в состоянии опровергнуть ее, потому что Квитко в настоящее время живет в том же доме, где и он, Полевой. Какое же может быть лучшее опровержение слухов, сказал Полевой. Нас всех это очень обрадовало, и мы вздохнули свободно. Мы спросили, что Квитко делает, — и Полевой нам ответил, что он заканчивает перевод и собирается писать новую книгу. Он добавил, что виделся с Квитко перед отъездом в Америку и что Квитко просил передать привет его американским друзьям.

Так ответил Полевой — и при этом было слишком много свидетелей, чтобы это можно было отрицать. Но

после отъезда Полевого и после XX съезда партии из еврейско-польских коммунистических газет мы узнали, что Квитко уже много лет не было в живых, что его замучили и убили, как Фефера и Бергельсона».

Я тоже знаю Бориса Полевого. В свое время мы даже симпатизировали друг другу. Он редактор журнала «Юность», и на него в общем-то никто не жалуется. Дурных поступков его я не знаю, а в одном деле он мне даже помог. Это когда в Киеве попытались запретить сделанный по моему сценарию документальный фильм «Неизвестному солдату». Полевой вместе с Твардовским и Сурковым посмотрел его и защитил. Фильм вышел на экраны.

И вот, оказывается, в Америке Говарду Фасту и другим писателям он сознательно и в полной уверенности, что служит верную службу, беззастенчиво лгал. Я даже вижу, как он это делал. Очень убедительно, с улыбочкой своего в доску парня придумывал несуществующие детали. Вот в чем ужас партии. Это она сделала его таким, человека в общем-то неплохого и скорее доброжелательного, чем злого.

Фаст и Полевой обменялись потом письмами. Фаст написал первый, Полевой ответил. Очень длинным, водянисто-дружески-дипломатическим письмом. Заканчивалось оно так: «Эх, старина, как хорошо было бы нам встретиться за рюмкой водки или виски — все равно чего — и потом, по старому интеллигентскому обычаю, говорить и спорить до поздней ночи, не обращая внимания на зевки и злые взгляды жены...» О чем же спорить? О соцреализме? О Маресьеве? О дискриминации негров в Америке? О росте безработицы? О героизме Красной Армии? О чем же тут спорить?

«Я буду по-прежнему с нетерпением ждать Ваших писем, — пишет Фасту в своем последнем письме Полевой, — потому что я твердо верю, что мы оба, — да, мы оба, я уверен в этом, — имеем много общего и связаны общим делом благородной борьбы за мир и прогресс».

Сколько лицемерия и лжи в этих словах, и как на этот крючок ловятся Говарды Фасты, Ромены Ролланы, Бернарды Шоу, Фейхтвангеры... «Сталин — это Ленин сегодня», — сказал не кто иной, как Анри Барбюс, человек, в честности которого никто не мог усомниться.

Фаст ответил на это письмо Полевого. И спросил о Квитко. «Почему Вы должны были лгать — так ужасно и так преднамеренно?» Ответа не последовало.

Есть еще один факт, из той же области, из той же книги:

«Я вспоминаю приезд советской делегации на конференцию, имевшую место в отеле Уолдорф, в Нью-Йорке, в 1949 году... Во время заседания литературной секции конференции Мэри Маккарти спросила Фадеева, что произошло с рядом советских писателей, имена которых были перечислены. Фадеев не только дал честное слово советского гражданина, что все упомянутые писатели живы и здоровы, но и, не задумываясь, перечислил их должности и описал характер работы, которой был занят каждый из них. Он рассказал, где они живут, когда он их видел и как они смеялись над «капиталистической клеветой», что их преследуют. Его ответы были так убедительны и изобиловали такими подробностями, что нельзя не отдать должного творческой фантазии, проявленной в его рассказе гораздо более ярко, чем в его книгах...

И тем не менее все это от начала до конца была ложь. Об этом я узнал из рассказов польских и русских коммунистов восемь лет спустя. И все те лица, о которых Фадеев говорил так убедительно и с таким знанием подробностей, в то время, когда он говорил, были уже умерщвлены, замучены, расстреляны или находились в тюрьмах, где их пытали и били и откуда им не суждено было выйти».

Я думаю, добавить нечего...

Нет в мире партии более дисциплинированной и растленной.^[64]

Да, дисциплинирована. И результат этой дисциплины то, что Советский Союз при всех своих провалах вышел в первый ряд индустриальных держав мира и стал если не первой, то второй страной по силе своего вооружения (впрочем, тут не только дисциплина, тут и горы трупов). Но построена эта дисциплина в основном на страхе. Была такая пьеса Афиногенова «Страх». Как она попала на подмостки Художественного театра, до сих пор непонятно. В этой пьесе профессор Бородин (вроде бы академик Павлов) говорит:

«Вместе с партийными товарищами мы провели объективное обследование нескольких сотен индивидуумов различных общественных прослоек. Общим стимулом поведения восьмидесяти процентов всех обследованных является страх. Восемьдесят процентов всех обследованных живут под вечным страхом окрика и потери социальной опоры. Молочница боится конфискации коровы, крестьянин —

⁶⁴ Стр.350 Нет в мире партии более сильной... — Те же рассуждения о КПСС Некрасов приводит в эссе «Через сорок лет...».

насильственной коллективизации, советский работник — непрерывных чисток, партийный работник боится обвинения в уклоне, научный работник — обвинения в идеализме, работник техники — обвинения во вредительстве. Мы живем в эпоху великого страха. Страх заставляет отрекаться от матерей, подделывать социальное происхождение, пролезать на высокие посты. Да, да... На высоком месте не так страшна опасность разоблачения».

С последним я не согласен. На высоком месте больше денег и возможностей, но страха не меньше. И вот этот страх движет всей колоссальной машиной, именуемой государством, которое скрипя и разваливаясь, но движется все же вперед.

(В институтские годы я позволил себе на какой-то дискуссии процитировать этот монолог Бородина, утверждая, что и нами, студентами, движет страх, боязнь получить дурную отметку, поэтому мы с легкостью выполняем требования профессоров — от нас тогда требовали, после конкурса на Дворец Советов, отказаться от конструктивизма и перейти на колонны и портики. Мне за это тогда крепко досталось, и за диплом я получил троечку!)

Итак — дисциплина построена на страхе...

Простите, а энтузиазм? Вспомните. Двадцатые годы. Люди отказывались от всего, ехали... Да, ехали и доехали, как сказал мне один старик колхозник, когда я пытался говорить ему нечто подобное... Нет энтузиазма, давно нет. Только в газетных статьях о принимаемых приветствиях родному ЦК на очередном митинге или собрании писателей. И романтика БАМа только в «Комсомолке» да бодрых песнях по радио. БАМ — та же

дисциплина. Иными словами, подчинение приказу. Не поедешь — исключим, прогоним, накажем. Есть решение — выполняй. А так как выполнить в большинстве своем невозможно (читай Л. Владимирову, как он работал на автомобильном заводе), в дело вступает обман. А обман — отец разложения, растления.

(В армии мы тоже ввали. Количество сбитых вражеских самолетов было по крайней мере в десять раз меньше, чем указывалось в сводках Информбюро. О каждом упавшем в Волгу немецком самолете доносил каждый батальон, сделавший по нему два выстрела из винтовки: «Метким ружейно-пулеметным огнем сбит вражеский самолет». В полку три батальона, в дивизии три полка. Вот дивизия и сбивала девять самолетов. А сколько дивизий было в 62-й армии? Но там, в штабе, знали, что врут, срезали, но десяток все же оставляли.)

На высоком месте не так страшна опасность разоблачения. Ой ли? Там-то она особенно и страшна. Ведь тогда ты лишаешься всего. Партийный пост — это благополучие. Именно пост, а не членство. Членство иной раз и боком вылазит: исключенный из партии — это похуже бывшего «лишенца». А пост — это пост. И власть, и возможности, и чем он выше, тем бесплатнее жизнь и лучше лекарства, с определенной ступени и заграничные. Если верить Земцову (а он уж очень близко к кормушке стоял), то за право сесть в кресло секретаря райкома нужно и солидную пачечку выложить.

Помню, как довольно крупный киевский руководитель, снятый со своего министерского поста, рассказывал не без юмора: «Теще моей в поликлинике воткнули шприц в задницу, но лекарство так и не впустили — увы, не положено уже, вставайте...»

Ну и, наконец, о самом сокровенном, о любви к партии. Тут, между прочим, какая-то путаница. Сокровенное — это как раз то, о чем во всеуслышание не говорят (ну, разве что за пол-литрой), — и это отнюдь не любовь, это и есть та самая ненависть, о любви же только на собраниях.

Со всей ответственностью говорю — среди шестнадцати миллионов членов партии нет ни одного, кто хоть на минуту, на секунду верил бы в коммунизм. Есть люди, которые слепо верят в нужность того, что они делают, есть еще, и в достаточном количестве, сталинисты, считающие, что делается даже недостаточно, но человека, верящего в сияющую зарю коммунизма (может быть, еще в сумерки, в ночь...), — нет. Ни одного. Даже там, в Кремле.

Я не говорю о западных коммунистах, я их просто не знаю, но думаю, что Берлингуэр — у него такое интеллигентное, усталое, невеселое лицо — тоже не верит. Верит во что-то другое — я его, не знаю почему, может быть за это усталое лицо, идеализирую, — но называет почему-то коммунизмом. Пусть даже с «евро», но коммунизмом.

В народе же в простом, как мы иногда говорим, и не в простом, слово «партия» вызывает ненависть. Может быть, только молодежь, и то определенная ее часть, относится к ней безразлично или с иронией. О комсомоле вообще говорить не будем — это фикция, необходимый принудительный ассортимент, с которым расстаются без мук и переживаний — выбыл автоматически...

Вероятно, для полноты картины надо было бы сказать и о неизлечимой нашей болезни — словоблудии, об инфляции слова, о везде развешанных лозунгах,

которые сетчаткой уже не воспринимаются, об издательствах, которые вынуждены сокращать свои планы, т. к. бумага идет на брежневскую болтовню, но тут уж надо писать целую книгу. Был, кажется, в Австрии, до оккупации, естественно, опубликован труд известного ученого Клемберера «Lingua Tercia Imperia» — «Язык третьего рейха». Вот надо было бы, чтоб и у нас нашелся такой Клемберер. Книга была б нарасхват. Впрочем, передовицы в «Правде» лучше и короче не стали бы.

Вот в кратчайшем, наикратчайшем изложении сущность этой «самой поэтичной в мире» партии.

И тут же я слышу вопрос — но ты-то, ты, очевидно, все это знавший и раньше, тебе ж было уже тридцать два года, как ты-то мог вступить в эту «самую поэтичную»?

Я этого уже касался, могу развить. Я никогда не был политиком. До войны были свои увлечения — архитектура (мечтал получить первую премию на каком-нибудь всесоюзном конкурсе), театр (сыграть Хлестакова, о котором Станиславский сказал после того, как я ему показал отрывок из «Ревизора»: «Да, конечно, вы с вашим Хлестаковым можете выступить в любом театре...»), а потом расчихвостил, но за первую фразу я крепко уцепился на всю мою недолгую актерскую жизнь), Днепр (мы были не худшими гребцами и пловцами киевского пляжа тех лет), всякие Военно-Осетинские и Военно-Сухумские дороги с рюкзаками на спине, ну и, само собой разумеется, сидение в обнимку в кустах на днепровских откосах. А жизнь страны шла своим чередом. Трудноперевариваемая смесь съездов, челюскинцев, арестов, перелетов через Северный полюс, процессов, «Юности Максима», войны в Испании,

утесовской «И тот, кто с песней по жизни шагает», папанинцев, очередей за маслом, советского павильона на Парижской выставке с мухинской, всех тогда покорившей скульптурой, хасанских событий (первая и, в общем, выигранная война), моих переживаний с Вронским, которого я «воплощал» на клубных сценах Немирова и Гайворона, хлебных карточек, восхождения на Эльбрус с другом моей юности Локштановым (а через без малого сорок лет выяснилось, что нам и говорить-то не о чем), Гитлера и всего сопряженного с ним, позорной финской кампании (Бог ты мой, третий месяц топчемся на одном месте, в городе половина школ превращена в госпитали — это было в Вятке, тогдашнем Кирове) и, наконец, война, на этот раз настоящая...

Первую зиму я провел командиром взвода запасного саперного батальона в крохотной деревушке Пигуча на берегу Волги севернее Сталинграда. Туда мы пришли пешком из-под Ростова и остались на всю зиму. Учили солдат тому, чего и сами не знали. Настоящий тол и взрыватель я впервые увидел уже в Сталинграде, через год. На весь батальон (а в нем было около тысячи человек) была одна боевая винтовка. На стрельбах (за всю зиму) каждому бойцу полагалось по одному патрону. Окопы (предмет этот у нас назывался «Укрепления и фортификация») в насквозь промерзшем грунте копали деревенскими лопатами. Из восьми учебных часов четыре, а то и шесть, полагалось проводить на воздухе — взвод в наступлении, в разведке, в охране, эти самые фортификации. Морозы были сорокаградусные, а так как белья у солдат не было, я забирал у хозяйки (она была почтальоном) все газеты, и бойцы заворачивали в них свои чресла.

К весне весь рядовой состав был отправлен на Крымский полуостров (по секрету сообщил мне адъютант старший) и там полег костями. Мы же, офицеры, отправлены в боевые части полковыми инженерами (все виды мин и других заграждений я видел только на картинках).

В апреле 42-го года наш полк выступил из станицы Серафимович, где формировался, на фронт. Мы продефилировали по главной улице с развернутым знаменем. Направо и налево от знаменосца шагали два так называемых ассистента с учебными (дырки в стволах) винтовками на плечах. Дальше «С места песню!», строевым шагом весь полк... хотите верьте, хотите нет, с палками вместо винтовок. Вот так, с палками на плечах. Станичные бабы ревели: «И вот так вот вы на немцев? С палками?» А полковая артиллерия — бревна на колесах от подвод, которые тащили четыре полковые клячи. Кто мог это придумать — один Аллах ведает.

Оружие, настоящее оружие (офицеры пистолеты ТТ — тоже первый раз в жизни, бойцы — винтовки образца 1891 года) получили за неделю до начала боевых действий под Терновой, возле Харькова. Учебных стрельб, само собой, не было. Собрать и разобрать винтовку умели только командиры рот, из кадровиков, попавшие к нам из госпиталей.

Так началось знаменитое тимошенковское наступление на Харьков в мае 1942 года. Чем оно кончилось, известно.

Чем кончился Сталинград, тоже известно. И вот это-то, от палок до трехсот тридцати тысяч пленных паулюсовской армии, очень на всех нас подействовало. И внушило веру, ту самую, о которой я уже писал.

Кроме веры, было и еще нечто. Я был в полку единственным беспартийным офицером. Белой вороной. «Ну что ж, капитан (в Сталинграде я стал капитаном), всю картину нам портишь. Самый у нас интеллигентный, с высшим образованием, а... Пора, пора», — говорил замполит. А командир полка, мягкий, добрый, замучивший нас в Сталинграде своими НП («тут холодно»... «тут слишком высовывается»... «тут перекрыли плохо»...), иронизировал еще: «А может, ты просто меньшевик? А? Признайся». Мой друг Ваня Фищенко (он же Чумак из «Окопов Сталинграда») еще поддавал: «Да он просто фашист. Вчера в землянке, видел я, марки с Гитлером в альбом клеивал, он же у нас этот, фила... филотист, что ли». (Я действительно нашел в немецком блиндаже альбом с марками и по вечерам над ним возился.) Вот так это и случилось.

Изменилось ли что-нибудь в моей армейской жизни? Да ничего. Платил только взносы. Ни одного партийного собрания в полку что-то не припомню. Потом ранило. В саперном батальоне, куда я попал после госпиталя, тоже не припомню. Первое, на которое я попал, было то, где меня избрали секретарем парторганизации. В редакции газеты «Радянське мистецтво» («Советское искусство»). Организация наша была маленькая, дружная, год был веселый — победа! — никто никому, как в Киеве говорят, не морочил плечи.

Весь этот год я писал свою первую книжку. На следующий она вышла. И вот тут-то произошло первое столкновение. Без всяких последствий, но оставившее свой первый след. В том самом журнале «Знамя», где напечатаны были «В окопах Сталинграда», в десятом номере, как раз перед самой повестью, опубликовано было страшное, до сих пор недезавуированное,

постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград». Это был первый удар по литературе, первая, так сказать, ласточка.

Естественно, из райкома поступило указание — провести собрание на эту тему. Я горжусь этим собранием. Нет, не потому, что я встал и сказал: «Товарищи, мы присутствуем при начале того, что, казалось, никогда уже не может повториться, при начале гибели литературы». Нет, я этого не сказал. Таких смельчаков, камикадзе в нашей стране мало. И я им не оказался. Но я выкрутился. «Товарищи, — сказал я, — все вы читали последнее постановление ЦК партии. Люди все вы грамотные, начитанные, и думаю, что объяснять, что и как, нет никакого смысла. Примем к сведению и руководству. Если есть другие предложения — прошу». Коллектив наш был маленький, дружный, других предложений не последовало, и мы разошлись. Все собрание длилось (Володя Мельник засек) около двух минут. (Было еще одно, по подписке на заем, оно длилось 45 секунд — хронометрировал все тот же Володя Мельник.) Эти два собрания я отношу в свой актив. В дальнейшей моей партийной биографии таких затыканий амбразур собственным телом (кругом, правда, были только друзья, инструктора райкома почему-то не было) больше не случалось. Мой героизм дальше «воздержался» и неприсутствий не шел.

Я говорю об этом сейчас вроде бы шутливо, но все это далеко не шутки. Бесконечное количество партсобраний, на которых мне за тридцать лет пришлось присутствовать (кругом уже не друзья, Союз писателей), кроме всякой чепухи, отчетов и перевыборов, посвящено было уничтожению, топтанию, разоблачению, выведению на чистую воду, признанию своих ошибок,

обещанию больше никогда, ни в чем, ни с кем и сопровождалось гневными (часто от души — думал, что классик, а вот видишь, и не классик!) выкриками из глубины зала: «Позор!», «Ганьба!»

В американской компартии, я понял, прочитав Фаста, происходило тоже нечто подобное. Тоже клеймили, тоже обвиняли, тоже заставляли публично признавать свои ошибки, но там не было одного — так пишет Фаст — не было тюрьмы и смерти. А у нас была. И тюрьма, и смерть, и полное забвение...

Ответил я на вопрос о том, зачем и как я вступил в партию? Вроде бы и ответил. А вот как я тянул эти тридцать лет? Зоценко и Ахматова, космополитизм, врачи-убийцы, потом вздох облегчения, смерть Сталина, XX съезд, оттепель — и опять: Польша, Венгрия, Чехословакия... А у тебя в кармане партийный билет...

Да, у тебя в кармане партийный билет. И у шестнадцати миллионов такой же партийный билет. А за рюмкой, стопкой, стаканом водки, шепотом, полусшепотом, а после второго стакана — жена делает круглые глаза, машет руками — да, воруем! да, обманываем! а на что мои партвзносы идут?! обнесли свои дачи заборами, хлещут заграничный коньяк! а ну, Вась, поставь Галича!.. А утром, опохмелившись, идут воровать, обманывать, голосовать «за»...

Все такие? Нет, тысячу раз нет! Их мало, тех, которые «нет», но на них смотрят. Учатся. Может, кто-то и завидует. А кто-то жалеет. Но не могут не преклоняться. Есть замечательный анекдот про водку и Сахарова. «Слышал, цену на водку повышают?» — «Не может быть, Сахаров не даст!» Анекдот анекдотом, но это и молва, и памятник, хотя и неправда, вот выставили

на прилавки «Колос» — шесть-двадцать, и ничего не произошло. Сахаров-то, оказывается, непьющий.

Самое страшное в этой партии, в этом союзе единомышленников, как она называется в уставе, это то, что в ней мышление как таковое запрещено («за то, что позволил иметь себе собственное мнение...»), и второе — что из нее нельзя выйти.

Я знаю только два примера самовольного ухода. Это Елена Боннэр, жена Сахарова (пришла в райком, после одной из демонстраций, где ее оскорбили, и сказала: «Вот ваш билет. Я не против советской власти, но на некоторые вопросы я смотрю иначе, чем сказано в уставе партии. Возьмите билет!»), и некий начальник отдела кадров московского телевидения, который сказал нечто подобное, даже резче, на каком-то собрании и тут же был увезен в психушку.

Возможно, и мне надо было так поступить, но я не поступил. И в этом моя вина. Перед самим собой в первую очередь...

Я обращаюсь ко всем, кто носит еще этот билет в своем кармане. Нет, не к членам КПСС — там эта ложь, самообман и — скажем прямо — трусость не скоро переведутся, и не мне, исключенному, а не ушедшему, давать советы, — я обращаюсь к западным коммунистам.

Не верьте тем, кто говорит, что коммунизм — это светлое будущее. Коммунизм — это демагогия и обман. Я не могу даже сказать «красивые слова» — их тоже нет! — красота и коммунизм несовместимы. Придя к власти, они будут в основном всё запрещать. И того нельзя, и того нельзя, а главное, нельзя думать, перечить. Мы у власти, мы стараемся поставить на ноги экономику (ох, уж эта экономика!), а вы тут забастовки

устраиваете. Вы ж сами против себя бастуете. И начнут вас разгонять тем же самым газом и бить по голове дубинками. Ваша же полиция будет вас же беречь.

Так будет. И не хватит места в тюрьмах и лагерях Гвианы (они там еще есть?), а какого-нибудь Monsieur le Sucre^[65] назовут врагом французского, а Mister'a Shugar — английского, Herr Zucker — немецкого народа и отключат у них телефон для начала.

Так будет. Не может быть иначе. Пока Марше и Берлингуэр смотрят на кремлевские звезды и называют то, что произошло в октябре 1917 года, Великой Социалистической революцией. Когда ж они событие это назовут настоящим его именем — рождением тирании, — тогда можно будет и подумать, стоит ли за них голосовать. Но не раньше. Ни на минуту раньше!

Маленькое примечание, вернее, иллюстрация к вопросу о трусости. Выше я упомянул о некоей моей встрече с партийным боссом, на которого слегка прикрикнул. Боссом этим было весьма известное в писательской среде лицо по фамилии Поликарпов. Он был начальником отдела или сектора литературы в ЦК КПСС (а до этого, если не ошибаюсь, кем-то в Союзе писателей), и главной его обязанностью было поучать, направлять, поправлять и кричать. Иной раз он и кулаком по столу стучал.

И вот я с ним встретился.

Дело происходило так. Как-то в Киеве меня срочно вызвали в Спитку, наш Союз писателей, и весьма таинственно сообщили, что я должен немедленно сесть в

⁶⁵ Месье Сахар (франц.), мистер Сахар (англ.), герр Сахар (нем.).

самолет и вылететь в Москву. Меня, мол, вызывают в ЦК партии. Вот вам командировка, отправляйтесь сейчас же...

На следующий день я был уже в немыслимых размеров кабинете этого самого Поликарпова. Он сидел за гигантским письменным столом, но, когда я вошел, встал и пошел даже навстречу.

Беседа была конфиденциальной. Василий Семенович Гроссман собирался опубликовать вторую часть своего романа «За правое дело», и вот мне как другу его (было сказано даже «ближайшему», что мне очень польстило) поручается отговорить его от этого шага.

— Гроссман большой писатель, к его голосу прислушиваются, но печатать его антисоветчину мы не будем. Так и скажите ему.

Я не согласился с ним, сказал, что антисоветчины Гроссман написать не может. Он может высказывать...

Закончить мне не дали. На меня высыпан был весь набор положенных в таких случаях слов — мнение ЦК... мы не можем позволить... советский писатель всегда должен помнить... мы воспитываем народ в духе... ваша обязанность как коммуниста...

Тут я сказал что-то насчет того, что моя обязанность коммуниста не учить Гроссмана, а учиться у него...

Что тут последовало... Кулаком по столу... И я кулаком по столу. Не кричите на меня! Я не привык! Пуганый! Я немцев в Сталинграде не боялся, а они за шестьдесят метров от меня были, так вас уж подавно!

И подействовало. Он сразу уgomонился. Стал тише. Даже улыбнулся. Ну, чего нам с вами ссориться, мы ж с вами одно дело делаем...

Как там насчет этого одного дела, я спорить не стал, но с того дня аргумент со Сталинградом и немцами за шестьдесят метров взял на вооружение. После этого я еще несколько раз пускал его в ход, и всегда с успехом.

В следующий раз, когда я к Поликарпову попал, — вызван я был, чтоб вставить что-нибудь о французской компартии и рабочем классе в мой очерк «Месяц во Франции», со дня на день ожидался визит де Голля, — я застал его в другом уже кабинете, значительно меньшем, и в шуточной форме сказал ему об этом. Поликарпов только захихикал и развел руками, начинался уже его закат.

Только так надо с ними разговаривать. И кричать на них надо. И стучать по столу кулаком. Очень действует. Я б хотел, чтоб западные премьер-министры и президенты усвоили эту истину. Только кулаком и по столу — другого языка они не понимают.

* * *

Небо чистое-чистое, ни одного облачка. Вечер. Темнеет. Легкий ветерок слегка треплет флаг за моей спиной. Я сижу на камнях, кругом кустарник, маслины. Передо мной, чуть пониже, полукругом люди. Человек пятьсот-шестьсот. Стоят молча, ждут.

На небе, над самым озером, зажглась первая звезда.

Из толпы вышел человек, молодой, кудрявый, с очень впалыми щеками и глазами, которые принято называть горящими.

— Приспустить флаг, — командует он. — Возжечь огонь.

Кто-то пробегает мимо меня, карабкается на камни, и на фоне лилового неба вспыхивает пламя.

— Ровно тридцать пять лет тому назад, 29 сентября 1941 года, в Киеве, в Бабьем Яру, раздался первый залп по евреям.

Так начал молодой человек со впалыми щеками, с горящими глазами, Амик Диамант, собравший здесь, на Голанских высотах над Генисаретским озером, всех тех, для кого Бабий Яр — не просто овраг на окраине Киева, замытый и превращенный сейчас в пустырь, а кусок твоей жизни, жизни твоего народа.

Десять лет тому назад, того же самого 29 сентября, в день двадцатипятилетия расстрела, тот же Амик Диамант прикрепил к каменной стене не существующего сейчас, разрушенного старого еврейского кладбища плакат. На нем по-русски и на иврите было написано: Бабий Яр, 1941–1966. Он провисел недолго, его сорвали. Как закончился этот день, каковы были его последствия, об этом я уже писал.

Через десять-двенадцать дней на месте так называемого сионистского сбирища поставлен был камень. Сейчас сооружен памятник. Потребовалось тридцать пять лет, чтоб, преодолев чье-то упорное сопротивление, появились на месте расстрелянных стариков и старух бронзовые мускулы полуголых борцов

и подпольщиков, спокойно и уверенно под дулами пулеметов смотрящих в будущее.

Люди стоят, опустив головы. Они приехали сюда, на Голанские высоты, машинами и автобусами со всех концов Израиля. Совсем недавно кто-то из них еще бросал свои букетики или возлагал венки возле десять лет простоявшего серого куска гранита, по-своему символизировавшего слова «Ничто не забыто, никто не забыт». Сейчас к пылающему факелу молоденькая девушка принесла букет роз, которые просили возложить ее пограничники с ливанской границы, она где-то совсем рядом.

Молодой киевлянин, по имени Виктор, из тех, кого киевская милиция в первую очередь заталкивала в «воронки», читает письмо, пришедшее из Киева. И мы видим, слышим, как там, за тысячи километров от нас, собравшихся сейчас здесь, кто-то с трибуны, обтянутой красным, говорит о зверствах, нет, не фашистов, а первых их прислужников, врагов всего прогрессивного — сионистов. А молодые люди в пиджаках со слегка оттопыренными боковыми карманами зорко следят за другими молодыми людьми, вот теми, с венком, провокационным венком с бело-голубой лентой.

А за спиной моей развевается знамя с голубыми полосами на белом фоне, то самое, с шестиконечной звездой, которое в «Правде» всегда изображается в руках хищного, алчного, в каске негодяя с крючковатым носом. Агрессор, мать его за ногу...

И, стоя под ним, не моим, я вспоминал то, мое, красное, перед которым стоял на коленях, когда 284-я стрелковая дивизия наша стала именоваться 79-й гвардейской. И думал о том, как оно, под которым

столько было отдано жизнью, опозорило себя, развеваясь на танках, входящих в Прагу. Оно, которое в 45-м году встречали в Праге криками восторга и радости, стало символом чудовищного вероломства, стало так же ненавистно, как другое, со свастикой в белом кругу, а круг на том же красном полотнище...

Пели молитву. Тоже чужую, непонятную мне, как и многое в этой стране. И горы окружали меня чужие, невысокие, складчатые, сухие над вечерним озером. Но себя я не чувствовал чужим.

За те немногие дни, что я пробыл в этой маленькой, изрезанной границами, окруженной врагами, обуреваемой страстями, верной чуждым мне традициям стране, я понял, что я ей не чужой, как и то, что она близка мне. Чем же? Чем может быть близка мне страна, язык которой я никогда не выучу, религиозный уклад которой мне далек и мирты не похожи на березы? Я стоял у Стены Плача в черной ермолке на макушке и смотрел на старых евреев с длинными пейсами и в белых чулках и на бледных мальчиков с такими же пейсами, на молодого светловолосого парня в солдатской форме, на нем тоже была ермолка, и губы его что-то шептали. И, глядя на него, в запыленной его форме, и на тех, на автобусных остановках, голосующих на дорогах, чтоб подвезли на субботу домой («Мерзавцы, а кто же в лавке остался?»), я думал о том, что, может быть, это единственные сейчас в мире солдаты, которые, стреляя, знают, во имя чего они стреляют и что защищают. Свою страну, свое право жить в этой стране. Агрессоры, мать их за ногу...

Упаси Бог, не мне судить, хорошо или плохо жить в Израиле. Я был гостем, мне было хорошо. И друзья мои,

бывшие киевляне и москвичи, живут, в общем, сносно, не жалуются (впрочем, конечно, жалуются, кто в мире на что-нибудь да не жалуется, будь у моей жены большая кухня, она бы жаловалась на тесную кладовку), но, конечно, кому-то в Израиле плохо. Арабам? Не заметил. Житомирским парикмахерам? Возможно. Но кому-то плохо. Да и бюрократия в этой стране не лучше, чем в других. И даже кто-то взятки берет. Но есть в ней, в этой стране, главное. Все (ну, не все, почти все, большинство) знают, что они работают для СВОЕЙ страны. Что ей сейчас нелегко и что все силы надо отдать ей, СВОЕЙ стране. А в родном нашем Союзе мы не знали, кому мы отдаем свои силы — партии, Брежневу, Кубе, Анголе? Мой самый близкий друг Илья Владимирович Гольденфельд, он же Люсик, хотя уже и лыс, и сед, говорил мне еще в Киеве, до своего приезда в Иерусалим: «Я не хочу, Вика, чтобы мои знания (он физик) использовались страной, которая продает оружие тем, кто воюет с другой страной, которую я люблю и уважаю, и вот ей — я хочу отдать все свои знания».

Он же, Люсик, возил меня по Израилю.

Он не только друг, он главный шофер моей жизни. Я обязан ему тем, что немного знаю дороги России и Украины. Мы ездили с ним на его «Победе» в Москву, туда и обратно, заезжали в Ясную Поляну, в тургеневское имение, любим вспоминать свою ночевку в Кромах, где по естественной надобности надо было ходить за сарай, т. к. в положенное для этого место в нашей гостинице просто нельзя было войти. Мы совершили с ним, на этот раз в столетнем «Пежо» или «Рено», который ни при каких обстоятельствах не хотел заводиться, весь путь Наполеона к его «Ста дням», от Средиземного моря по дивной красоты горным дорогам

до самого Парижа. Проехали Голландию и Бельгию, по бесконечным дамбам, через какие-то заливы. И, подъезжая ночью к Парижу, в первый раз в жизни поссорились — кричали друг на друга, обижались, приглашали в свидетели Люсикину жену — ты слышишь, что он говорит, ты только послушай! Мы поссорились чуть ли не на всю жизнь, решая, через какие ворота надо въезжать в Париж! Ну как вам это нравится? Я знаю, что через Порт де Клиши, а он хохочет, говорит, что я не знаю Парижа (это мне-то, мне!), что надо через Сен-Дени, требует, чтоб я еще вытащил план, одним словом, были бы шпаги, не знаю еще, чем кончилось бы. Ах, эти ссоры! Эти парижские ссоры! Витька и Милка никак не могут договориться, какие надо купить лампы в новую квартиру («У изголовья должны быть две лампы — тебе и мне... Зачем две, хватит и одной... Как одной? Я еще читаю, а ты ворчишь... Я ворчу?») и куда девать подаренный стол, который никуда не влезает («В подвал его... В подвал? Такой красивый?.. А куда?.. Сюда... Сюда? Через мой труп!»). А я, мудрец, только улыбаюсь. Чудаки (через букву «м», как говорит Максимов), угомонитесь, любите друг друга, вы же самые счастливые в мире люди. Вам все только завидуют. Чем занимаются Витька и Милка в Париже? — спрашивают криворожские их друзья. Они, видите ли, никак не могут решить, куда поставить стол в своей новой (!) парижской (!!!) квартире. И утверждают еще, что она им, мол, тесна — три комнаты и кухня. А в коммуналку не хотите? Шесть хозяек на кухне, шесть примусов, шесть лампочек над каждым столиком... Ну, уж это малость переборщил. Коммуналок становится все меньше, и в больших городах о примусах уже забыли. Как говорила наша бывшая

домработница Ганя: «Одне хороше зробила советська власть — газ придумала».

И вот Люсик возит теперь меня по Израилю. Самария, Галилея — от одних названий дух захватывает. Едем на север, вдоль Иордана. Бог ты мой, да наш Ирпень куда шире... А Мертвое море? Самое нелепое, противоестественное из всего, с чем я сталкивался в жизни. Море, в котором нельзя купаться, нельзя плавать! Стой в нем, как идиот, и не шелохнись, иначе, как пробку, перевернет вверх ногами. Пытка!

Но пейзажи, пустыни, горы! Оливы Гефсиманского сада, такие крученые-перекрученные, столетние. Сидишь на кладбищенских плитах, на раскаленных ступенях царственных могил, и охватывает тебя, вроде бы и безбожника, нечто глубокое и в то же время возвышенное, зовущее в прошлое, которое ты толком-то и не знаешь, так как учили тебя не истории, а обществоведению, всяким там чартистам и Робертам Оуэнам. Тебя учили, что никакого Иисуса Христа на земле не было, все это выдумки церковников («Долой, долой монахов, раввинов и попов!»), а ты сидишь на камне и знаешь, что когда-то и Он тут же сидел и перед Ним были те же стены старого города.

Странно это или не странно — не знаю, не могу объяснить, — но на этой палимой солнцем земле, среди поросших сухим мхом песков Галилейской пустыни, под кривой маслиной на каменистом берегу Тивериадского озера, подымаясь ли по вытоптаным миллионами ног ступеням Храма Тела Господня или спускаясь по кривым улочкам Вифлеема, ты все время чувствуешь Его присутствие рядом с собой, хотя давно уже не веришь и

не преклоняешься Ему. Да, чувствовал и благоговел, старый безбожник...

Когда-нибудь, когда я приеду еще раз в Израиль, и не на две недели, а на подольше, я и напишу побольше. Сейчас же сплошной «импрессионизм», впечатления. Одно из них (сильнейших, поразивших, обрадовавших), кроме октябрьской невыносимой жары (и это после первых норвежских заморозков), кроме библейских пейзажей (слово «библейский» хочется вставить в каждую фразу, но я ограничусь только этой, больше не буду), кроме экзотики пальм, кактусов и верблюдов и иерусалимских контрастов — старый город и новые «юго-запады», — так вот, одним из сильнейших, поразивших, обрадовавших впечатлений было то, что, попав в эти библейские (последний раз, прости) пейзажи, в эти крикливые торговые переулочки из «Тысячи и одной ночи», я попал вдруг к себе, в... Киев.

Это было везде и каждодневно — русская речь с киевскими интонациями, те же подписные издания на книжных полках киевского, а теперь хайфского физика (Гарика Квенцеля), на Голанских высотах, где половина съехавшихся были киевлянами, в кибуце на берегу моря, где, развалившись на пляже, говорили о том же (кто приехал, кого не выпускают), но особенно остро почувствовал я это на вечере в Тель-Авиве.

Зал такой же, как где-нибудь в клубе 4-й обувной фабрики, на сцене длинный стол, за столом президиум, в президиуме — я.

О, эти президиумы!

«Есть предложение избрать в почетный президиум Политбюро ЦК КПСС во главе...» О, сколько было этих глав. Впрочем, не так уж много, всего три. Но каждый

раз аплодисменты, переходящие, все встают. Кто не вставал, кто не хлопал? Укажите мне такого. У кого это было — у Солженицына, у Гроссмана? — как на каком-то собрании аплодисменты никак не могли закончиться, председатель не знал, можно ли первому ему прекратить, и, так как первым все-таки оказался он, ему, кажется, с собрания пришлось уйти не в одиночестве, а в некоем сопровождении.

Не раз сиживал и я в этих президиумах. В компании лучших из лучших. Сидят, борются со сном, что-то иногда записывают, наклонясь друг к другу, что-то нашептывают в ухо («Тому слово не давать... Черту подвести после Сидоренко...»), председатель стучит карандашом по графину (однажды Корнейчук чуть не разбил этот графин, когда на трибуне стоял Иван Дзюба), можно в президиуме и закурить, можно и выйти, размять ноги, а то и промочить горло, если собрание важное, с буфетом.

Бывало, что и председательствовал. Не часто, но бывало. Однажды даже предоставил слово Михаилу Александровичу Шолохову. На одном из наших, украинских, писательских съездов. Он был вдребезину пьян, никак не мог найти очки, рассыпал листочки, долго собирал, перепутал, держал вверх ногами. Начальство было очень, очень недовольно. Классик, оказывается, напился где-то по дороге с летчиком, опоздал на два дня, и вот, пожалуйста, лыка не вязал. Так и сошел с трибуны, не закончив, рассовывая листочки по карманам.

Только в одном президиуме я чувствовал себя счастливым (а так всегда дурак дураком), только один раз я с гордостью председательствовал. Это когда, встав перед умолкнувшим залом, сказал:

— Слово предоставляется уголовному преступнику, известному врагу разрядки Владимиру Константиновичу Буковскому.

Да, это было приятно.

Может, когда-нибудь выпадет мне счастье испытать еще раз такую радость — предоставить слово Семену Фишелевичу Глузману. Не будем загадывать, но я верю в это.

В Тель-Авиве тоже было приятно. Но не потому, что гость был представлен как «друг еврейского народа» (так, черным по белому, было написано в объявлении, анонсировавшем вечер), а потому, что чувствовал он себя как миллион лет тому назад, на 4-й обувной фабрике, на Подоле. Тот же град (правда, других) вопросов, те же, в общем, лица, не было только пары крошечных красных сапожек, которые преподнесли мне тогда.

А вот это «то же» и «те же» особенно как-то подействовало на меня в Израиле. «А вы помните? — подходили люди. — Не забыли?» И помнил, и не помнил, и кого-то забыл, не забывал только одного — сюда, в Израиль, приехали люди, которые спокойно могли жить и работать У СЕБЯ, ДОМА, потому что дом их был там, там они родились, там учились, воевали, получали за это ордена, а потом эти ордена на границе отбирали и заглядывали в задницу, не застряло ли там колечко золотое, с бриллиантом, наше, советское...

До сих пор не могу понять, что побудило Анатолия Васильевича Луначарского преподнести двадцатилетнему Victor'y, которого он знал по парижскому парку Монсури в 14-м году, маленькую брошюрку «Об антисемитизме». Вряд ли он мог предположить, что через 35 лет этот

самый Victor будет цитировать несколько фраз из этой брошюры на «сионистском сборище», в Бабьем Яру, в день двадцатипятилетия расстрела...

Антисемитизм...

Утверждаю и настаиваю, что самая страшная форма его у нас, в Союзе. Это вершина, недостижимая вершина лицемерия. У Гитлера — еврей гад, его надо уничтожить, и его уничтожали. У нас — еврей брат — спросите Чаковского, Вергелиса, Драгунского, Быстрицкую, — но здесь и здесь тебе делать нечего, иди, и сына своего, как бы он там хорошо ни считал, не приводи на экзамен, все равно завалим. Пусть на скрипке учится, к Ойстраху его, или шахматам обучай!

Настаиваю, что в НАРОДЕ антисемитизм — явление случайное. Есть ирония, насмешка (и над собой тоже), матючок бывает. Антисемитизм, тот самый, именуемый животным, — это прерогатива мещанства, как в старину говорили, лавочников. Там он лютый, звериный, заразительный — знаменитый доктор Сикорский не был лавочником, но в деле Бейлиса под присягой доказывал, что без крови христианских младенцев еврею жизнь не в жизнь.

Под нынешним мещанством, лавочниками я подразумеваю партийный аппарат. Там над «абрамчиками» не подсмеиваются, там их ненавидят, они зло, они основа всех бед, и — звучит анекдотом, но и там вспоминают Троцкого-Бронштейна, Литвинова-Валлаха^[66]

⁶⁶ Стр.373...вспоминают Троцкого-Бронштейна, Литвинова-Валлаха... — Некрасов имеет в виду соратника, а затем противника Ленина Льва Давыдовича Троцкого (настоящая фамилия Бронштейн) и советского наркома иностранных дел Максима Максимовича Литвинова (настоящая фамилия Баллах).

и всех возможных Рабиновичей, попадавших на революционном пути страны.

Настаиваю, что главные антисемиты — это не те, кто за рюмкой водки скажет: «Не волнуйся за Левку, он пробивной, как тот сперматозоид», а те, кто говорят за той же рюмкой: «Какой же я антисемит, вот, признаюсь же, что у нас в полку был один еврейчик, очень даже смелый», а потом, уже не за рюмкой, а у себя в кабинете, стучащий по столу кулаком: «Вы что, из нашего учреждения синагогу собираетесь сделать?» — это когда говорят ему, что на это вот место есть хорошая кандидатура, но фамилия на «ман» кончается. Вчера мне рассказывали про случай в одном из московских родильных домов. Роженица (дочь очень высокопоставленного хама) наотрез отказалась от своего ребенка. «Посмотрите на его нос! (Это у трехдневного-то младенца!) Не возьму!» Отец оказался благороднее, хотя тоже сомневался насчет своего отцовства, но высокопоставленные хамы потребовали, чтоб роддом дал справку, что дочь их родила мертвенького, а куда уже денут «мертвенького» — дело роддома... Директор больницы потребовал письменного указания. Оно было дано — хоть бы одним глазом на него взглянуть.

...Мы ехали с Люсиком из Иерусалима в Тель-Авив, на аэродром.

Многое уже было переговорено, и в Киеве, и в Париже, и здесь, в Израиле.

— Ну так как? — спросил я Люсика.

— Что как? — переспросил он.

— Доволен?

— Только примитив вроде тебя может задать такой вопрос.

— А я все же задаю.

— Довольным на сто процентов может быть только...

— Ну а на пятьдесят?

— Для «доволен» этого мало.

— Ну а я доволен на все сто!

— Чем?

— Тем, что ты здесь.

Люсик расхохотался.

— А кто мне в Киеве говорил: не уживешься, чужая страна, чужие порядки? Кто?

— Я!

— А теперь, значит, признаешь, что...

— Признаю! И этим тоже доволен. А ты?

— Что я?

— Доволен?

Люсик наклонился ко мне:

— Сказать по секрету? Счастлив...

Теперь я уж расхохотался.

— Блеск! Ну а теперь поговорим за ваш израильский бардак.

И мы, перебивая друг друга, начали говорить «за» израильский бардак.



Думаю, что национальный вопрос — самый сложный в нашем «созвездии равноправных».

Он везде сложен — баски, шотландцы, корсиканцы, словаки, хорваты, но в какой стране мира целые народы сажали в грузовики и везли к черту в зубы? (А тех, в горах, в аулах, до кого грузовики не могли добраться, просто разбомбили — было и такое...)

Сейчас не бомбят, не вывозят, сейчас, наоборот, национальные фестивали и декады (впрочем, это и тогда было), традиционные праздники песни, все в народных костюмах — чем плохо?

А плохо то, что многие считают виновниками всего нас, русских. Оккупанты мы, и все! И в Чехословакии, и в Прибалтике, и в Средней Азии, и в Грузии, и на Украине.

И на Украине... Первый вопрос украинца эмигранта ко мне, русскому из Киева, — вы кто? «Великонеделимец» или за «незалежну» Украину?

Об этом уже писал. Придется несколько развить — дошли до меня слухи, что кое-кому кое-что не понравилось в первой части этих записок, там, где я об Украине пишу.

Подозреваю, что не понравился, сочли за клевету, мой рассказ о некотором увлечении возлияниями у нас на селе. Но на селе больше «свят», и «свята» эти, праздники, отмечаются всем селом, ни одной хаты с краю не остается. Да и без «свят» случается... Утром еще так-сяк, или по-украински «сяк-так», а уж к вечеру...

Будто в підтримку мене, моїм розповідям, добралась до мене недавно, різними там окольными шляхами, «документальна новела з роздумами» (на українському мові) одного мого друга з України. Новела з розмишленнями о некоем рядовом українському совхозе і директоре его, хорошем, працюючому дядьку, по фамилии Вояк. Картина вирісовується цікава, хоча і сумна. Дуже навіть.

Приведу з неї, з цієї новели, одну тільки крохотну сценку з глави «Кляті пережитки» (проклятіє, значить). Не перевожу, і так зрозуміло буде:

«В один з днів знову сидів я в кабінеті директора. Покликав Вояк секретарку.

— Давай отих.

Увійшли п'ятеро парубків — я їх примітив ще в приймальні біля столика секретарки, тиццали якісь папірці.

— Принесли об'яснительні? — спитав директор.

Дружно протягли ті самі бумажки. Вояк узяв, проглянув усі підряд, тоді розмашисто й швидко став на кожній писати резолюцію. Я дививсь на хлопців. Один — худий, блідний і наче інтелігентний, другий — з тонким красивим обличчям, спокійно дивиться, обо чисто вбрані. Інші трое — явно з перепою, в одного очі кров'ю залиті, аж згустки по битках, в другого подряпини на носі й на лоб!

— Ну, от так, друзі, — сказав директор. — Зіно, оце в приказ. Цьому — строгий виговор з останнім попередженням, чотирьох — на увольнення. І щоб по общі духу вашого тут не було! Оце я зараз іду в район, повернусь о четверті — щоб жодного не стрів.

Трое мовчки и незалежно залишили кабінет — вони тут, виявляється, після того, як проштрафилися в райцентрі, попали під суд і дістали условне покарання, відбували тут у «Комінтерні» свій условний строк і оце вже він скінчився, та й в армії всім трьом, дома вже, мабуть, повістки лежать. Забув сказати: всі п'ятеро — шофери.

Той, що одержав догану, вклонився, дякуючи, і теж подавсь. А п'ятий лишився, став умоляти, пустив сльозу — і директор його «востание» простив, переписав резолюцію.

Я зазирнув у ті «Об'яснітельні». Один повіз до райцентру зоотехніка і, поки ждав, зустрів друга по армії, взяли по сто п'ятдесят, попав до міліції. Другий саме ото и побився тоді після свята з дружинником Володею під директоровим парканом. А троє условно покараних серед ночі завітали до завгара з'ясовувать взаємнини, чимось він їх обшив, завгар — парубок дужий, ножів при хлопцях не було, та все-таки троє на одного, а під балабасом були добряче, то завгар до них не вийшов, а на ранок написав директорові доповідну. («Під балабасом» — то ще один синонім до семантичного ряду «напитися», «нап'янцюватися», «нажлуктатись», «набратись», «нарізатись», «надертись», «насмоктатись», «нализатись» — мабуть, іще згадається, коли посидіти, бо багато слів для означення того чудового процесу видобув наш народ із скарбниць мови своєї. «Ходити під балабасом», «набалабаситись» — це я тільки тут почув.)»

И это не «свято», это будни. И как пишет автор (перевожу по-руски):

«Страшная картина. Две неделя в октябре 76-го пробыл я тут, в совхозе, и вот послушайте, сколько раз директор разбирался с пьяницами. И это все при мне, а сколько было и без меня... И не думай, читатель, будто совхоз, про который пишу, — исключительное явление по пьянству. Везде так, без исключения. Спросите: почему не обращают внимания, не пишут об этом корреспонденты, сельскохозяйственные делегации, которые кто туристами, кто по обмену специалистами гостят в наших селах? Ну, про это и спрашивать не стоит. Само собой, при иноземных гостях пьянство как-то прикрывают. И не только пьянство, а так еще выставить себя умудряются, что даже специалисты-агрономы живут и месяц в колхозе, и два, а разобраться в самой реальности не в силах...»

А я добавлю — и не только на Украине такое. В России, может, и пострашнее. На Украине хоть сало есть (всяк все-таки своего кабанчика «годуе» — кормит, значит), а закуска, как известно, дело серьезное — жир обволакивает стенки желудка.

Но пьянство пьянством, самогон самогоном (уж больно он, черт, дешевый!), а дело не только в этой, охватившей весь Союз нерушимый от Белого до Черного (а может, от черного до белой, с маленькой буквы?), от Тихого до... Бог его знает докуда, до Берлинской стенки, всю Родину нашу необъятную поглотившей беде. Беда эта — и повод, и следствие. А основа всех основ — ярмо. И тут уж спорить грех, кому хуже — украинцу или латышу, узбеку или казаху, молдаванину или финну.

Од молдаванина до фина

На всіх язиках все мовчить...

«Финляндизированному» финну все же лучше — хоть и Кекконен, но все же демократия, — но любит он русского не больше, чем латыш или узбек. А вот русскому, пожалуй, хуже всех, может, хуже даже, чем еврею, хотя за него, русский народ, и подымался однажды тост и к дипломатической или партийной карьере препятствий у него никаких. А хуже потому, что ходит он — и рязанский колхозник (вспомним того секретаря обкома, что Героя Соцтруда при Хрущеве получил, а потом пулю себе в лоб пустил), и мурманский рыбак, и уральский рабочий — всё под той же советской властью. И если не думает он днем и ночью о свободе украинского или эстонского народа — то только потому, что и своей не имеет. И кабанчика к тому же, чтоб «погодувати», где-нибудь на Ярославщине тоже не имеет, и с курицами-гусками тоже плоховато.

Русского, русское в Прибалтике, в Чехословакии, в Польше не любят, потому что оккупация в каждой стране на свой манер, но пришла из Москвы. И русская речь — речь не освободителя, как казалось чехам или полякам к концу войны, а покорителя, как увидели они сейчас. И русский, советский для них, для большинства, одно и то же. А это не одно и то же...

Смею утверждать, что на Украине (а прожил я там всю свою жизнь) ненависти в народе к русским нет. И слова «москаль» не забыли (хотя и не говорят вслух) только разные Андріі Малишки и ему подобная интеллигенция из писательской среды, стоящей у штурвала соцреализма. В украинском народе — утверждаю! — нет ненависти к другим народам, ни к русским, ни к евреям, ни к цыганам. Он ненавидит

власть, партию — это да! — хотя и примирился, приладился к ней, знает, как обмануть. И с приусадебного своего участка (1 %) кормит картошкой, помидорами и огурцами всю страну (хотя домохозяйки и ругаются, что на Бессарабке, в Киеве, все втридорога).

И опять-таки утверждаю (бо знаю!), как ни тяжело это признать, что вопросы «незалежності» и «відокремлення» (независимости и отделения) деревенского дядьку волнуют куда меньше, чем где достать гвоздей или как вытащить своего Олеся или Петра из милиции, куда он угодил на пятнадцать суток — дал в морду сыну председателя сельсовета.

Грустно, но так... А горстка тех, кто действительно олицетворяет собой украинскую культуру (не Дмитерко же, не Козаченко, не Богдан же Чалый), для кого Украина — это Украина, а не СССР, одна из пятнадцати равных, сидит за решеткой. Светличный, Стус, Сверстюк, Мороз, Черновил, Лупынис. Их стойкостью, их силой гордимся все мы — и русские, и украинцы.

Вряд ли кто-нибудь из них спросил бы меня, или Войновича, или Максимова, или Володю Буковского, «единонеделимцы» ли мы. Думаю, что просто неловко было бы такое спрашивать.

Я русский. Во всех поколениях. (Что-то с материнской стороны, среди прабабушек, было «заграничное» — шведское, итальянское.) Всю жизнь прожил на Украине, в Киеве. Ни разу, ни в семье своей, ни среди друзей, ни моих, ни семьи моей, не слышал я дурного слова о стране, о народе, среди которого жили. Даже в нелегкие для русских годы «украинизации». Мать и тетка с увлечением взялись за изучение украинского языка («А почему они раньше не знали?» — спросит не в

меру яростный оппонент. «А потому, что в городе жили, и вообще-то больше за границей, так почему-то заведено было тогда»), и обе блестяще сдали на первую категорию.

Когда я учился в школе, ей-Богу, никто из нас не интересовался, кто по национальности его сосед по парте (теперь только соображаю — Приходько был, значит, украинец, Муня Бергер — еврей, Сребницкий — русский, а может, и поляк, а Гааг? Вот и не знаю. Кто ж он такой был?). Хорошо это или плохо, но мы были интернационалистами. А может, космополитами?

На Украине я прожил всю жизнь. И родился, и учился, и влюблялся (самой красивой, кстати, была чистейшей воды украинка, Наталка), и воевал, и первый танк увидел на берегу Оскола, а ранен был на Донце. И если в детстве не очень любил Нечуя-Левицкого, то потому же, почему и Тургенева, — их обоих «проходили». А Довженко не люблю так же, как и Эйзенштейна, — оба они, пусть и талантливые (тем хуже!), но из кожи вон лезли, чтоб угодить...

А Украину люблю, потому что люблю Украину (бедный Сосюра, как ему досталось за это, за его «Любить Украину»). Люблю, за что и били Сосюру, белые мазанки и стрыхи (их все меньше и меньше). «Село на нашій Україні неначе писанко. Село зеленим гаєм поросло. Цвітуть сади, біліють хати, а на горі стоять палати...» Люблю украинских парубків и дівчат, красивые они. Люблю украинскую песню. И под хмельком всегда пускаю слезу, слушая «Коли розлучаються двое, за руки беруться вони...» Люблю своего Ваньку Фищенко, командира пеших разведчиков, хулигана и алкоголика, но верного друга. Люблю Митьку Поправко, соседа моего

по госпитальной койке, тоже не дурака пропустить по одной, а то и по две, а сейчас дважды, а может, уже и трижды деда... Я никогда не говорил с ними, а они со мной, о «незалежности», но, если она им и их друзьям нужна, я тоже за нее. Я как народ. Что ОН скажет.

И мне тогда будет легче. В моем «Titre de voyage»^[67] написано, что во все страны могу ездить, «sauf URSS» — кроме СССР. Значит, в Киев нельзя. А тогда можно будет. Вот только когда это будет? Доживу ли?

Поговорили о евреях, русских, украинцах. Не настало ли время сказать несколько слов о французах, ведь я сейчас среди них живу.

О них говорят по-разному. Первая эмиграция, вторая, третья, сами французы о себе (может быть, критичнее всех). Критикуют их все. (Только моя мама не критиковала, любила, противопоставляла их всегда швейцарцам.) «Французы? Испанцы куда симпатичнее», «Французы? Предпочитаю англичан». И все же все едут во Францию. И живут в ней.

Францию — державу — изображают в виде женщины в фригийском колпаке, серьезной, холодной, неприступной. Кто избрал эту даму в виде символа? Во всяком случае, не француз. Слышал я, что какой-то скульптор лепит сейчас, то ли для монет, то ли для бумажных денег, профиль Брижит Бардо. Это уже более по-французски.

А что значит «по-французски»?

Всю жизнь для меня это был некий блеск, легкость, непринужденность, юмор, галантность, вопросы чести,

⁶⁷ Документ на право проезда (франц.).

gentilhomme'ство,^[68] своеобразный кентавр из д'Артаньяна и мопассановского Бель-Ами. «Красное и черное» — тоже французы. И Тартарен — тоже. Одним словом, нечто неугрюмое, скорее с улыбкой на лице, чем с нахмуренными бровями.

Оправдались ли эти мои ожидания?

Прожил я в среде французов два с половиной года, а в общем-то и не знаю. Круг моих друзей в основном русский, или франко-русский, язык мой хромает, к более тесному общению не располагает («Что вы, что вы... Вы делаете такие успехи!» Черта с два успехи, кое-как шкандыбаю, путая все глагольные времена...). И знаю я француза в общем-то скорее вприглядку.

Понял я, что он скорее замкнут, чем общителен. Не навязчив, в чужие дела нос свой без приглашения не сует. Не враг собственности. Расчетлив. Цену деньгам знает. Не так болтлив, как я думал. (Впрочем, когда смотришь телевизор, видишь, что болтлив, могут часами сидеть «за круглым столом» и, как говорят у нас, не закрывать рта.)

К слову, должен признаться, попав в Англию, я был поражен словоохотливостью сдержанных, как я думал, флегматичных англичан. Куда там... Ехали мы как-то по английским дорогам. Запутались. Остановили некоего путника, шедшего нам навстречу. Не буду преувеличивать, но думаю, что он отвечал минут семь! Если восстановить, получится следующее: «Вы видите то дерево? Нет, не то, с развесистой кроной, а несколько левее его, метров так на пятьдесят-семьдесят. Так вот. Не доезжая до него метров сто, а может, и немного

⁶⁸ От gentilhomme — дворянство (франц.).

меньше, вы увидите придорожный крест. Сразу за этим крестом будет дорога, очень красивая, обсаженная то ли буками, то ли вязами. Не обращайтесь на нее внимания и поезжайте дальше. За ней будет вторая дорога, тоже направо, вроде проселочной. На нее тоже не сворачивайте, а сверните на третью. Когда свернете, увидите вдали что-то вроде замка. Я говорю что-то, потому что это вовсе не замок, а ферма. До этой фермы минуты три-четыре езды. Когда вы до нее доедете, вы увидите справа...» После этого еще три минуты рассказа, милая улыбка, приподнятая шляпа, и мы вконец запутались.

Француз не так обстоятелен, объяснит и покороче, и понятнее, и шуточку подпустит, но опять это смотря какой француз — нормандец или провансалец. Две большие разницы, как говорят одесситы. Кстати, одессит и ленинградец тоже две большие разницы — между прочим, бывают одесситы и русские...

Француза, точнее парижанина, я знаю больше по кафе и метро. И там, и там сижу и присматриваюсь, прислушиваюсь.

Именно в метро я обнаружил очень ценное качество французов — спокойствие и вежливость. Как-то попал я в дни забастовки. Поезда ходили, но с большими интервалами. Перроны набиты были до отказа. Как у нас, в Москве, в часы пик. И вот подошел поезд. Выплюнул часть пассажиров и стал набирать новых. Молча, без единого слова начали втискиваться. Втиснулись. Двери захлопнулись. Половина осталась на перроне. И опять-таки ни звука, ни слова...

Где ругань, мат, где знаменитое «Куда лезешь, вагон не резиновый. Не нравится — бери такси»? Где все

это, родное, московское? Нервы, нервы не те. Нет нашей советской озлобленности, грубости — первое, что бросается в глаза иностранным туристам.

Французы считают, что у них нервы тоже расшатаны, самая модная болезнь — это депрессия. А я говорю («не для стенограммы» — как, бывало, говаривал незабвенный наш Никита Сергеевич) — с жиру бесятся. Постояли бы в очередях (после работы-то), поискали бы яйца и колбасы, потаскали б все это в двух авоськах (если нашли), потискались в троллейбусах и метро, обрывая себе и другим пуговицы (а где их, пуговицы, после достать?), вот тогда и поговорим о нервах. У вас свои заботы, знаем, implots — налоги одолевают и вообще инфляция, но каждую пятницу в машину и на лоно, а летом яхточка или в Грецию (Вы куда летом собираетесь? На Майорку. А вы? Мы на Мартинику, вино там — не оторвешься)...

А в Тбилиси, говорят, мне из Москвы писали, кроме кисляка, ничего не найдешь. В Тбилиси...

Не ворчи, Некрасов, не жалуйся, не клевети на французов. Любишь же их! Ну, люблю, что поделаешь. Люблю сидеть в кафе на Сен-Жермен и смотреть на прохожих, на сидящих за столиками. Приятное зрелище. Молодежь. Свободная, непринужденная и одета весело как-то, разнообразно. Непринужденная... Это первое, что бросается в глаза нам, скифам. Очень здорово подметил это все тот же Л. Владимиров в своей книге «Россия без прикрас и умолчаний». Глядя на целующуюся парочку, мы внутренне возмущаемся — нашли место, дома не нацеловались! И в этом все наше (да, наше) неистребимое ханжество. Мы, конечно, осуждаем

супружескую неверность, но это — видали, сидят в метро и целуются — еще больше. Некрасиво, не положено.

Так же (опять же у Л. Владимирова), как и отношение к деньгам. Неловко открыто сказать, что ты переходишь на другое место потому, что там больше платят. Ты об этом думаешь и, конечно же, радуешься, но говоришь, что там интереснее работа. Ханжа, и все. А француз не ханжа — любит деньги и говорит об этом. А мы тоже любим, но говорим, что не в деньгах счастье, плевали мы на них. Но не плюем.

А знаете, почему я еще люблю французов? Потому что они говорят по-французски. О, французский язык! Слушаю и не наслушаюсь. Даже эти полуинфантильные интонации с повышением к концу фразы. Сколько в них приветливости. Даже в этих заученных «Merci, monsieur» в устах булочницы.

Что делать — в немецком мне кажутся все слова утомительно длинными — Strassenbahnenhaltestelle, например, обычная трамвайная остановка, в английском мучает «г» не как «г» и что «а» читается как «е», «е» как «i», «i» как «ай», а во французском... Впрочем, и во французском свои идиотства. Ну почему короткое, сжатое «Жак» по-французски Jacques, да еще во множественном числе, и Georges во множественном, кроме метро «George V» (английский король не Жоржик, что ли?). И уж совсем загадочный umlaut на ii в Montparnasse-Bienvenue. Говорят, что знаменитый строитель парижского метро Fulgence Bienveniie очень любил рассказывать всем происхождение этих двух необъяснимых точек в его фамилии. Судя по его внешности, уютный старичок с седенькой бородкой, он,

вероятно, очень подробно и со всякими примерами об этом рассказывал. Прекрасный язык!

Прекрасный язык! Ничто меня в нем не раздражает. Даже то, что житель Fontainebleau (т. е. я сам сейчас) называется Belifontain'ом, а чудесного, живописного Монако — монегаском. (А по-русски, кстати, как?) Ну что ж, у нас тоже есть свои куряне, пермяки и архангелогородцы.

Да здравствует же великий французский язык! И да будет стыдно мне, познавшему его даже раньше русского и забывшему его, и оправдывающему всякими жалкими оправданиями свои ничтожные успехи в его освоении.

Но есть одно, что во Франции для меня более чем невыносимо, чего боюсь как огня, всяческими ухищрениями стараюсь избежать. Это французский обед. Классический французский обед, на который письменно или по телефону приглашают за две недели, и собраны будут именно этого круга, этих интересов люди, и местоположение гостей тоже будет продумано, и все будет очень, очень мило, с аперитивом, с орешками в гостиной, а потом «прошу к столу», а на нем уже зажжены свечи и все немислимо красиво расставлено, разложено, нарезано, благоухает, и нам, с другой стороны планеты, становится страшно, а вдруг не тем ножом что-то там разрезал или от растерянности выпил то, в чем пальчики положено полоскать.

И часа полтора или два сидишь за этим столом, ведя ни на минуту не прекращающуюся беседу о том о сем, о качестве того или иного блюда на столе, проявляя особый интерес к методу самого приготовления, об особенностях поданного к столу вина, ну и конечно же о немислимой в этом году парижской жаре и о том, кто,

куда и как собирается в августе поехать. И никто почему-то от этого потока слов не устает, и звенят бокалы, вилки и ножи, передаются из рук в руки блюда с индюшкой или салатом, и очень удивляются тому, и долго об этом говорят, что в России салат едят не отдельно, а вместе со вторым, а сыр вообще не принято за обедом, здесь все просто застывают с открытыми ртами — а когда же? вечером за чаем? — и недоуменно пожимают плечами. И вот тут-то, когда вы уже переполнены и тайно расстегнули верхнюю пуговицу на штанах, с очаровательной улыбкой предлагают — вам какую, Stolitchnaya или Vyborova?

Но не радуйтесь, напиток не удастся, все вдруг встанут (вы, конечно, уроните салфетку на пол и испугаетесь) и удалятся в соседнюю комнату пить кофе и курить. И еще долго-долго вы будете сидеть в той комнате, изнывая от желания всех убить и выпрыгнуть в окно, и пить кофе, зная, что ждет вас бессонная ночь, и соглашаться, что это действительно бесчеловечно так взвинчивать цены на кофе («О, эта Бразилия, наш приятель недавно оттуда приехал, рассказывает...»), и, хотя вам и этого приятеля хотелось бы обезглавить или четвертовать, вы еще не менее часа будете сидеть на этой идиотской низкой кожаной подушке, с которой только после третьей попытки можно встать, и всем будет абсолютно ясно, что вы не уходите, хотя уже далеко за полночь, только потому, что вы просто не можете себя оторвать от всех этих милых, интересных, таких небанальных людей, что вы готовы были просидеть всю ночь, и вообще это один из самых удачных, получившихся вечеров за последние три-четыре, нет, что вы, шесть месяцев... Приходите, приходите... Спасибо, теперь вы к нам... О-о-о-ох! А вот в кафе — это по мне.

Вы встретили в метро приятеля, и он сказал вам: «А не пообедать ли нам вместе?» И вы откладываете свое дело на час (вы, русский, не привыкли еще в это время обедать, ложитесь поздно, встаете еще позже), но приятель вам симпатичен, и знает он тут тоже симпатичное местечко, и вы идете без всякой опаски. Мне нравятся все парижские кафе! Все без разбора! И «мое» на углу, с неизменным Робером, и против Institut des Beaux-Arts,^[69] тесное, набитое студентами и молодыми художниками, где, чтоб выйти из своего угла в туалет, нужно поднять всех соседей, и никто на тебя за это не обижается, и другое, где-то возле бывшего «Чрева Парижа», двухэтажное, с длинными столами, с ковбоями и медными тазами на стенках, и тонущую в полумраке, тихую «Лондонскую таверну» на рю дю Сабо, возле Сен-Жермен де Прэ, где пиво только английское, но водку можно достать всех сортов. И самое обычное, угловое, вроде «моего», куда забегают на перерыв рабочие с соседней стройки, где в эти часы всегда весело и шумно, где за стойкой проворно орудует хозяин или его жена и, как правило, путается под ногами и лает громадный хозяйский пес, а у витрины очередной балбес громыхает в настольный футбол. Вы это кафе прекрасно знаете по французским фильмам, возможно, впервые именно в нем встретились с Жаном Габеном...

Жан Габен умер. Ушел из жизни, из мирового кинематографа, может быть, самый французский из всех французов. Я отсылаю всех, кто его любил, к книге Инны Соловьевой — там сказано о нем все, мне нечего добавить. О себе же скажу — я боготворил его. И молодого, не находящего себе пути в жизни, из

⁶⁹ Институт изящных искусств (франц.).

«Набережной туманов» или «Пеле ле Моко», и строгого отца семейства в «Окраине Парижа» (это там, в кафе, на стуле, изображал он своего сына-велосипедиста) или необщительного, старого, обманутого вроде бы Клемансо в сименоновском «Президенте». И конечно же, на всю жизнь остался в нашей памяти загадочный, обаятельный преступник или убийца «У стен Малапаги», фильма, перевернувшего всех нас, где мы и понятия не имели, кто этот замечательный, полюбившийся нам актер, а у Габена, уже всемирной знаменитости, это был чуть ли не двадцатый фильм.

Ах, Габен, Габен... И Фернандель, и Бурвиль, и Жерар Филип. Нет уж их никого. Тех, по которым узнавали и полюбили мы Францию.

А теперь я в кино не хожу. Так, иногда, если уж очень о чем-то говорят. Может быть, потому, что, ходя дома, у себя, на «заграничные» фильмы, мы знакомились, упивались (или наоборот?) такой незнакомой, чужой, непривычной жизнью, а теперь она рядом с тобой живая? Может, поэтому? Может, оно просто измельчало? Или я постарел?

Вот так-то...

Ну а по поводу д'Артаньянов, Бель-Ами и Тартаренов, ты где-то вначале о них говорил? Встречался ли ты с ними? С д'Артаньяном, прямо скажу, нет. С мопассановским Дюруа? В метро, на улице видал похожих, усатых, довольных собой, в душу же не заглядывал. Ну, Тартареном, по-моему, немножко я сам стал...

Ладно, а француженки, парижанки? Те самые, о которых вся мировая литература. И Ренуар, Дега, Тулуз-Лотрек?

Смущенно потупляю взор. Приедь я сюда лет на тридцать-двадцать раньше, может. А сейчас... Сажу в том самом сен-жерменском кафе, смотрю, люблюсь. И, поднимаясь от своего дома вверх, к метро «Пигаль», поглядываю, будто так, невзначай, на крашенных и некрашенных блондинок в юбочках чуть пониже пупа и сапогах выше колена...

Да, есть в парижанке любой профессии, любого возраста то, что привлекало в ней всегда и всех, от Тулуз-Лотрека до русских князей и представителей третьей эмиграции мужеска пола, как бы они от этого ни отрекались, врожденное, с молоком матери, изящество, непринужденность и умение любую тряпку превращать в туалет. И еще что-то...

Вот идут двое. Он и она. Сразу и не поймешь, кто из них девочка. Оба в джинсах, оба длинноволосые. Идут в обнимку. Остановились, поцеловались. И плевать им на всех. И прохожие не оборачиваются. Только я внутренне улыбаюсь и завидую.

* * *

P.S.

Случилось так, что я совершенно неожиданно окунулся во французскую жизнь. Волею судеб занесла меня нелегкая (операция — появился на теле еще один шов) в небольшой госпиталь маленького уютного эльзасского городишка Альткирх. Все медицинское было проделано доктором Герстом на самом, как у нас говорят,

высоком профессиональном уровне, а после госпиталя две недели я «прокантовался» в гостеприимном, истинно французском доме доктора Клотца. Дом великолепнейший, двухэтажный, сад со всякими там разноцветными ирисами и цветущими рододендронами, отдельная комната, тишина, покой, красота. Но главное — дух дома. Хозяин — Пьер — негромкий и ироничный, с утра до вечера в госпитале, она, Габи, Габриэль — хозяйка, всегда веселая, изящная, красивая, почему-то никогда не устающая (раз в неделю — йога, может, поэтому). И еще две мамы — его и ее. И немислимых размеров, страдающий одышкой пес Юрий («Доктор Живаго»!). И еще один неперемный член семейства — Володя Загреба, молодой врач из Ленинграда, инициатор, вдохновитель и один из участников вмешательства в мои внутренности. К слову скажу, что французы полюбили его не только потому, что он хороший анестезист, а потому еще, что умеют учуять и оценить то хорошее, что бывает все-таки у нас, русских.

Прожил я в этом доме две недели и наконец-то узнал, что значит жить у Христа за пазухой. Вот именно так, как у Клотцев. Даже ненавистный французский обед был здесь мил и уютен, а это уже говорит о чем-то важном, поверьте мне.

Нет худа без добра. Две эти недели (а до этого и госпиталь, но там было не так блаженно) окончательно убедили меня в том, что французы именно такие, какими я их представлял себе, — см. Доску почета: люди широкого ума, горячего сердца и — без этого француз не будет французом — веселой, лукавой усмешки в глазах. Ко всему этому добавлю еще, что милые хозяева мои во время войны принимали самое деятельное участие в

Сопротивлению и было им тогда не больше семнадцати лет... А я все еще ищу д'Артаньянов...

* * *

На этом дифирамбе французам и закончить бы. Вот, мол, как хорошо и уютно мне здесь, во Франции. Но как-то так получается, что писания мои прерываются все время чтением, а прочтенное к чему-то возвращает, и появляется что-то новое, задевающее тебя, будоражащее, и весь строй вещи нарушается.

Вот и сейчас этим новым, будоражащим оказалась книга, ответ Владимира Лакшина Солженицыну. С обоими я знаком, обоих с интересом читал («Теленка» даже дважды), к тому же неплохо знаю и «Новый мир», все перипетии его нелегкой жизни при трех редакторах (Твардовский, Симонов, Косолапов). Триумфальное появление «Ивана Денисовича»^[70] происходило буквально у меня на глазах, а «По обе стороны океана», за которые мне крепко потом досталось от Хрущева, напечатаны были в том же № 1 за 1962 год, в котором и «Иван Денисович».

Не хочется мне сейчас вмешиваться в полемику (то ли это слово?) между Лакшиным и Солженицыным. Хотя мера субъективности обоих видна мне как никому другому. Сверхъестественный эгоцентризм одного, в очень искренней, но, увы, не всегда справедливой и корректной книге, вызвал вполне понятную реакцию другого. Первый не очень-то стесняется в выражениях и эпитетах по отношению к живым еще персонажам своей

⁷⁰ Стр.388 Триумфальное появление «Ивана Денисовича»... — первый из напечатанных рассказов А.И. Солженицына («Новый мир», 1962, № 11).

книги, второй, будучи одним из них, вполне естественно обиделся (и за себя, и за своих друзей), но, защищаясь, отходит, увы, от истины.

Вот об одном из этих очень огорчивших меня «отходов» в книге Лакшина я и хочу сказать несколько слов.

Речь идет об Анне Самойловне Берзер, не только сотруднице, как сообщает нам Лакшин, а и заведующей в свое время отделом прозы «Нового мира».

Вряд ли кто-нибудь может обвинить меня в нелюбви к Твардовскому или «Новому миру». Твардовского я любил и даже преклонялся перед ним (и до сих пор преклоняюсь), несмотря на частые ссоры и конфликты. К тому же очень многим ему обязан, со времен «Окопов Сталинграда». «Новому миру» я тоже многим, почти всем обязан начиная с 1954 года. Печататься в нем было честью, и этой чести он меня удостаивал. Одним словом, любил, люблю и горжусь тем, что был приобщен.

Но... Будем говорить начистоту — были на этом солнце и кое-какие пятна. Культ личности, например. Был, что поделаешь, это и Лакшин признает. Заслуживала ли эта личность культа? Да. И все же культ есть культ, со всеми своими изъянами. «Начальство» (а оно увы, было именно им и дистанции с «рядовыми», т. е. редакторами, придерживалось весьма строго) тщательно оберегало Главного. И всегда (ну, скажем для мягкости, почти всегда) поддакивало ему. Кто очень уж рьяно, кто тоньше и умнее — тот же Лакшин, например. Возражал, и даже часто, один только Александр Григорьевич Дементьев, который, кстати, частенько заступался и за меня в наших нередких спорах с Трифоным — помню, помню, никогда не забуду.

И было в «Новом мире» два этажа (в новом помещении, в тылах кинотеатра «Россия») — верхний и нижний. Верхний — «они» — редколлегия, нижний — «мы» — редакторы и авторы. И притягательным центром, магнитом нашим на этом этаже была Анна Самойловна Берзер, или просто Ася, как звали и зовут ее все в Москве. К пяти часам, к концу рабочего дня, ежедневно (!) к ее столу, у окна, в большой комнате направо от лестницы, стекалась вся «прогрессивная» литературная Москва. Узнать о судьбе рукописи, выслушать указания Главного или цензора, а в основном посудачить, «что слышно?». Войнович, Коржавин, Лева Левицкий, Домбровский, я, грешный, — эти, как правило, почти как на дежурство, кроме того, всегда кто-нибудь из приезжих (тогда, да и не только тогда, бег в гастронорм), иной раз удостаивал вниманием и Александр Исаевич (бега в гастронорм тогда не было). Но ни разу я не видел в этой комнате ни Твардовского, ни Лакшина и вообще никого из верхнего этажа. Туда поднимались, как на Олимп.

Верховным Главнокомандованием, штабом, мозгом и тем органом, который заведует хитростью и изворотливостью, был верхний этаж. Сердцем и душой, во всяком случае «прозы», был нижний, а в нем Ася. В пятичасовые наши «файф-о-клоки» все мы рады были перекинуться словечком, но, когда доходило до «дела», мы умолкали и слушали Асю. Под «делом» подразумеваю «дела» литературные. Не задумываясь, скажу — лучшего редактора в Москве (а значит, и на всем земном шаре), чем Ася, нет. Иностранному читателю этого не понять, но в нашей стране все знают — без редактора нельзя. Институт этот, редакторов, придуман для того, чтобы писатель не наломал дров. Он — писатель — творец, витает в облаках, многого не понимает, вот и необходимо

направлять его, подправлять, подсказывать правильное, не давать отклоняться. И, как правило, он — редактор — трус и перестраховщик, верный исполнитель указаний свыше. Но есть и другая разновидность, довольно редкая, редактор — друг, товарищ, единомышленник и в чем-то тоже хитрец. Вот таким редактором и была Ася. К тому же умным, с безукоризненным вкусом и настоящей, высокой культуры. О себе скажу — все ее замечания принимал безропотно, не пикнув. Из-под ее руки твоя рукопись выходила компактнее, лаконичнее, всю воду она выжимала безжалостно. К слову сказать, и у Александра Исаевича тоже. Отсутствие рядом с ним теперь Аси очень чувствуется.

И вот об этом-то человеке, без которого не было бы той прозы, которая и создала имя журналу (кстати, не говоря уже о Солженицыне, Шукшин тоже на совести Аси, а сколько еще других), В. Лакшин позволил себе сказать: «Амбиции ее были велики, притязания обширны — куда больше той скромной роли, которую она в редакции выполняла... Она не испытывала брезгливости к двойной игре, хотела понравиться авторам за счет редколлегии, плодила среди них опасения, недоверие, переносила слухи и тем еще больше осложняла положение Твардовского и журнала...»

Я похолодел, прочитав эти строки. Стало как-то стыдно за автора их. Ведь это сказано о человеке, для которого «Новый мир» был всей его жизнью, а Твардовский кумиром, при всех его слабостях и незаслуженно прохладном отношении к ней, т. е. к Асе. Да, Твардовский не всегда разбирался в людях.

В истории с «Иваном Денисовичем» В. Лакшин тоже малость передернул. Честь мундира, что поделаешь.

Прав Солженицын. И я тому свидетель. Да, Ася обыграла редколлегию — ту самую, которая оберегала Александра Трифоновича от всего опасного и взрывного — и положила рукопись на стол. Ручаюсь головой, окажись рукопись не в Асиных руках, а, допустим, Кондратовича или даже самого Дементьева, не попала б она пред светлые очи... Гибель журнала, побойтесь Бога, он нам дороже всего, а А.Т. такой увлекающийся...

Нет теперь этого журнала. Осталась одна обложка. А был! И свое великое дело для русской литературы сделал. И тем обиднее, что человек, так близко стоявший к кормилу этого корабля, столь незаслуженно и несправедливо обидел одного из лучших и преданнейших членов его команды.

Но мы-то, первый этаж, знаем, как было на самом деле. И запомнили, Ася! На всю жизнь!

Весна вторглась в мой дом, в мою комнату. Уже давно, дней десять, как распустилась она в виде крохотных бледно-зеленых листочков на подобранных мною в парке и поставленных в воду ветках каштана, а сейчас и под моим окном на старом каштане появились зеленые лапки. А ведь это середина марта. На календаре 18 марта — День Парижской коммуны. Когда-то мы его праздновали, не ходили в школу. А сейчас за два с половиной года не удосужился даже на Пер-Лашез сходить, поклониться Стене Коммунаров.^[71] Забыли мы их. Все. Забыли. Другую коммуны строим...

⁷¹ Стр.391...не удосужился даже на Пер-Лашез сходить, поклониться Стене Коммунаров. Забыли мы их. Все. Забыли. Другую коммуны строим... — Некрасов противоречит себе, он часто говорил, что в социализм любого толка, в любой стране не верит ни минуты. А вот здесь французские коммунары почему-то кажутся ему привлекательнее отечественных.

В открытое окно влетают запахи улицы, больше бензина, чем распускающихся деревьев, и все же весна.

Кончай работу! Сложи свои карандаши (второй уже десяток исписал), положи на листки бумаги что-нибудь тяжелое, чтоб не разлетелись, ножницы например, и на двор. Дышать, дышать! Ногами подвигать! Засиделся...

И я отправляюсь в прощальное турне по милому, тихому городку, приютившему меня на два с чем-то месяца этой незаметно как перешедшей из зимы в весну незабываемой поры года. Уже знакомые дома в два-три этажа, с ровными, скучными фасадами, с обязательными, почти всегда закрытыми ставнями, с примелькавшимися магазинами, гаражами, вывесками. «Aux myosotis» — «У незабудки». Цветы. Здесь, в этой витрине, я впервые в жизни увидел живую орхидею, цветок Оскара Уайльда, вставленный им в петличку и ставший с тех пор неким символом. А чуть дальше мой любимый «Antiquites», правда, смотрю только, не покупаю, хотя каждый раз, проходя, гляжу, стоит ли еще соблазнительный, длинный, деревянный стол, почти такой же, как у нас в Марлотт. Стоит, все стоит, и рядом с ним огромные кузнечные мехи каких-то там времен на металлической подставке-решетке. Три с половиной тысячи! А вот всего за сто франков — сегодня только появился и посреди тротуара поставлен — ветхий, вроде обитый кожей, со ржавыми замками сундук из «Острова сокровищ». Дублонов, ни двойных, ни простых, увы, уже нет.

А вот и моя булочная, направо газеты — «Bonjour, monsieur, au revoir»...

Кончается моя прямая как стрела Rue de France, налево Grande Rue, Крещатик, но нету почему-то очередей у местного «Ювелирторга» (а! вероятно,

чешский хрусталь со двора дают), а у магазина, где торгуют мясом (почему-то никак не назовешь его мясной лавкой), у порога, прямо на тротуаре, распростертый олень, с закинутой головой, с закрытыми глазами и ветвистыми, покрытыми плюшем рогами-вешалкой. А иногда и царь лесов валяется, кабанище с такими вот клыками. Еще квартал, и ружья, ружья, ружья, двустволки, кинжалы, пистолеты. Сюда бы Гелия Снегирева или еще одного нашего общего киевского друга, который скромно о себе говорил, что только в трех вещах он знает толк — в лошадях, вине и оружии. Они вот постояли бы, поцокали языками, поговорили бы на своем непонятном мне охотничьем языке (думаю, что у каждого из них в их биографии зайца два, а то и больше есть), а я что, только глазами хлопаю, я даже в ворону из своего ТТ не попал.

А если пройти мимо церкви на соседнюю, параллельную улочку, есть там магазин для chevaliers, наездников. Это уже высший свет... Молодой граф Оливье Лорагюэ д'Антрег (навек запомнилось мне это гордо-заманчивое имя из «Пожирателей огня» Луи Жакколио, роман начинается с того, что он, граф, обнаруживает у себя на письменном столе, в шкатулке, черный шнурок тутов-душителеей, знак, что он приговорен к смерти...) ласково похлопал своего верного любимца по крупу и, легко вскочив в седло, ровной, неторопливой рысью направился в сторону замка виконтессы Виолетты дю Мои де ла Кур...

Я подолгу рассматриваю все эти седла, стремяна, бархатные наездничьи шапочки с гербами и вензелями, изящные стеки с рукоятками из слоновой кости в виде лошадиных голов и невольно вспоминаю, как проклят я был своими конными разведчиками, которых уговорил

как-то разрешить мне поехать вместе с ними куда-то, и как, проехав 40 километров (впервые верхом!), потом раком добирался до своей хаты, начисто стерев задницу себе и спину бедной кобыле, на всю жизнь, думаю, запомнившей незадачливого советского мушкетера. Разведчики не простили б мне этого, не начнись наше великое наступление на Харьков.

Сворачиваю на Парковую улицу, по гулкому бульжнику — Двор Генриха IV — и выхожу к озеру с лебедями. Замок с его флюгерами и острыми крышами остается позади. Весна, весна...

Не наша, о нет. Никаких капающих сосуллек, никаких веселых ручейков с первыми бумажными корабликами. Выставляется первая рама, и в комнату шум ворвался, и благовест ближнего храма, и гомон народа, и стук колеса... Ничего этого нету. Всю зиму трава зеленая. И вечнозеленые кустарники вдоль дорожки. Бреду по этим дорожкам. Никого. Один. Везде, везде листочки. Крохотные, чуть-чуть побольше на незнакомых мне деревьях и кустах. Склонились древние ивы... Они совсем уже зеленые. И такое же светлое, нежное, пушистое на кленах, — по-моему, это клены. А платаны, гиганты в два-три обхвата, еще голые, только шарики висят. Даже я при плохом своем обонянии (кюрю!) улавливаю этот запах весны, сырой земли, листочков и легкого ветерка, смешивающего все это вместе.

Сосны, кедры и что-то очень-очень высокое, пирамидальное, хвойное, не секвойя ли?

Английский парк с бархатными лужайками вливается в регулярный, французский, версальский. Партеры, пруды, каналы, бесконечные, уходящие в

перспективу ряды голых еще подстриженных деревьев — кто из Людовиков придумал это дикое кощунство?

Сажусь на лавочку. Закуриваю. Хорошо. Птички щебечут. А какая-то, из дальнего леса, у-у, у-у, у-у, кукушка не кукушка...

Пруд. Гладкий-гладкий. И дрожат в нем розовые облака и крыша королевского замка. Вокруг зеленые пирамидки подстриженных кустиков. Версаль, маркизы, Александр Бенуа...

Как-то гуляла по Версалью группа советских туристов. То ли писатели, то ли художники. Смотрят, сидит на скамеечке старичок, что-то рисует. «Смотри, старый хрен сидит. Можно подумать, что Александр Бенуа»... Старичок услышал, потом выпустил свои мемуары — вспомнил этот случай. Это был Александр Бенуа.

Вот и я, как и он, сижу на скамеечке, покуриваю. А может, тоже взять альбом, потрянуть стариной? Давно собираюсь, даже угольки купил и какую-то особую пастель, после которой не надо фиксировать...

Но это потом, в следующий раз.

А сейчас...

Тучки небесные, вечные странники...

Нет у вас родины, нет вам изгнания...

А вот и есть! И хвала ему! Изгнанию!

Был вот мальчишка. Московское детство, Сокольники. Отец в лагере. Потом на фронте. Погиб. И понесло пацана по стране. Все повидал, все познал. И решетку, и колючую проволоку, и тайгу, и черную ночь, и водку, и дружбу, и цену деньгам, и дружбе тоже. И

стихи писал. Хорошие. «Нам атомный шантаж не нужен, идем мы смело сквозь огонь и шквал. У нас в руках великое оружие — тысячелистный Марксов «Капитал»...» И крутило, выжимало, било по башке, носило, как щепку, по всей стране. И вынесло...

И завтра я его увижу. Ну как? — спрошу. Нормально...

А не будь его, контрабандиста и чифириста, не преодолей он всю муть и грязь, не увидь он сквозь сплошной туман некую звезду путеводную, не говорили бы сейчас в Москве: «Достал?» — «Достал!» — «Дашь на ночь, кровь из носу завтра принесу...», и не листали бы, не листали этот маленький беленький томик (а их уже двенадцать, а говорили, не вытянет, не выдюжит), да, не будь на свете этого несколько располневшего, с усталым лицом мальчишки из Сокольников, не было бы этих томиков «дашь на ночь» и других, в голубых обложках, без атомного уже шантажа, огня и шквалов, а дороги, поезда, снег, вьюга, встречи, разлуки с людьми, сердцами, оборванными жизнями, дорогами, ведущими в неведомое, с горькими расставаниями и прощанием из ниоткуда.

Да, я за изгнание, коль Родина (та самая, с большой буквы пишущаяся) мальчишку этого назвала врагом и вытолкнула в три шеи. Я за изгнание!

А вот и Родина!

Был молод, красив, преуспевающ. И дядя — знаменитый писатель, из тех, что по два романа в год про честных, принципиальных, несгибаемых. Сам стал писать. В Союз приняли. А потом спутался с негодями, не с теми водку стал пить. И сказал ему тогда все понимающий дядя: рви с этими гадами, разоблачи на

весь свет, вот тебе моя рука. А он не захотел. И прогнали его отовсюду. И жена испугалась, бросила. И болен он. И пишет. И опять не то, не для народа. В грязном белье копаются, прошлое ворошит, которое никого не интересует.

И еще о Родине.

Тоже был молодым, тоже красивым. Даже очень, говорят. Девушки тех лет, малость повзрослевшие, вспоминают — викинг, глаза как озера... Стихи писал. Читали люди, похваливали. А потом, с кем не случилось, сдружился с тем самым змием, зеленым. Стал загибаться. Но не оставили его друзья в беде. Не те, с которыми пил, дружил, а настоящие, знающие, где правильный путь. И повели его по этому пути. И как идти по нему, рассказали. И пошел он. Вернее, сел в кресло. Даже сразу в несколько. А в одном из них сидел недавно еще большой человек и большой поэт. А теперь в нем он, распухший, расплывшийся, и не озера уже глаза, а щелочки, но видит он ими зорко, ошибок не допускает, умеет черное от белого отличить и других этому учит. А стихи? А Бог его знает, никто их уж не читает...

И проходят мимо меня судьбы. Одна, другая, третья. Живых, мертвых, полумертвых. Чучела орлов, львов, шакалов, гиен. Лауреаты, соцгерои, солдаты мира... Но среди них, как оазисы, островки среди моря ровного асфальта, зеленые побеги, листочки, а иногда и тополек, чудом выросший из каменных развалин. И верю я, что островки эти сольются, превратятся в архипелаг — не тот, страшный, другой, — и зашумят над нашими головами могучие кроны деревьев, когда-нибудь и в два, и в три обхвата...

Весна, весна...

Все распускается. Кусты покрылись белым, точно изморозью. А эти подстриженные, тугие, веточка к веточке, листок к листку, лабиринтом вокруг полянки. И пахнут они югом, Крымом, Ялтой...

И хочется петь... И стихи писать...

Раскрылся розовый бутон,
Приник к фиалке голубой,
И, легким ветром пробужден,
Склонился ландыш над травой.
Пел жаворонок в синеве,
Взлетая выше облаков,
И сладкозвучный соловей
Пел детям песню из кустов.
Цвети, о Грузия моя,
Пусть будет мир в твоём краю,
А вы учебкою, друзья,
Прославьте родину свою...

стихи Иосифа Джугашвили (Сталина).

Красиво, правда? И трогательно. Но почему Грузия? Ведь ты во Франции сейчас... Во Франции, во Франции. Но писал-то их не я. Писал другой и давно. А прочел я их недавно, года три тому назад. Лежали они под стеклом в большом музее в городе Гори. И напечатаны были в журнале «Иверия», в 1893 году. И подписаны Сосело...

Говорят, автор их пришел к знаменитому грузинскому поэту и показал свои стихи. Тот прочел будто и сказал: «Нет, не твое это дело, выбери другую дорогу».

И юноша выбрал, пошел другой дорогой.

А мама его, когда он стал царем, все жаловалась, вздыхала: «Так хотела я, чтобы ты стал священником, так хотела...»

Какой страшный конец. Под занавес — и вдруг об этом, о нем. Кончил бы могучими кронами дерев.

Нет, не кончу могучими кронами дерев. Кончу страшным. Самым страшным, что мне приходилось читать. А сокольническому мальчишке и видеть, и слышать...

Повстречался ему на жизненном его пути, в недрах Сибири, малый, истопник у начальства, на вольном хождении. И не пожаловался, а наоборот, вот послушайте:

«Чего я в своей деревне не видал, макухи, что ли? Сколько себя помню, досыта не ел, в черном теле держался, а здесь хлеба от пуза, рыбы от пуза, опять же уважение: «Вася, будь друг, сделай, Вася, голубчик, не забудь, принеси». Голубчик! А ты говоришь! В деревне-то я, кроме мата, и не слыхивал ничего. Что ни говори, а для нашего брата-колхозника лагеря — это вроде как для вас дом отдыха. Норму выполнил — пайку отдай, свое отработал — и на боковую. А в колхозе как левая нога у начальства захочет. Захочет — даст, захочет — не даст. Иди в лес, серому волку жалуйся, вот и вся конституция.

— Все-таки — на свободе.

— А чего мне с нее, с этой свободы, юшку пить или щи варить? Много я ее в колхозе видал? Паспорта нету, в город съездить — и то председателю за справку бутылку ставить надо, чуть что — в зубы, а гульнешь с горя, участковый здрасте-пожалста, за широебину и в район. Нет, братишка, даром она мне не нужна, твоя свобода, видал я ее в гробу, в белых тапочках, я жрать хочу...»

Читали ли вы, слыхали ли вы, видали ли вы что-нибудь более страшное? Для нашего брата-колхозника лагеря — это вроде как для вас дом отдыха.

Сколько жизней, прекрасных, чистых, отдано было за нее, за Свободу. А он ее в белых тапочках видел...

Спасибо тебе, родная, самая поэтичная, это твоих рук дело, спасибо тебе.

А кончу все же могучими кронами дерев. Нет, не ими, они еще не видны, а вот побеги, листочки, чудом выросшие топольки есть, их можно щупать, нюхать, целовать. И я их целую... И никакая сила в мире не в силах их вытоптать, сломить! И не думай, не мечтай об этом, родная, поэтичная... Не затопчешь! В них та сила, которой ты, как черт ладана, страшишься, — ПРАВДА!

Примечания

1

Я невольно вспоминаю Гену Шпаликова... — Геннадий Шпаликов (1937–1974), поэт, сценарист, режиссер, друг Некрасова. Единственный поставленный им фильм — «Долгая счастливая жизнь». Некрасов посвятил ему несколько коротких эссе («Континент», 1977, «Знамя», 1990).

2

Стр.170... «треугольник», мол, считает... — в советское время любую характеристику на предприятии или в другой организации подписывали три человека: секретарь парткома, председатель профкома и представитель администрации. Эта компания и получила прозвище «треугольник».

3

Стр.177 В 1964 году, сразу после того как Хрущев оказался волюнтаристом и субъективистом... — ярлыки, которые навесили Н.С. Хрущеву, когда после октябрьского пленума ЦК он был отправлен в отставку.

4

В письме Брежневу я просил разрешить мне выехать по таким-то и таким-то причинам за границу.

5

Стр. 181...вытащена была нью-йоркская газета «Новое Русское Слово» и развернута передо мной с моей статьей, или воззванием, или криком души, под названием «Кому это нужно?» — В СССР это произведение опубликовано в журнале «Знамя», 1990, № 5.

6

Статья эта, «Кому это нужно?», была передана иностранным корреспондентам в Москве 7 марта 1974 года и в выдержках опубликована во многих западных газетах. — Прим. авт.

7

Сними локти (франц.).

8

Волосатый (франц.).

9

Стр.189 Сверхчеловек (нем.).

...ubermensch'ей... — так Некрасов иронически смешивает немецкое «сверхлюди» с русским окончанием.

10

Стр. 194 Кто-то сказал, воруют все, кроме Сахарова. — Некрасов имеет в виду Андрея Дмитриевича Сахарова (1921–1989), изобретателя советской водородной бомбы, позже известного диссидента.

11

Стр.195...«незалежність» — независимость (иск. укр.).

12

Стр.205 Родители купили абонесент в оперу. Мне тогда было лет десять — На самом дел, Некрасову десять лет было в 1921 году. В эссе «По обе стороны стены» он сообщает: «Папа не дожил до того, как «товарищи» вовлекли Россию в кровавый круговорот, — он умер от разрыва сердца» — в городе Красноярске, где работал в банке.

13

«Площадь де Торос де Таррагона. Воскресенье, 18 июля 1976 грандиозная коррида» (исп.).

14

Nacimiento, по-французски Nativite, — рождение, в данном случае Рождество Христово. Чтоб проверить себя, я посмотрел в свой карманный словарь. Рождества там не оказалось, даже Noel, праздника. Ну, понятно, словарь маленький, в нем только очень необходимые слова. Такими словами оказались: партбилет, партбюро, партийность, партия, парторг, парторганизация, партсъезд... — Прим. авт.

15

Фасад Мира (исп.).

16

фасад Славы (исп.).

17

Стр.214 Брейгелей или Босха — Брейгель Питер Старший (1525 или 1530–1569) по прозвищу «Мужицкий» и его сын Брейгель Ян Старший (1568–1625) по прозвищу «Бархатный»; Босх ван Акен Иероним (1450–1516), нидерландские живописцы.

18

Святой (исп.).

19

20

Стр.229 Владимир Борисович Александров — псевдоним, настоящая фамилия Келлер, литературный критик. В частности, благодаря его усилиям повесть «В окопах Сталинграда» увидела свет.

21

Стр.231...рассказывал мне потом мой друг. — Некрасов имеет в виду Иосифа Локштанова, который играл в театре им. Станиславского.

22

Стр.232 Чудовий актер — Удивительный актер (любимый его эпитет: «Удивительные люди вашей шахты, вашего колхоза...»), но народу он не знаком, и что-то не видел я его в наших современных советских пьесах... А не мешало бы (укр.).

23

Стр.233 Поголовуй тут замість мене — поруководи тут вместо меня (укр.).

24

...«заступник голови» — заместитель председателя (укр.).

25

Стр.234...бывал у Сталина (показывал мне личное письмо от него, кажется, по поводу его пьесы «Фронт»)... — этот случай подробно описан Некрасовым в повести «Саперлипопет».

26

Стр.236 Ванда Василевская — Ванда Львовна Василевская (1905–1964), польская писательница, с 1939 года проживала на территории СССР.

27

Стр.238 И ребята, вышедшие на Красную площадь <...> и полупившие за это по зубам. — Некрасов имеет в виду группу диссидентов во главе с Делоне и Литвиновым, которые 21 августа 1968 года на Красной площади требовали вывести советские войска из Праги и были избиты переодетыми оперативниками.

28

Стр.238...в центре Москвы появится проспект Сахарова... — сегодня такой проспект есть в Москве.

29

Стр.294 Марлен Мартынович Хуциев — (род. в 1925) российский режиссер, друг Некрасова, относился к нему с большой симпатией, хотя считает, что несдержанность сталинского лауреата во многом вредила как ему самому, так и окружавшим его людям. В частности, рассказывал Хуциев, от торопливости Некрасова, его бойцовского характера пострадала картина «Застава Ильича».

30

Дворец Конгресса (франц.).

31

Застава Майо (франц.)

32

Все продано! (франц.).

33

А в витринах книжных магазинов нет-нет да мелькнет зеленая обложка «Garnet d'un badot» («Записки зеваки»). Тоже приятно!

34

Стр.268 Максимов — Владимир Максимов (1932–1995) — русский писатель, главный редактор журнала «Континент».

35

Стр.270 Пассаж — улица, состоящая из одного дома в центре Киева, где жил Некрасов.

36

Стр.273 Мой внук Вадик... — сын Виктора Кондырева, приемного сына Некрасова.

37

Стр.274 Иван Платонович Чужой — в воспоминаниях А.Рохлина (В.Некрасов, «В самых адских котлах...») о нем говорится так: «Возглавлял ее <студию Киевского театра Русской драмы> режиссер-педагог Иван Платонович Чужой, убежденный реалист, ревностный последователь системы Станиславского. Как мне впоследствии говорил Виктор, он навсегда вложил в своих учеников любовь к правде не только в сценическом мастерстве, но и в иных видах художественного творчества, не мыслил искусства без правды».

38

Стр.275 А там в Vanves друг у друга на головах будем... — Некрасовы поселились как раз в Ванве, где и сегодня живут потомки писателя.

39

Стр.277...лежал на раскладушке под тенью то ли груш, то ли слив после операции, там же учился ходить. — 27 мая 1975 года Некрасову в Париже сделали операцию по поводу перитонита. 1 июня положение резко ухудшилось, и врачи заявили, что надежд нет. Однако вопреки медицинским прогнозам Некрасов поправился, и это чудо приписывают прижизненному некрологу, который сочинил ему в тот день Андрей Синявский. См.: «Знамя», 1990 г., № 5.

40

Стр.281 Увы, здесь нет Аси Берзер... — Анна Самойловна Берзер, редактор «Нового мира», с именем которой связаны публикации Некрасова, Шукшина и других авторов.

41

Стр.282 Азнавура судят уже второй год. — Шарль Азнавур, французский певец, у которого (как, впрочем, у большинства эстрадных артистов) были проблемы с налоговыми службами.

42

Затор, пробка в уличном движении (франц.).

43

Стр.291 Коротич — Виталий Алексеевич Коротич (род. в 1936), русский, украинский поэт и общественный деятель.

44

Двор прощания (франц.).

45

Стр.302... ей-Богу, нисколько не хуже хемингуэевского «Праздника, который..... — Свои впечатления о Париже (1985 г.) Некрасов назвал «Праздник, который всегда и со мной». «Знамя», 1990 г., № 5.

46

Направление Мари д'Исси (франц.).

47

Восточный экспресс (англ.).

48

Стр.305 Champs Elisees — иногда Некрасов использует кириллицу: Шанз-Элизе, Елисейские поля.

49

Комиксы (франц.).

50

Впасть в детство (франц.).

51

Стр.309 Нет больше «Чрева Парижа»... — снесенный центральный парижский рынок.

52

Стр.310...великий Пазолини в своем последнем фильме «Сало» — в русском прокате фильм назывался «Сорок дней Содома».

53

Стр.313 А Малеевка? — «Малеевка», дом творчества писателей под Москвой.

54

Все ищут, чем бы заменить это столь употребительное сейчас полужаргонное слово, и не нахожу. Болтали? Нет, не то. — Прим. авт.

55

Загадочная славянская душа (франц.).

56

Стр.331 ОВИР — отдел виз и регистрации. Культовое учреждение в СССР.

57

Стр.332 Все спортом занимаются — Некрасов предвосхитил ситуацию, провозглашенную в России в начале 2002 г.

58

Стр.334 Госет — Государственный еврейский театр.

59

Стр.335...она оказалась не «Дзержинской», а «Никольскими воротами» — в 1991 году станцию метро «Дзержинская» действительно переименовали, однако она называется «Лубянка».

60

Стр.337 Как какая (виза)? В Украинскую Народную Республику. — Некрасов предвосхитил визовые отношения между Россией и Украиной.

61

Стр.338 А где же Железный Феликс? Нет его. — Памятник Ф.Э. Дзержинскому на одноименной площади действительно был снесен в 1991 г.

62

Contemporary — современный (англ.).

63

Кто-то где-то спросил: «А если нечто героическое сделает, допустим, голландец, будут ли говорить: «Это мог сделать только голландский человек»? — Прим. авт.

64

Стр.350 Нет в мире партии более сильной... — Те же рассуждения о КПСС Некрасов приводит в эссе «Через сорок лет...».

65

Месье Сахар (франц.), мистер Сахар (англ.), герр Сахар (нем.).

66

Стр.373...вспоминают Троцкого-Бронштейна, Литвинова-Валлаха... — Некрасов имеет в виду соратника, а затем противника Ленина Льва Давыдовича Троцкого (настоящая фамилия Бронштейн) и советского наркома иностранных дел Максима Максимовича Литвинова (настоящая фамилия Баллах).

67

Документ на право проезда (франц.).

68

От gentilhomme — дворянство (франц.).

69

Институт изящных искусств (франц.).

70

Стр.388 Триумфальное появление «Ивана Денисовича»... — первый из напечатанных рассказов А.И. Солженицына («Новый мир», 1962, № 11).

71

Стр.391...не удосужился даже на Пер-Лашез сходить, поклониться Стене Коммунаров. Забыли мы их. Все. Забыли. Другую коммуну строим... — Некрасов противоречит себе, он часто говорил, что в социализм любого толка, в любой стране не верит ни минуты. А вот здесь французские коммунары почему-то кажутся ему привлекательнее отечественных.